ДЖЕК ЛОНДОН

СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА

*

КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ



Смирительная рубашка. Когда боги смеются

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
- Глава XII
- Глава XIII
- Глава XIV
- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII
- Глава XVIII

Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ
Когда боги смеются
Отступник
Гадкая женщина
Просто мясо
Китаеза
Держи на запад
«Френсис Спейт» Рассказ об истинном происшествии
Любопытный отрывок
Кусок мяса
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

«Смирительная рубашка», малоизвестное нашему читателю произведение Джека Лондона, является жемчужиной его творческого наследия.

Даррел Стэндинг, профессор агрономии, в порыве ревности убивает коллегу. Ему, кабинетному ученому, предстоит пройти через все ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух человека выше его плоти, и Стэндинг покинул свое тело, затянутое в «смирительную рубашку», и стал межзведным скитальцем. Он вспомнил все свои предыдущие воплощения, каждое из которых — это увлекательный, захватывающий роман…

Джек Лондон

СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА



Глава I

Всю свою жизнь я хранил память о других временах и местах, о существовании в облике других людей. И поверь мне, читатель, то же было и с тобой. Оглянись на свое детство, и ты вспомнишь то чувство, о котором я говорю. В то время еще не сформировалась твоя личность: твоя душа была гибкой и изменчивой, самосознание находилось в процессе становления — да, становления и забвения.

Ты многое забыл, и теперь, читая эти строки, ты начинаешь смутно различать неясные образы других времен и мест, на которые некогда взирал твой детский взгляд. Теперь тебе это кажется сном. Но если это был сон, откуда же взялось его содержание? Ведь наши сны — это причудливая комбинация наших дневных впечатлений, результат нашего опыта. Ребенком, крошечным ребенком, ты падал во сне с высоких гор, летал по воздуху, как птица, пугался отвратительных пауков и многоногих болотных тварей; ты слышал какие-то голоса, смутно видел некие образы, странно знакомые, и созерцал восход и закат солнца, каких — теперь ты знаешь это — с тех

пор и не видел. Прекрасно. Это детские проблески воспоминаний о других мирах, о том, чего ты никогда не знал в этом мире, в этой жизни. В таком случае, откуда они? Из других жизней? Из других миров? Может быть, когда ты прочтешь все, что я написал, ты получишь ответ на те странные вопросы, что я задал тебе сейчас, да и ты сам наверняка задавал себе их еще до того, как прочел эти строки.

Вордсворт знал об этом. Он не был ни провидцем, ни пророком, но самым обыкновенным человеком, как ты или кто-нибудь другой. Что было известно ему, известно и тебе, и всякому. Но он сумел очень точно сказать об этом в своей статье, начинающейся словами: «Не полностью сознав и не совсем забыв»…

Действительно, новорожденный словно бы вступает во мрак темницы и слишком скоро забывает все. И однако в начале жизни все мы помнили другие времена и места. Беспомощные грудные младенцы или ползающие, как животные, на четвереньках, мы летали во сне. Действительно, нас терзали ночные кошмары, мы испытывали страх и жестокие страдания. Едва появившись на свет и не имея никакого опыта, мы уже знали о страхе, помнили о страхе,

а *воспоминание — опыт*.

Что касается меня, то еще не умея говорить и лишь криком сообщая о том, что я голоден или хочу спать, я уже знал, что являюсь мечтателем-скитальцем. Да, я, еще ни разу не произнесший слова «король», помнил, что когда-то был сыном короля. Более того, я помнил, что был когда-то рабом и сыном раба и носил на шее железный обруч.

Но это еще не все. В возрасте трех-пяти лет я был совсем не собой. Я только становился собой, моя душа еще не вполне вылилась в форму моего настоящего тела, живущего в настоящем времени и месте. В этот период все, чем я был в течение прежних десяти тысяч жизней, боролось во мне, препятствуя стремлению воплотиться и стать самим собой.

Нелепо, не так ли? Но вспомни, читатель, с которым я надеюсь совершить далекое путешествие сквозь время и пространство, вспомни, пожалуйста, что я много лет думал об этом в беспросветном кровавом мраке, я был наедине с несколькими моими другими «я», видел их и совещался с ними. Тем горем и болью, что я испытал во всех своих существованиях, я поделюсь с вами на этих страницах, которые вы перелиста-

ете на досуге.

Итак, как я уже говорил, в возрасте трех-пяти лет я не был собой. Я еще только формировался, принимая теперешний облик, и могучая, неодолимая власть прошлого накладывала на это становление неизгладимый отпечаток. Не мой голос кричал по ночам от страха перед тем, чего я, право, не знал и не мог знать, но перед тем, что, тем не менее, было мне хорошо знакомо. То же можно сказать и о моем детском гневе, любви и смехе. Другие голоса кричали в моем голосе, голоса мужчин и женщин прежних времен, моих мрачных прародителей. И в моем гневном вопле слышалось рычание животных более древних, чем горы. Мою детскую ярость пронизывал красный гнев, наследие древних, свирепых тварей, живших в доисторические времена задолго до Адама.

Вот она, моя тайна. Красный гнев! Вот что было смыслом моей настоящей жизни! Из-за него через каких-то несколько недель меня выведут из этой камеры на высокое место с шатким помостом, мою шею обхватит натянутая веревка, и я буду болтаться на ней, пока не умру. Красный гнев губил меня всегда, во всех моих жизнях; красный гнев — мое злополучное наследие от тех времен,

когда только зарождалась жизнь.

Пора мне представиться. Я отнюдь не склонен к безумию. Я хочу, чтобы вы это знали и верили в правдивость моего рассказа. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кто-то из вас, быть может, знает меня, но большинству это имя наверняка незнакомо, так что позвольте мне немного рассказать о себе. Восемь лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен убийством профессора Хаскелла, которое произошло в лаборатории горного факультета. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я — тот самый Даррел Стэндинг. Меня застали на месте преступления. Я не хочу сейчас спорить о том, кто из нас был прав, а кто виноват — я или профессор Хаскелл. Это сугубо личное дело. Суть в том, что в приливе гнева, одержимый этой багровой яростью, жившей во мне веками, я убил своего коллегу. Суд признал, что это сделал я, и я с ним совершенно согласен.

Но повесят меня не за это убийство. За него я был приговорен к пожизненному заключению. Тогда мне было тридцать шесть лет, сейчас мне только сорок четыре. Эти восемь лет я провел

в Калифорнийской государственной тюрьме Сен-Квентин. Пять из них — в полной темноте. Это называется одиночным заключением. Люди, прошедшие через него, называют его погребением заживо. Однако в течение этих пяти лет мне удалось достичь такой свободы, какую мало кто испытал. Запертый в одиночке, я не только бродил по свету, но бродил и в разные времена. Те, кто замуровал меня на несколько лет, подарили мне, не догадываясь об этом, простор веков. Да, благодаря Эду Морреллу я пять лет скитался в бесконечности. Но Эд Моррелл — это другая история. Я расскажу ее вам немного позже. Мне так много нужно вам рассказать, что я не знаю, с чего начать.

Хорошо, попытаюсь. Я родился в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведского эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Мой отец, Чонси Стэндинг, происходил из старинной американской семьи, родоначальником которой был Альфред Стэндинг, завербованный работник, или, если хотите, раб, привезенный из Англии на виргинские плантации еще в те давние времена, когда юный Вашингтон исследовал дикие земли Пенсильвании.

Сын Альфреда Стэндинга принимал участие в

революции, внук — в войне 1812 года. Не было с тех пор войны, в которой бы не участвовали Стэндинги. Я, последний из Стэндингов, которому скоро предстоит умереть, не оставив потомства, сражался рядовым на Филиппинах, в нашу последнюю войну; ради этого я вышел в отставку на пике своей карьеры, будучи профессором университета в Небраске. О Боже! Я ведь занимал тогда должность декана в сельскохозяйственном колледже этого университета, — я, бродяга, запятнанный кровью искатель приключений, вечный скиталец Каин, воинственный жрец забытых эпох, мечтатель-поэт, чья слава давно канула в прошлое.

И вот я сижу с обагренными руками здесь, в отделении для убийц государственной тюрьмы Фолсем, ожидая дня, назначенного государственной машиной штата, когда слуги закона уведут меня во тьму — тьму, которой они боятся; ту, что рождает в них страх и бесчисленные суеверия и бросает их, тупоумных и воющих, к алтарям богов, созданных их страхом по своему образу и подобию.

Нет, мне уже не стать деканом сельскохозяйственного колледжа. Однако я знаю агрономию, это было мое призвание, ради которого я родился,

был вскормлен и воспитан. Я в совершенстве овладел ею, обладая незаурядными способностями. Я могу на глаз определить процент жира в коровьем масле, а также достоинства и недостатки почвы, наличие в ней щелочи или кислоты, без всякой лакмусовой бумаги. Повторяю, моим призванием была и остается наука о земледелии. И вот государство и его граждане верят, что могут уничтожить это знание, отправив меня во мрак посредством веревки, затянутой на шее, — знание, по крупицам собранное в течение тысячелетий и возникшее до того, как на возделанных полях Трои появились стада кочующих пастухов!

Урожай! Что вы знаете об урожае? Мои опыты в Уистаре увеличили годовой доход с урожая в каждом графстве штата на полмиллиона долларов. Таковы факты. Многие фермеры, разъезжающие теперь на собственных автомобилях, помнят, благодаря кому они их купили. Многие нежные, наивные девушки и юноши, склонившиеся над университетскими учебниками, и не подозревают, что высшее образование стало для них доступно именно благодаря моей деятельности в Уистаре.

А управление фермой! Я могу с ходу назвать

причины непроизводительности труда, не углубляясь в конкретные детали, будь то ручной труд или машинный. На эту тему имеется мое руководство и таблица. Вне всякого сомнения, в настоящий момент сотни тысяч фермеров морщат лоб над его страницами, прежде чем выбить пепел из трубки и лечь спать. Но мне самому не нужны были таблицы, мне хватало одного взгляда на человека, чтобы определить его склонности и черты характера, а также — какова будет его производительность труда.

На этом я должен закончить первую главу моего рассказа. Сейчас девять часов, а в отделении для убийц это значит, что пора гасить свет. Я уже слышу тихие шаги надзирателя, намеревающегося сделать мне замечание за то, что моя лампа еще не потушена. Будто живой человек может угрожать тому, кто приговорен к смерти!..

Глава II

Я — Даррел Стэндинг. В ближайшие недели меня выволокут из камеры и повесят. Но до того я расскажу на этих страницах о других временах и местах.

Приговор гласил, что я должен провести остаток моей жизни в тюрьме Сен-Квентин. Я признан неисправимым, а значит — отвратительным существом, по крайней мере, таково значение этого слова в тюремном лексиконе. Я стал «неисправимым» из-за своего отвращения к непроизводительности труда. Эта тюрьма, подобно всем остальным тюрьмам, представляет собой настоящий бедлам с точки зрения непроизводительности труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступные растраты энергии раздражали меня. Как могло быть иначе? Ведь это было моей специальностью. За три тысячи лет до изобретения механического ткацкого станка я гнил в древневавилонской тюрьме, и поверьте мне, я не лгу, утверждая, что в те далекие дни мы, заключенные, работали интенсивнее на ручном станке, чем арестанты Сен-Квентина на станках, приводимых в действие паром.

Это бессмысленное расточение сил было преступным в моих глазах. Я возмутился. Я пытался показать надзирателям другие, более продуктивные способы работы. На меня донесли начальству, после чего бросили в карцер, лишив света и пищи. Я смирился было и попробовал работать в хаосе ткацкой мастерской, но снова взбунтовался, и на этот раз меня отправили в карцер в смирительной рубашке. Распростертого на полу, меня избивали безмозглые тюремщики, способные понять лишь то, что я не похож на них и не так глуп.

Два года мне пришлось терпеть эти бессмысленные истязания. Страшная это пытка — быть связанным и брошенным крысам. Именно крысами были мои тюремщики, поедавшие мой мозг, мои чувства и сознание. А я, некогда храбрый боец, в этой своей жизни отнюдь им не являлся. Я был фермером, агрономом, университетским профессором, кабинетным ученым, интересовавшимся только почвой и увеличением ее плодородия.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция Стэндингов, но не имел к этому никакой склонности. Слишком нелепым казалось мне это занятие — поражать взрывчатыми

веществами тела маленьких темнокожих людей. Странно было наблюдать, как наука проституирует всю мощь своих завоеваний и талант изобретателей для того только, чтобы насильственно вводить посторонние вещества в тела темнокожего народа.

Как я сказал, следуя традиции Стэндингов, я отправился на войну и обнаружил, что не создан для нее. Того же мнения были и мои офицеры, поэтому меня назначили штабным писарем, и вот так, писарем за конторкой, я и сражался всю испано-американскую войну.

Вы видите, что не как боец, а как мыслитель я восстал против непроизводительности труда в ткацкой мастерской и подвергся преследованиям тюремщиков, а затем получил звание «неисправимого». Я не переставал мыслить, и я был наказан за это. Так я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя неисправимость стала столь несомненной, что он вызвал меня для разговора в свой личный кабинет.

— Глупо думать, начальник, что ваши крысы-грызуны смогут выбить из моей головы то, что ясно и определенно сложилось в ней. Вся организация вашей тюрьмы нелепа. Вы политик. Ваше дело — ткать политические сети с ресторанными

завсегдатаями из Сан-Франциско, и это занятие вам больше по плечу, чем то, которым вы сейчас занимаетесь. Ведь вы не умеете ткать джут. Ваши мастерские устарели на пятьдесят лет…

Но не стоит приводить тут всю эту тираду. Я показал ему, как он глуп, и в результате он решил, что я безнадежно неисправим.

Как гласит пословица, нельзя давать собаке плохую кличку. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной дурную славу. Не раз проступки других осужденных приписывались мне, и я расплачивался за них карцером на хлебе и воде, или меня подвешивали за большие пальцы на долгие часы, каждый из которых казался дольше любой жизни, когда-либо мною прожитой.

Умные люди бывают жестоки, но дураки жестоки чудовищно. Все мои тюремщики, начиная с Азертона, были тупыми извергами.

Сейчас вы узнаете, что они со мной сделали.

В тюрьме был один заключенный-поэт со следами вырождения на лице и теле. Он был фальшивомонетчик, трус и слюнтяй, и он был стукач. Странные слова употребляет профессор агрономии, скажете вы, но профессор агрономии, осужденный на пожизненное заключение, неиз-

бежно узнает много странных слов.

Этого поэта-стукача звали Сесил Уинвуд. Он не впервые попал под суд, однако из-за дворянского происхождения его приговорили лишь к семи годам тюрьмы. Хорошее поведение значительно уменьшило бы этот срок. Мой срок — это вся жизнь. Однако этот несчастный выродок, для того чтобы пораньше выйти на свободу, ухитрился добавить основательный кусок вечности к моему пожизненному заключению.

Я расскажу, как это случилось, хотя весь ход событий стал мне известен много позже. Этот Сесил Уинвуд, желая попасть в милость к начальнику тюрьмы, ко всем инспекторам и к губернатору Калифорнии, подстроил доказательства якобы задуманного побега из тюрьмы. Нужно отметить, что: 1) Сесила Уинвуда так ненавидели его товарищи по заключению, что не позволяли ему участвовать в пари на состязаниях, кто из клопов прибежит раньше (среди заключенных это было очень распространенное развлечение); 2) я был собакой с плохой кличкой; 3) для своего замысла Сесил Уинвуд нуждался в собаках с дурной репутацией, в пожизненно заключенных, в отчаявшихся, в неисправимых.

Но пожизненно заключенные ненавидели

Сесила Уинвуда, и, когда он подходил к ним со своим планом массового побега, они смеялись над ним и с проклятием прогоняли этого провокатора. Но в конце концов он все же одурачил самым жестоким образом сорок человек. Он приставал к ним снова и снова, рассказывая о влиянии, которым пользуется в тюрьме в силу своей должности в канцелярии Азертона, например имеет свободный доступ к аптеке.

— Докажи, — сказал Длинный Билл Ходж, горец, пожизненно осужденный за ограбление поезда и всей душой в течение многих лет мечтавший о побеге, чтобы убить своего соучастника, который выдал его.

Сесил Уинвуд согласился пройти испытание. Он заявил, что может усыпить стражу в ночь побега.

— Болтать легко, — сказал Длинный Билл Ходж. — Нам нужны факты. Усыпи одного из надзирателей сегодня ночью, хоть Барнума, он скотина. Он вчера вдруг избил старого китаезу в коридоре, когда даже не был на дежурстве. Сегодня ночью он стоит на карауле. Усыпи его, и пускай его уволят. Покажи мне, что ты это можешь, и тогда поговорим о деле.

Все это мне рассказал впоследствии Длинный

Билл в карцере. Сесил Уинвуд медлил со своим доказательством. Он потребовал время на то, чтобы достать из аптеки снотворное. Они ему дали время, и неделю спустя он заявил, что готов. Сорок жестоко обманутых пожизненно заключенных ждали, когда надзиратель Барнум уснет на посту. И Барнум уснул. Его застали спящим на дежурстве и уволили.

Конечно, это убедило заключенных. Теперь нужно было убедить старшего надзирателя. Ему ежедневно Уинвуд докладывал о ходе подготовки к побегу, от начала до конца выдуманному им. Надзиратель тоже потребовал доказательств. Уинвуд их представил. Все подробности этого дела я узнал лишь год спустя, — так медленно просачиваются тайны тюремных интриг.

Уинвуд сказал, что сорок заговорщиков, в доверие к которым он вошел, приобрели уже такое влияние в тюрьме, что собираются пронести в тюрьму пистолеты, подкупив охрану.

— Докажи это, — вероятно, потребовал надзиратель.

И доносчик-поэт доказал. В пекарне часто работают по ночам. Один из заключенных, пекарь, работавший в ночной смене, был одним из доносчиков старшего надзирателя, и Уинвуд знал это.

— Сегодня ночью, — сказал он надзирателю, — Саммерфейс должен принести в тюрьму дюжину пистолетов. В следующий раз он доставит к ним патроны. Сегодня же ночью он передаст мне оружие в пекарне. У вас там надежный человек. Завтра он вам доложит об этом.

Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Этот простодушный, добрый парень был не прочь честно заработать доллар-другой тайной доставкой табака заключенным. В эту ночь, вернувшись из побывки в Сан-Франциско, он привез с собой пятнадцать фунтов первосортного табака. Он это и раньше делал, вручая товар Сесилу Уинвуду. Так и в эту ночь, ничего не зная, он доставил табак Уинвуду в пекарню. То была большая, тяжелая, упакованная в бумагу пачка невинного табака. Доносчик-пекарь видел, как сверток тайно передали Уинвуду, и доложил об этом старшему надзирателю на следующее утро.

Между тем живое воображение поэта-стукача чересчур разыгралось. Из-за него я получил пять лет строгого одиночного заключения и попал в ту проклятую камеру, в которой пишу эти строки. И все время я ничего об этом не знал. Я даже не знал о побеге, планом которого он соблазнил сорок пожизненно заключенных. Я ничего не

знал, решительно ничего, а остальные знали немного. Заключенные не догадывались, что их обманывают, да и старший надзиратель не предполагал, что с ним хитрят. Саммерфейсу вообще ничего не было известно. Самое худшее, в чем он мог себя упрекнуть, это лишь тайная доставка табака в тюрьму.

И вот тут-то Сесил Уинвуд выкинул глупую, бессмысленную штуку. На следующее утро он встретил старшего надзирателя с ликующим видом. Ему казалось, что дело в шляпе.

— Да, действительно ему передали пакет, — заметил надзиратель.

— И этого хватит, чтобы взорвать полтюрьмы, — подтвердил Уинвуд.

— Хватит чего? — оторопел надзиратель.

— Динамита и детонаторов! — закричал глупец. — Тридцать пять фунтов динамита. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал его мне.

Надзиратель чуть не умер при этом известии. Тут я ему могу посочувствовать, тридцать пять фунтов динамита в тюрьме — это не шутка.

Говорят, капитан Джеми — таково было его прозвище — сел и подпер голову обеими руками.

— Где он теперь находится? — закричал он. — Я желаю знать. Сейчас же отведи меня туда.

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

— Я его закопал, — солгал он потому, что табак давно уже разложили по маленьким пакетам и распределили между заключенными, как обычно.

— Очень хорошо, — сказал капитан Джеми, взяв себя в руки, — покажи мне где.

Но нельзя было показать, где зарыто взрывчатое вещество, никогда не существовавшее в действительности, а только лишь в воображении несчастного Уинвуда.

В такой обширной тюрьме, как Сен-Квентин, всегда полно мест, где можно спрятать вещи. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, мысль его работала с бешеной скоростью.

Как капитан Джеми засвидетельствовал впоследствии перед главным тюремным начальством и как свидетельствовал также Уинвуд, по дороге к тайнику он заявил, что закапывать динамит помогал ему я.

А меня только что выпустили из карцера, где я провел пять суток, и восемьдесят часов из них — в смирительной рубашке; даже тупые тюремщики сочли меня слишком слабым для работы в ткацкой мастерской и дали день для отдыха после слишком сурового наказания. И вот он

указывает на меня как на человека, помогавшего ему прятать несуществующие тридцать пять фунтов динамита.

Уинвуд повел капитана Джеми к упомянутому им тайнику. Конечно, они не нашли в нем ничего.

— Боже мой! — в притворном ужасе закричал Уинвуд. — Стэндинг обманул меня. Он перепрятал динамит в другое место.

У надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». Затем, вне себя от бешенства, но не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда в свой кабинет, запер двери и страшно избил его, — все это потом дошло до главного тюремного начальства, но много позже. А пока, несмотря на побои, Уинвуд клялся, что все сказанное им — правда.

Что было делать капитану Джеми? Он был убежден, что тридцать пять фунтов динамита спрятаны в тюрьме и что сорок самых отчаянных заключенных готовы к побегу. Он допросил Саммерфейса, и хотя тот настаивал, что в свертке находился табак, Уинвуд продолжал божиться, что там был динамит, и таки заставил всех себе поверить.

Тогда я выступил на сцену или, вернее, сошел

со сцены, потому что они отняли у меня солнце и дневной свет и бросили гнить в карцере, а затем в одиночной камере на долгих пять лет.

Я был ошеломлен. Меня только что освободили из карцера, и я лежал больной после перенесенного наказания в своей камере, как вдруг меня снова бросили в одиночку.

— Ну, хотя мы и не знаем, где теперь динамит, — сказал Уинвуд капитану Джеми, — но он в целости. Стэндинг — единственный человек, которому известно, где он, а из карцера он никому не может об этом сообщить. Люди готовы совершить побег. Мы захватим их на месте. Нужно только назначить время. Я скажу им, что в два часа ночи, когда часовые заснут под действием снотворного, я открою их камеры и раздам оружие. Если сегодня в два часа вы не поймаете с поличным сорок названных мною человек, бодрствующими и совершенно одетыми, вы можете, капитан, посадить меня в одиночку до конца моего срока. А от Стэндинга и от тех сорока, надежно запертых в карцере, мы в любое время дознаемся, где находится динамит.

— Да, даже если понадобится разнести тюрьму по кусочкам, — храбро прибавил капитан Джеми.

Это было шесть лет назад. За это время они не нашли никогда не существовавшую взрывчатку, хотя в ее поисках тысячу раз перевернули тюрьму вверх дном. Тем не менее до последнего дня своей службы начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и доныне работает старшим надзирателем, верит и сейчас, что он где-то в стенах тюрьмы. Вчера он прибыл из Сен-Квентина в Фолсем, чтобы еще раз попытаться заставить меня признаться ему, где он спрятан. Я знаю, он не вздохнет свободно, пока меня не повесят.

Глава III

Весь этот день я ломал себе голову, пытаясь найти причину нового наказания. Я мог лишь прийти к заключению, что какая-то дрянь, выслуживаясь перед начальством, солгала, будто я нарушил правила. В это время капитан Джеми, почесывая голову, готовился к ночи, а Уинвуд передал сорока заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа ночи вся тюремная стража, за исключением дневной смены, которая отдыхала, была начеку. Как только пробило два часа, они устремились к камерам сорока заговорщиков. Они ворвались во все камеры одновременно, и все, кого назвал Уинвуд, без исключения, были застигнуты совершенно одетыми и притаившимися за дверью. Конечно, это вполне подтвердило ту лживую сказку, что сплел поэт-доносчик капитану Джеми. Сорок заключенных были схвачены на месте преступления. Напрасно все как один утверждали впоследствии, что побег был задуман Уинвудом. Тюремное начальство поверило, что все сорок лгут, пытаясь себя выгородить. Комиссия по амнистии, уверенная в том же, через три месяца освободила Сесила Уинвуда, доносчика и

поэта, самого презренного из людей…

Впрочем, бунт и заключение — хорошее испытание для философа. Ни один заключенный не может прожить в тюрьме годы без того, чтобы не лопнули его самые безумные иллюзии и красивейшие метафизические пузыри. Нас учили тому, что правда побеждает, а зло рано или поздно бывает наказано. Данный же случай свидетельствует как раз о том, что зло не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, покойный Азертон, все тюремное начальство, как один человек, поверило в существование динамита, который существовал лишь в неустойчивом, легко возбудимом мозгу поэта, выродка и стукача Сесила Уинвуда. Сесил Уинвуд до сих пор жив, между тем как я, самый непричастный и безвинный, отправлюсь на эшафот через несколько недель.

Теперь я должен рассказать, как тишину моего карцера нарушили сорок пожизненно заключенных. Я спал, когда наружная дверь карцерного коридора с шумом открылась, разбудив меня. «Какой-нибудь бедняга», — подумал я; моей следующей мыслью было, что ему крепко достается, ибо я слышал топот ног, грубые толчки, внезапные крики боли, непристойную ругань и шорох волочимых по полу тел. Ибо, знаете, всем, кто

попадает сюда, обычно достается по дороге.

Двери карцеров шумно отворялись одна за другой, и тело за телом вталкивали, бросали и втаскивали в одиночки. И беспрестанно новые группы надзирателей приходили, приводя новых избитых заключенных; и много раз открывались двери карцеров, чтобы поглотить окровавленные тела людей, виновных в том, что они стремились к свободе.

Да, когда я оглядываюсь на это, мне кажется, что человек должен быть великим философом, чтоб пережить такое грубое обращение в течение многих лет. Я — такой философ. Я перенес восемь лет пыток и теперь наконец, не сумев избавиться от меня другими способами, они призвали на помощь государственную машину для того, чтобы надеть мне петлю на шею и лишить меня жизни. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое веское заключение о том, что при падении в люк веревка ломает жертве шейные позвонки. А жертвы, подобно шекспировскому путешественнику, никогда не возвращаются, чтобы опровергнуть это. Но мы, жившие в тюрьме, знаем, что иногда крышки тюремных склепов захлопываются над теми, чьи шеи отнюдь не сломаны.

Забавная это штука — повешение человека. Я

никогда не видел этой казни, но очевидцы описывали мне ее десятки раз с такими подробностями, что я очень хорошо знаю, что мне предстоит. Я буду стоять на эшафоте, скованный по рукам и ногам, с петлей на шее, в черном колпаке, а затем я почувствую толчок, и мое тело повиснет на натянутой веревке. Тогда доктора окружат меня и один за другим по очереди станут взбираться на табурет, ощупывать руками меня, качающегося подобно маятнику, прикладывать ухо к моей груди, следя за слабеющим биением моего сердца. Пройдет около двадцати минут после того, как у меня из-под ног выбьют табурет, и сердцебиение прекратится. О, поверьте мне, они вполне научно удостоверяются, что человек мертв, раз уж взялись его повесить.

Я еще раз отклоняюсь от своего рассказа, чтобы задать обществу один или два вопроса. Я имею право на это, потому что очень скоро меня схватят и проделают со мной то же самое. Так вот, если шея жертвы ломается под действием искусной системы узла и петли, в силу точного расчета веса человека и длины веревки, то зачем же связывать руки жертвы? Общество неспособно ответить на этот вопрос. Но я знаю почему: так поступают палачи-любители при линчевании,

которым хоть раз приходилось видеть, как жертва хватается за веревку и освобождает горло от петли, которая его душит.

Другой вопрос я обращаю к прилично одетому в крахмальную сорочку и сюртук члену общества, душа которого никогда не блуждала по обагренному кровью аду. Зачем нахлобучивают черный колпак на голову жертвы, прежде чем сбросить ее с помоста? Пожалуйста, вспомните, что через некоторое время черный колпак наденут и на мою голову. Поэтому я и имею право спрашивать об этом. Не затем ли делают это ваши палачи, о нарядные граждане, что боятся взглянуть на тот ужас, который написан на лице жертвы, когда они совершают преступление над нами по вашему приказанию?

Пожалуйста, вспомните, что я задаю этот вопрос не спустя двенадцать столетий после Рождества Христова, не в год рождения Христа, не за две тысячи лет до Рождества Христова.

Я, которого скоро повесят, задаю этот вопрос в 1913 году после Рождества Христова, вам, считающим себя последователями Христа, вам, чьи палачи скоро задушат меня и скроют мое лицо черным колпаком, потому что они не смеют смотреть на тот ужас, который сотворят со мной,

пока я еще буду жив.

А теперь вернемся к тому, что произошло в карцере. Когда удалился последний тюремщик и наружная дверь захлопнулась, все сорок избитых и обманутых людей начали говорить и расспрашивать друг друга. Но тут же заревел, как бык, Брамсель Джек, великан-матрос, приказывая всем замолчать, чтобы устроить сперва перекличку. Карцеры были переполнены, и заключенные стали по очереди называть свои имена. Таким образом выяснилось, что все карцеры заняты проверенными людьми и доносчиков среди них нет.

Только относительно меня были сомнения у заключенных, так как я был единственным, кто не принимал участия в заговоре. Они подвергли меня строгому допросу. Я мог лишь рассказать, что только утром был освобожден от карцера и смирительной рубашки, а затем без всякого повода, насколько я мог судить, был брошен обратно, пробыв вне его лишь несколько часов. Мое звание «неисправимого» свидетельствовало в мою пользу, и они скоро начали разговаривать.

Лежа и слушая их речи, я впервые узнал о том, что готовился побег. «Кто донес?» — только этот вопрос занимал их, и всю ночь они обсуждали

его. Все указывало на Сесила Уинвуда, подозрение на его счет было общим.

— Одно надо иметь в виду, ребята, — сказал в конце концов Брамсель Джек, — скоро утро, и нас вытащат отсюда и спустят шкуру. Мы попались с поличным, одетыми. Уинвуд одурачил нас и донес. Они станут допрашивать нас по одному, без особых нежностей. Нас сорок. Если станем врать, вранье обязательно обнаружится. А потому пусть каждый, когда его станут допрашивать, сразу говорит правду, всю правду, и помогай ему Бог.

И вот, в темной яме человеческой жестокости, во всех одиночных камерах, приложив уста к решетчатому окошку, четыре десятка пожизненно заключенных торжественно клялись перед Богом говорить только правду.

Мало хорошего принесла им эта правдивость. В девять часов к нам явились надзиратели, убийцы, нанятые прилично одетыми гражданами, составляющими государство, упитанные и выспавшиеся. Мы же не только не получили завтрака, но даже и воды не пили. А избитого человека обычно лихорадит. Интересно мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть самое отдаленное представление о самочувствии избитого человека? Но я не стану об этом рассказывать.

Достаточно знать, что эти избитые, трясущиеся в лихорадке люди семь часов пролежали без воды.

В девять явились надзиратели. Их было немного, да много и не требовалось, так как карцеры отпирали по одному. Они были вооружены заостренными палками, удобным оружием для «дисциплинирования» беспомощного человека. Открывая по одной двери за раз, они жестоко избивали заключенных. Они были беспристрастны. Я получил такую же порцию, как и все остальные. И это было только начало, предисловие к допросу, который предстоял каждому из нас по отдельности, в присутствии наемных насильников государства.

Я прошел через все ужасы тюремной жизни, но хуже всего, хуже того, что они собирались со мной сделать в ближайшем будущем, был тот особый ад, что воцарился в последующие дни в карцерах.

Длинного Билла Ходжа, крепко сбитого горца, допросили первым. Он вернулся спустя два часа или, вернее, его притащили обратно и бросили на каменный пол карцера. Затем взяли Луиджи Полаццо из Сан-Франциско, итальянца по происхождению, который насмехался и глумился над тюремщиками, призывая их расправиться с ним

самым худшим образом.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж преодолел свою боль и смог собраться с мыслями.

— Что там за динамит? — спросил он. — Кто знает что-нибудь об этом динамите?

И конечно, никто не знал о нем, хотя вся суть допроса сводилась к динамиту.

Луиджи Полаццо вернулся немного раньше, чем через два часа; он вернулся калекой, в горячке, и не мог отвечать на вопросы, звеневшие в гулком коридоре, вопросы людей, которым предстояло то же, что и ему. Они очень хотели знать, что с ним делали и о чем его допрашивали.

Еще дважды на протяжении сорока восьми часов Луиджи водили на допрос. После чего, безумного, невнятно бормочущего, его отправили в отделение для умалишенных. Он отличался крепким сложением: его плечи были широки, грудь сильна, кровь чиста. Он будет еще долго бормотать что-то в отделении для умалишенных, после того как меня повесят и избавят от мучений исправительных заведений Калифорнии.

Одного за другим, каждый раз по одному человеку, заключенных уводили из камер и возвращали обратно сломленными, совершенно безумными,

и они стонали и выли в темноте. И пока я лежал здесь и прислушивался к стенаниям и бреду людей, чей разум помутился от страданий, что-то смутно вспомнилось мне; мне казалось, что где-то когда-то я сидел на возвышении, гордый и безучастный, и внимал подобному хору стонов и проклятий. Впоследствии, как вы узнаете, я открыл источник этого воспоминания и понял, что некогда слышал стенания оборванных рабов-гребцов, прикованных к своим скамьям, слышал их, стоя наверху, на корме военной галеры древнего Рима. Это было, когда я, капитан галеры, плыл из Александрии в Иерусалим… Но эту историю я расскажу вам после. А пока…

Глава IV

А пока я был во власти ужаса, охватившего карцеры после того, как был раскрыт заговор о побеге. И ни на минуту в течение этих бесконечных часов ожидания из моего сознания не ускользала мысль, что дойдет и моя очередь вслед за другими заключенными, что мне придется вынести те же мучения на допросах, какие переносили они, что меня также принесут избитого обратно и бросят на каменный пол моего каменного, с железной дверью, мешка.

Они явились ко мне. Грубо и угрюмо, с ударами и проклятиями вывели они меня, и я очутился лицом к лицу с капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными полудюжиной нанятых государством и налогоплательщиками палачей-надзирателей, которые выстроились в комнате в ожидании приказаний. Но они не понадобились.

— Садись, — сказал Азертон, указывая на солидное кресло.

Избитый и больной, не имевший во рту ни капли воды в течение длинной ночи и дня, ослабевший от голода и побоев, после пятидневного

пребывания в карцере и восьмидесятичасового — в смирительной рубашке, подавленный превратностями человеческой судьбы, ожидая, что со мной случится то же самое, что и с другими, я, слабое подобие человеческого существа, когда-то профессор агрономии в спокойном университетском городке, — я колебался, не решаясь сесть.

Начальник тюрьмы Азертон был крупным и очень сильным мужчиной. Его руки опустились на мои плечи. Я почувствовал себя соломинкой в сравнении с ним. Он приподнял меня и бросил в кресло.

— Теперь, Стэндинг, — сказал он, пока я вздыхал и молча проглатывал свою боль, — расскажи мне все. Выложи все, что знаешь, это будет для тебя лучше.

— Я ничего не знаю о том, что случилось, — начал я.

Я не мог продолжать: он, рыча, снова бросился на меня, поднял в воздух и швырнул в кресло.

— Без глупостей, Стэндинг, — предупредил он. — Скажи честно, где динамит?

— Я ничего не знаю ни о каком динамите, — возразил я.

Меня еще раз встряхнули и бросили в кресло.

Я вытерпел множество пыток, но когда я думаю

о них в тиши этих моих последних дней, я готов признать, что ни одна из них не сравнится с тем, что я испытал в этом кресле. Под ударами моего тела оно постепенно превращалось в обломки. Принесли другое, и спустя некоторое время его постигла та же участь.

Приносили все новые кресла, и тянулся бесконечный допрос о динамите.

Когда Азертон устал, его сменил капитан Джеми, а затем надзиратель Моногэн занял место капитана Джеми. И все время меня спрашивали только одно: «Где динамит?» А его вовсе не было. Так что в конце концов я готов был продать свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, чтобы иметь возможность указать, где я его спрятал.

Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в один кошмар. Меня наполовину несли, наполовину тащили, чтобы ввергнуть снова во мрак. Придя в себя, я обнаружил в своем карцере доносчика. То был бледнолицый маленький человек, заключенный с небольшим сроком, готовый на все, лишь бы скорее выйти на волю. Как только я узнал его, я подошел к решетке и крикнул на весь коридор:

— Ко мне посадили стукача, ребята. Это Игнатиус Ирвин. Держите язык за зубами!

Раздавшийся взрыв проклятий мог бы поколебать мужество и более смелого человека, чем Игнатиус Ирвин. Он был жалок в своем страхе, потому что вокруг него, рыча как звери, истерзанные пожизненно заключенные грозили ему ужасной расправой, которую обязательно учинят над ним, когда встретят его через несколько лет.

Если бы у нас были тайны, то присутствие доносчика в карцере сразу заставило бы всех замолчать. Но так как все поклялись говорить только правду, откровенные разговоры в присутствии Игнатиуса Ирвина не прекратились. Большое недоумение вызывал у заключенных динамит, существование которого было для них покрыто таким же мраком неизвестности, как и для меня. Они обратились ко мне. Они умоляли меня, если я знаю что-нибудь о динамите, признаться и спасти их от дальнейших истязаний. И я сказал им только правду: что я ничего не знаю о динамите.

То, что рассказал мне доносчик до того, как его убрали из моей камеры, открыло мне, как серьезно обстоят дела. Конечно, я передал его слова дальше. Тысячи заключенных оставались

в своих камерах, и похоже было на то, что ни в одной из множества тюремных мастерских не примутся за работу, пока не будет обнаружено местонахождение динамита, якобы кем-то спрятанного в тюрьме.

Расследование продолжалось. То и дело кого-то из заключенных выводили, затем водворяли обратно. Они рассказывали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, измученные своими трудами, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал. И они спали не раздеваясь в той самой комнате, где одного за другим избивали сильных мужчин.

И с каждым часом в темноте одиночек рос наш исступленный ужас. О, поверьте моему опыту, казнь — это пустяки в сравнении с истязаниями, которым подвергают живых людей, не давая им умереть. Я тоже страдал вместе с ними от боли и жажды, но мои терзания усиливались оттого, что я был неравнодушен к страданиям других. Я уже два года был неисправимым, мои нервы закалились. Ужасно видеть сильного человека сломленным. Разом со мной были сломлены сорок сильных мужчин. Отовсюду неслись мольбы о воде, и тюрьма стала похожа на сумасшедший дом из-за криков, рыданий и бормотания исступ-

ленно бредящих людей.

Понимаете вы это? Наша правда, та истинная правда, которую мы говорили на допросах, стала нашим проклятием. Если сорок человек единодушно повторяют одно и то же, то, по мнению Азертона и капитана Джеми, это значит, что их показания представляют собой заученную наизусть ложь, которую каждый из сорока твердит как попугай.

Положение тюремных властей, пожалуй, было более отчаянным, чем наше. Как я впоследствии узнал, было созвано по телеграфу совещание управления тюрьмы, и две роты государственной милиции были спешно направлены к ней.

Стояла зима, а даже в Калифорнии мороз зимой бывает очень сильным. В карцерах не полагались одеяла. Знайте, что очень холодно лежать избитым телом на холодном камне. В конце концов им пришлось дать нам воду. С насмешками и проклятиями тюремщики схватили пожарные рукава и направили сильные потоки воды в каждый карцер, хлеща наши избитые тела их мощью. И так продолжалось до тех пор, пока мы не оказались по колено в воде, о которой мы только что бредили, а теперь мечтали, чтобы этот поток иссяк.

Я умолчу о том, что случилось в карцерах, и только скажу, что ни один из сорока пожизненно заключенных не остался прежним человеком. К Луиджи Полаццо никогда больше не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж тоже медленно терял разум и через год перебрался на житье в отделение для умалишенных. И многие другие тоже последовали за Полаццо и Ходжем; те же, чье физическое здоровье было подорвано, пали жертвой тюремного туберкулеза. Целых двадцать пять процентов из этих сорока человек умерли в течение последующих шести лет.

После пятилетнего одиночного заключения, когда меня для судебного разбирательства перевели из Сен-Квентина, я встретил Брамселя Джека. Я плохо видел его, потому что, как летучая мышь, был ослеплен солнечным светом после пяти лет темноты; но я видел достаточно, чтобы у меня защемило сердце. Я встретил его в тюремном дворе. Его волосы побелели, он преждевременно состарился, его грудь ввалилась, щеки впали, руки тряслись, он шатался на ходу. На его глазах появились слезы, когда он узнал меня, потому что я тоже был жалким обломком бывшего человека. Я весил всего восемьдесят семь фунтов. Мои полуседые волосы за пять лет отросли, как

и борода и усы. И я тоже шатался на ходу, так что тюремщики помогали мне пройти этот залитый солнцем кусочек тюремного двора. И я, и Брамсель Джек, мы смотрели и с трудом узнавали друг друга в этих обломках.

Люди, подобные ему, пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он решился нарушить правила и заговорил со мной хриплым, дрожащим голосом:

— Ты порядочный человек, Стэндинг, ты никого не выдал.

— Но я ничего не знал, Джек, — зашептал я, ибо за пять лет молчания мой голос почти совсем пропал. — Я вообще не думаю, что этот динамит существовал.

— Это правда, — прохрипел он, по-детски кивая головой. — Настаивай на этом. Пусть никто об этом не знает. Ты порядочный парень. Я преклоняюсь перед тобой, Стэндинг. Ты никого не выдал.

И тюремщики повели меня дальше. Я в последний раз видел Брамселя Джека. Было очевидно, что и он также стал верить в миф о динамите.

Дважды водили меня к тюремному начальству. Мне попеременно то угрожали, то умасливали. Мне предоставили на выбор лишь две возможно-

сти. Если я открою, где динамит, наказание будет легким — месяц в карцере, а потом меня назначат заведующим тюремной библиотекой. Если я не перестану упорствовать и не выдам местонахождение динамита, меня запрут в одиночку на весь оставшийся срок. Для меня, пожизненно заключенного, это было равносильно одиночному заключению на всю жизнь.

О нет!.. Калифорния — страна цивилизованная. Ничего подобного нет в сводах законов. Это жестокое и небывалое наказание, и ни одно современное государство не имеет подобного закона. Однако в истории Калифорнии я являюсь третьим человеком, приговоренным к пожизненному одиночному заключению. Двое других — это Джек Оппенхеймер и Эд Моррелл. Я скоро расскажу вам о них, потому что с ними я гнил целые годы в кельях молчания.

И вот еще что. Меня скоро повесят, но не за убийство профессора Хаскелла. За это я получил пожизненное заключение. Вздернут меня за то, что я напал на надзирателя, нарушив не требование тюремной дисциплины, а закон, который можно найти в уголовном кодексе.

Возможно, я разбил ему нос. Я не видел, как текла кровь, но свидетели нашлись. Его звали

Серстон, то был надзиратель в Сен-Квентине. Он весил 170 фунтов и отличался отменным здоровьем. Я весил около девяноста фунтов и был слеп, как летучая мышь; я так долго находился в крохотной камере, что терялся при виде большого открытого пространства. В самом деле, у меня определенно развивалась агорафобия; я убедился в этом в тот день, когда выбежал из одиночки и ударил надзирателя Серстона в нос.

Я расквасил ему нос до крови, потому что он встал на моем пути и попытался схватить меня. И за это меня повесят. Таков писаный закон штата Калифорния: пожизненный заключенный, такой как я, виновен в тягчайшем преступлении, если он побил тюремщика, такого как Серстон. Конечно, кровотечение беспокоило его не более получаса, и все же меня за это повесят.

И вот! Этот закон в моем случае имеет обратную силу. Он еще не был принят, когда я убил профессора Хаскелла. Его утвердили уже после того, как я получил пожизненный приговор. Суть в том, что вынесенный мне приговор поставил меня под действие такого закона, который еще не был занесен в кодекс. И вот, из-за этих правил для пожизненно заключенных меня повесят за то, что я побил надзирателя Серстона. Это очевид-

ный случай придания закону обратной силы и, следовательно, противоречащий конституции.

Но какое значение имеет конституция в глазах законников, если они желают убрать с дороги известного профессора Даррела Стэндинга? Да и не моя казнь станет прецедентом. Год тому назад (кто читает газеты, тот знает) повесили Джека Оппенхеймера, как раз здесь, в Фолсеме, за подобное преступление, только он не разбил нос тюремщику до крови, а случайно порезал заключенного хлебным ножом.

Странная штука — жизнь, и пути людей, и законы, и хитросплетения судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере отделения для убийц, которую занимал Джек Оппенхеймер, пока его не выдворили отсюда и не сделали с ним то, что теперь собираются сделать со мной.

Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом. Вернусь теперь к моему рассказу. Тюремное начальство предоставило мне выбор: заведовать тюремной библиотекой с освобождением от работы в ткацкой мастерской, если я открою местонахождение несуществующего динамита, или пожизненное одиночное заключение, если я откажусь это сделать.

Они дали мне на размышление двадцать че-

тыре часа в смирительной рубашке. Затем я вторично предстал перед ними. Что мог я сделать? Я не мог указать, где находится несуществующий динамит. Я так им и сказал, но они назвали меня лжецом. Они заявили, что я представляю собою очень тяжелый случай, что я опасный человек, нравственный выродок, выдающийся преступник своего века. Они сказали мне еще много чего и затем отправили в одиночную камеру. Я был помещен в камеру № 1. В номере пятом находился Эд Моррелл, в двенадцатом — Джек Оппенхеймер. Последний — уже десять лет, а Эд Моррелл провел в своей камере только год. Его приговорили к пятилетнему одиночному заключению. Джек Оппенхеймер был пожизненно заключенным, как и я. Поэтому можно было предположить, что мы трое останемся здесь надолго. И однако прошло только шесть лет, и вот уже никого из нас нет. Оппенхеймер повешен, Эд Моррелл повинился в Сен-Квентине и был помилован на следующий день. А я — здесь, в Фолсеме, в ожидании того дня, когда предстану перед судьей Морганом, — в ожидании своего последнего дня.

Безумцы! Будто они могут уничтожить мое бессмертие веревкой и эшафотом! Я буду идти и идти вперед, вечно шагать по этой прекрасной

земле. И я буду странствовать, воплощенный, буду князем и крестьянином, ученым и безумцем, сидеть на возвышении и стонать под колесами…

Глава V

Сначала в одиночке было очень скучно и часы тянулись медленно. Ход времени отмечался лишь регулярной сменой стражи и чередованием дня и ночи. Днем в мою камеру проникало только немного света, но все же это было лучше полной тьмы ночи. В одиночке день — это только липкая тина, через которую процеживается свет из другого, яркого мира.

Света всегда было слишком мало для того, чтобы читать, да и читать-то было нечего. Можно было только лежать и думать, думать. А ведь я был пожизненно заключенным, и становилось ясно, что если я не совершу чудо, добыв тридцать пять фунтов динамита из ничего, то мне придется провести всю оставшуюся жизнь в безмолвном мраке.

Моя постель представляла собой тонкий тюфяк из гнилой соломы, лежащий на голом полу. Укрывался я грязным одеялом. Не было ни стула, ни стола — ничего, кроме соломенного тюфяка и ветхого одеяла. Я привык спать мало и заниматься умственным трудом. В одиночке надоедаешь сам себе, и единственным средством убежать

от себя является сон. В течение многих лет я спал в среднем по пять часов в сутки. Теперь я культивировал сон, я создал из этого целую науку. Я приучил себя спать десять часов, потом двенадцать. Большего достичь было нельзя, и поэтому приходилось лежать, бодрствуя, и думать, думать. А на этом пути человека, привыкшего много размышлять, ждет безумие.

Я пытался изобрести способы, чтобы хоть как-то заполнить мои часы бодрствования. Я возводил в квадрат и куб длинные ряды чисел и строил из них удивительные геометрические прогрессии. Я принялся также ради забавы искать квадратуру круга, пока сам не начал верить, что эта невыполнимая задача может быть решена. Тогда я спохватился, что недалек от безумия, бросил это занятие, хотя, уверяю вас, то была большая жертва с моей стороны, так как данное умственное упражнение было прекрасным средством убивать время.

Мысленно я представлял себе шахматную доску и играл за обе стороны длинные партии. Но когда я приобрел опыт в этой зрительной игре памяти, упражнение опротивело мне, так как в нем не было действительного соперничества. Я пытался, и пытался безрезультатно, расщепить свою лич-

ность на две и противопоставить одну другой. Я все же оставался одним игроком, который не мог придумать хитрости для одной стороны, чтобы другая тотчас же не узнала о ней.

А время тянулось очень медленно и скучно. Я затеял игру с мухами, с обыкновенными домашними мухами, проникавшими в одиночку вместе с тусклым серым светом, и узнал, что с ними очень даже возможно играть. Например, лежа возле дверей камеры, я провел произвольную воображаемую линию вдоль стены, около трех футов над полом. Если они сидели на стене выше этой линии, я их не трогал. Но как только они садились на стену ниже линии, я пытался поймать их. Я старался не раздавить их, не помять их крылья, и с течением времени они очень точно усвоили, где находится воображаемая линия. Если они хотели играть, то садились ниже ее, и часто та или иная муха приглашала меня играть. Когда она уставала, то садилась на безопасную территорию выше условной линии.

Около дюжины мух жило со мной, и только одна не хотела принимать участия в игре. Поняв, чем грозит пребывание на стене ниже линии, она тщательно избегала запретной территории. Эта муха была угрюмым созданием. Она никогда

не играла с другими мухами. Она была сильна и здорова, — я долго изучал ее и знал это. Ее нерасположение к игре следовало из ее темперамента, а не из ее физического состояния.

Поверьте мне, я знал всех своих мух. Я удивлялся тому, что научился видеть такое множество отличительных черт в них. О, каждая резко индивидуальна не только по своей величине и приметам, силе и скорости полета, по манере полета и игры, увертками и стремительности. Они также резко отличались в мельчайших проявлениях ума и характера.

Я знал нервных и флегматичных мух. По размеру они были чуть меньше среднего и летали очень быстро, как от меня, так иногда и от других мух. Видели ли вы когда-нибудь жеребенка или теленка, скачущего, как безумный, с бьющей через край живостью и стремительностью? Вот и у меня была одна такая муха, — самый смелый игрок из всех, между прочим, — которая, три или четыре раза подряд сев на мою запретную стену и успев каждый раз увернуться от осторожного взмаха моей руки, торжествуя, приходила в такое возбуждение, что взмывала стрелой возле моей головы, кружилась, металась, опрокидывалась, всегда держась в границах того круга, где по пра-

вилам я не мог ее достать.

Я мог заранее предугадать, когда та или иная муха захочет начать игру. Я не стану утомлять вас описанием мелочей, которые мне приходилось наблюдать, хотя эти мелочи помогли мне не погибнуть от скуки в первый период моего одиночества. Об одном только хочу я поведать вам, о том, что мне особенно памятно: однажды угрюмая муха, которая никогда не играла, села в минуту забывчивости на запретную территорию и была немедленно мною схвачена. Знаете ли, она потом дулась целый час.

А часы тянулись очень медленно в одиночке. Их нельзя было все скоротать во сне или игре с мухами. Потому что мухи — это только мухи, а я человек, с человеческим мозгом, образованным и деятельным, со множеством научных и других познаний, склонным к напряженному и вдохновенному труду. Ему было нечем заняться, и мои мысли сосредоточивались в бесполезных размышлениях. Так, я думал о своих опытах с виноградом, которым я посвятил мои последние летние каникулы в виноградниках Асти. Я почти закончил эти исследования. И я спрашивал себя, продолжает ли их кто-нибудь, и если продолжает, то с какими результатами?

Как видите, мир погиб для меня. Никакие новости не проникали оттуда. История науки обогащается ежедневно, а я интересовался тысячью вопросов. Например, я создал теорию гидролиза казеина с помощью трипсика, которую профессор Уолтер проверил потом в своей лаборатории. Подобным же образом профессор Шлеймер сотрудничал со мной, пытаясь обнаружить фитостерин в смеси животных и растительных жиров. Эта работа, конечно, ведется и сейчас, но с какими результатами? Одна мысль обо всей этой деятельности за тюремными стенами, в которой я не мог принимать участия и о которой мне никогда не суждено даже услышать, сводила меня с ума. А тем временем я лежал у дверей камеры и играл с прирученными мухами.

Однако в одиночке отнюдь не царила полная тишина. С первых дней своего заключения я различал слабый, тихий стук с неправильными промежутками. Затем стал слышать его уже явственнее. Этот стук постоянно прерывался окриком тюремщика. Однажды, когда стук был слишком настойчив, дежурные надзиратели вызвали других, и по долетавшему до меня шуму я понял, что на кого-то надели смирительные рубашки.

Легко можно было объяснить, в чем дело. Я знал, как и все заключенные в Сен-Квентине, что в одиночках содержатся Эд Моррелл и Джек Оппенхеймер. И ясно было, что эти двое общались, перестукиваясь, и были за это наказаны.

Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, чрезвычайно прост, и однако посвятил много часов его раскрытию. Он не мог быть не прост, но мне не за что было ухватиться. Я позже убедился в его простоте; и еще проще оказалась применяемая ими уловка, которая все сбивала меня с толку. Они не только каждый день меняли букву алфавита, с которой начинался ключ, но меняли ее в каждом разговоре и часто даже посреди разговора.

Итак, настал день, когда я открыл ключ, угадав правильно начальную букву, внимательно прислушался к двум ясным фразам из разговора, но когда они стали продолжать беседу, я снова не смог понять ни одного слова. Но сперва все-таки понял!

— Скажи… Эд… что… бы… ты… дал… теперь… за… кусочек… бумаги… и… за добрую… порцию… табака? — спросил тот, чей стук доносился издалека.

Я чуть не вскрикнул от радости. Здесь было

общение, было товарищество! Я внимательно прислушался, с большим нетерпением, и ближайший сосед, которого я считал Эдом Морреллом, ответил:

— Я согласился бы… на… двадцать… часов… в… смирительной рубашке… за… пакетик… в пять… центов…

— Моррелл! Прекрати!

Со стороны может показаться, что хуже приговора к пожизненному одиночному заключению ничего не может быть и что поэтому у тюремщика нет средств заставить нас себе повиноваться. Но остается смирительная рубаха, остаются голод и избиения. Действительно, человек, заключенный в тесную камеру, очень беспомощен.

И перестукивание прекратилось, а когда оно возобновилось ночью, я снова насторожился. По предварительному соглашению они изменили начальную букву ключа. Но я уловил его суть, и через несколько дней они снова использовали начальную букву, которую я понял. Я не стал церемониться и простучал:

— Привет!

— Привет, незнакомец, — ответил Моррелл, а Оппенхеймер добавил: — Добро пожаловать.

Им было любопытно знать, кто я такой, на

какой срок приговорен к одиночке и за что. Но все это я оставил пока без ответа, желая сперва изучить их систему изменения начальной буквы шифра. Когда я это выяснил, мы стали разговаривать. Это был великий день, потому что двое пожизненно заключенных приняли третьего, хотя пока лишь на испытательный срок. Как они мне впоследствии рассказывали, они боялись, что я могу быть доносчиком, подсадной уткой. Один такой уже сидел с Оппенхеймером, и тот дорого заплатил за доверие, оказанное шпиону Азертона.

К моему удивлению, им обоим была известна моя репутация неисправимого. Даже в ту живую могилу, в которой в течение десяти лет лежал Оппенхеймер, проникли отголоски моей славы.

Мне нужно было многое рассказать им о случившемся в тюрьме и в мире за ее стенами. Попытка побега сорока пожизненно заключенных, поиски воображаемого динамита, вероломное подстрекательство Сесила Уинвуда, — все было для них новостью. Как они мне поведали, новости случайно просачивались к ним через надзирателей, но за последние два-три месяца они почти ничего не слыхали. Дежурившие ныне надзиратели были особенно злыми и мстительными.

Не один раз за этот день нас проклинал за перестукивание тюремщик, но мы не могли удержаться. Двое заживо погребенных получили третьего товарища, и нам нужно было так много сказать друг другу, и самый способ разговора отличался столь раздражающей медлительностью, а я к тому же не был так искусен в перестукивании, как они.

— Подожди, пока не сменится на ночь Горошина, — сказал мне Моррелл. — Он спит почти всю смену, и мы сможем поговорить вволю.

Как долго мы разговаривали этой ночью! Сон как рукой сняло. Джонс по прозвищу Горошина был низким и злым человеком, несмотря на свою полноту; но мы благословляли его полноту, потому что она нагоняла на него сонливость. Тем не менее наше непрерывное перестукивание не раз будило его и раздражало, так что он не единожды сделал нам замечание. А другие ночные надзиратели непрерывно бранились. Наутро начальству было доложено о нашем непрерывном перестукивании, и мы поплатились за свой небольшой праздник, потому что к девяти часам явился капитан Джеми с несколькими тюремщиками, чтобы надеть на нас смирительные рубашки. До девяти часов следующего дня, целых двадцать

четыре часа, связанные и беспомощные, без пищи и воды, мы расплачивались за разговор.

О, наши надзиратели были настоящими животными! И их жестокое обращение должно было превратить нас в диких зверей для того только, чтобы выжить. Грубая работа делает грубыми руки. Грубые тюремщики делают грубыми заключенных. Мы продолжали наше общение, и то и дело в наказание на нас надевали смирительные рубашки. Ночь была лучшим временем, и, когда дежуривший надзиратель дремал, мы часто беседовали на протяжении целой смены.

Ночь и день ничем не отличались для нас, живших в темноте. Мы могли спать в любое время, перестукиваться же только от случая к случаю. Мы рассказывали друг другу о событиях наших жизней, и долгие часы Моррелл и я молча внимали Оппенхеймеру, который спокойно, не спеша рассказывал нам историю своей жизни, начиная с детства, проведенного в трущобах Сан-Франциско, с посвящения в порок, когда, четырнадцатилетний мальчишка, он работал ночным посыльным в квартале красных фонарей и впервые попал в лапы полиции; он рассказал обо всех кражах и разбоях и о предательстве товарища и кровавом расчете в тюремных стенах.

Джека Оппенхеймера прозвали Человек-Тигр. Какой-то юркий репортер придумал эту кличку, которая надолго переживает человека, ее носившего. И тем не менее я всегда находил в Джеке Оппенхеймере все главные черты истинной гуманности. Он был честен и прямодушен. Нередко он предпочитал наказание доносу на товарища. Он был храбр, терпелив, способен на самопожертвование; я мог бы рассказать об этом, но у меня нет времени. А справедливость была его страстью. Убийство, совершенное им в тюрьме, было вызвано исключительно его крайне развитым чувством справедливости. Он обладал блестящим умом. Пожизненное тюремное заключение и десять лет, проведенных в одиночке, не затуманили его рассудок.

Моррелл, тоже надежный товарищ, также отличался недюжинным умом. Действительно, я, находясь на пороге смерти, имею право сказать, не боясь обвинений в нескромности, что три лучшие головы в Сен-Квентине принадлежали нам троим, гнившим бок о бок в одиночных камерах.

И вот, к концу моих дней, оглядываясь на весь свой жизненный опыт, я пришел к заключению, что сильные умы никогда не бывают покорными. Глупцы, трусы, люди, не одаренные страст-

ным чувством справедливости и бесстрашием борца, — вот из кого получаются образцовые арестанты. Я благодарю всех богов за то, что Джек Оппенхеймер, Эд Моррелл и я не были образцовыми арестантами.

Глава VI

Способность забывать — это свойство здорового мозга. Неотвязная память о прошедшем ведет к страданию, сумасшествию. С этой задачей забвения я столкнулся лицом к лицу в одиночке, где беспрестанные воспоминания боролись за власть надо мной. Иногда, забавляясь с мухами, или играя в шахматы сам с собой, или перестукиваясь с товарищами, я находил частичное забвение. Но я желал забвения полного.

Посещали меня и детские воспоминания о других временах и местах… Неужели мальчик безвозвратно утратил их, став мужчиной? Могут ли они быть совершенно уничтожены? Или эти воспоминания о других местах и временах всегда лишь дремлют, замурованные в одиночных камерах мозга подобно тому, как я замурован в камере Сен-Квентина?

Бывает, что осужденные на пожизненное одиночное заключение, получив помилование, возрождались к жизни, снова лицезрели солнце. Так почему же не могут воскреснуть эти воспоминания детства о других мирах?

Но как? По моему мнению — достижением

полного забвения того, что случилось в зрелом возрасте.

Но как этого добиться? Быть может, с помощью гипноза. Если гипнозом усыпить сознательный разум и пробудить подсознательный, тогда задача будет решена, тогда распахнутся широко двери умственной тюрьмы и узники выйдут на солнечный свет.

Так я рассуждал — и вы увидите, с каким результатом. Но сначала я должен рассказать о моих детских воспоминаниях о другом мире. Я погружался в облака славы, озарявшей меня в былые времена. Как и другие дети, я жил среди призраков каких-то других существ, являвшихся ко мне из иных времен. Это происходило в те дни, когда я становился самим собой, до того, как множество изменчивых характеров затвердели в форме определенной личности, которая стала известна людям на немногие годы как Даррел Стэндинг.

Позвольте мне рассказать один случай. Это произошло в Миннесоте на старой ферме. Мне было около шести лет. Один миссионер, вернувшийся из Китая в Соединенные Штаты и посланный миссионерским советом собирать пожертвования среди фермеров, остановился на

ночь в нашем доме. Это случилось в кухне как раз после ужина, когда моя мать помогала мне раздеться перед сном, а миссионер показывал нам фотографии Святой земли.

То, что я вам сейчас расскажу, я давно бы забыл, если бы не слышал, как мой отец неоднократно пересказывал этот эпизод удивленным слушателям.

При виде одного из снимков я вскрикнул, стал рассматривать его сперва жадно, а затем разочарованно. Он сначала показался мне чем-то очень знакомым, словно это была фотография отцовского сарая, но затем он стал странным и чуждым. Однако я продолжал рассматривать снимок, и ощущение близкого знакомства снова вернулось ко мне.

— Башня Давида, — сказал миссионер моей матери.

— Нет! — уверенно воскликнул я.

— Ты думаешь, она не так называется? — спросил миссионер.

Я кивнул головой.

— А как же, мальчик?

— Она называется… — начал я и жалобно закончил: — Я забыл. Она выглядит теперь не так, как раньше, — продолжил я после небольшой паузы.

Тут миссионер протянул моей матери другой снимок.

— Вот здесь я был шесть месяцев тому назад, мистрис Стэндинг. — Он указал пальцем. — Вот ворота в Яффу, через которые я входил, справа на заднем плане башня Давида, а здесь, смотрите — Эль Кула, как она называлась…

Но тут я снова перебил его, показывая на развалины в левом углу фотографии.

— Где-нибудь тут, — сказал я. — Тем именем, которое вы только что произнесли, называли ее евреи, но мы называли ее как-то иначе. Мы называли… Я забыл.

— Послушайте-ка малыша, — засмеялся отец. — Можно подумать, что он был тут собственной персоной.

Я кивнул, потому что не сомневался, что бывал здесь, хотя все казалось удивительно изменившимся. Мой отец рассмеялся еще громче, а миссионер подумал, что я над ним потешаюсь. Он протянул мне другой снимок. На нем был изображен мрачный открытый пейзаж, лишенный деревьев и всякой растительности, ложбина с покатыми каменистыми склонами. В центре находилась кучка жалких лачуг с плоскими кровлями.

— Ну, мальчик, что это? — насмешливо спросил миссионер.

Я сразу вспомнил название.

— Самария, — быстро сказал я.

Отец радостно захлопал в ладоши, мать смутилась из-за моего странного поведения, в то время как миссионер казался рассерженным.

— Мальчик прав, — пробурчал он. — Это деревня в Самарии. Я здесь проезжал, вот почему и купил этот снимок. Вероятно, мальчик видел уже раньше такие фотографии.

Отец и мать отрицали это.

— Но на картинке все иначе, — продолжал я, так как все время моя память была занята сравнением фотографии с действительностью. Общий характер пейзажа и очертания отдаленных холмов были те же самые. Несоответствия я отмечал вслух и указывал пальцем.

— Кругом тут были дома и больше деревьев, много деревьев, много травы и много коз. Я как бы вижу их и теперь, и двух мальчиков, пасущих их. А прямо здесь толпа людей следовала за одним человеком. А сзади, — и я указал на место, где поместил мою деревню, — много бродяг. Они в ужасных лохмотьях и больны. Их лица, руки и ноги покрыты язвами.

— Он слышал проповедь в церкви или узнал эту историю где-нибудь в другом месте и сейчас вспомнил притчу об исцелении прокаженных, — сказал миссионер с удовлетворенной улыбкой. — Сколько там было больных бродяг, мальчик?

Когда мне было пять лет, я научился считать до ста; поэтому я осмотрел внимательно толпу и заявил:

— Десять человек. Они все машут руками и кричат.

— Но они ведь не подходят к другим людям, не правда ли? — последовал новый вопрос.

Я покачал головой.

— Да, они стоят здесь и кричат, как будто у них не все благополучно.

— Дальше, — подгонял меня миссионер. — Что потом? Что делает человек во главе другой толпы, теснящейся, как ты сказал, вокруг него?

— Они все остановились, и он что-то говорит больным людям. А мальчики с козами наблюдают. Все наблюдают.

— А дальше?

— Ничего. Больные люди уходят в деревню. Они больше не кричат, и вид у них совсем здоровый. А я сидел верхом на лошади и смотрел.

Тут все три моих слушателя разразились громким смехом.

— И я — взрослый! — закричал я сердито. — И у меня в руках большой меч!

— Десять прокаженных, которых Христос исцелил вблизи Иерихона на пути в Иерусалим, — объяснил миссионер моим родителям. — Мальчик видел, вероятно, репродукции известных картин где-нибудь в волшебном фонаре.

Но ни отец, ни мать никак не могли вспомнить, чтобы я видел когда-нибудь волшебный фонарь.

— Покажите ему еще что-нибудь, — предложил отец.

— Здесь все иначе, — посетовал я, рассматривая фотографию, протянутую мне миссионером. — Только этот холм на месте, и вон те другие холмы. Тут должна проходить большая дорога. А за ней — сады, деревья и дома с толстыми каменными стенами. А здесь, с другой стороны, в расщелинах утесов погребали покойников. Вот тут, видите? Они забрасывали людей камнями, пока не забивали их до смерти. Я никогда этого сам не видел, но мне об этом рассказывали.

— А гора? — спросил миссионер, указывая на центральное место снимка, ради которого, видимо, была сделана фотография. — Как она

называется?

Я покачал головой.

— Названий я не помню. Здесь тоже убивали людей. Это я видел не один раз.

— В этом он сходится с большинством авторитетов, — заявил миссионер с величайшим удовлетворением. — Это — Голгофа, «Холм черепов», названный так, потому что по форме он напоминает череп. Заметьте это сходство. Здесь распяли… — Он остановился и повернулся ко мне. — Кого здесь распяли, молодой ученый? Расскажи нам, видел ли ты это?

О, я видел, — отец рассказывал, что глаза мои были широко раскрыты; но я упрямо покачал головой и сказал:

— Я вам не стану рассказывать, потому что вы смеетесь надо мной. Я видел, как там убили много людей. Их прибивали гвоздями, и это длилось долго. Я видел, но не стану рассказывать. Я никогда не вру. Спросите маму, вру ли я когда-нибудь. Папа не оставил бы на мне живого места, если б я солгал. Спросите его.

И после этого миссионер больше не мог добиться от меня ни единого слова, хотя и соблазнял меня разными снимками, которые заставляли кружиться мою голову от наплыва всплывающих

в памяти картин; слова рвались на язык, но я упорно сопротивлялся и в конце концов одержал победу.

— Он, конечно, станет хорошим знатоком Библии, — сказал миссионер отцу и матери, когда я пожелал им покойной ночи и отправился спать. — Или же, обладая таким воображением, он сделается известным романистом.

Слова эти показывают, как ошибочны бывают предсказания. Я сижу здесь, в отделении для убийц, пишу эти строки в свои последние дни, или лучше сказать, в последние дни Даррела Стэндинга, перед тем как его выволокут из тюрьмы и попытаются отправить на тот свет при помощи веревки, и улыбаюсь себе самому. Я не стал ни знатоком Библии, ни романистом. Наоборот, до того как меня замуровали в камеру молчания на целых пять лет, я был кем угодно, только не тем, что предсказывал миссионер, — знатоком земледелия, профессором агрономии, специалистом по увеличению производительности труда, экспертом интенсивного сельского хозяйства, ученым, работавшим в лаборатории.

И я сижу здесь в теплый полдень, в отделении для убийц, и прекращаю писать свои заметки, чтобы, прислушиваясь к нежному жужжанию

мух в дремлющем воздухе, уловить фразы из тихого разговора между Джозефом Джексоном, негром-убийцей в камере справа, и Бамбеччо, итальянцем-убийцей в камере слева. Сквозь две свои решетчатые двери и мою решетчатую дверь они обсуждают антисептические и целительные свойства жеваного табака для ран.

Я держу в опущенной руке свою авторучку, а вспоминаю другие мои руки, которые на протяжении долгих веков держали кисточку для туши, гусиное перо и стилет, и думаю о миссионере. Мне хочется узнать, гнался ли он в детстве за облаками славы и мелькал ли перед ним блеск скитаний средь звезд.

Ладно, вернемся к одиночке. Уже после того как я начал перестукиваться, я все же находил, что время в сознательном состоянии тянется слишком долго. Научившись применять самогипноз, я получил способность усыплять мой сознательный разум и пробуждать и освобождать подсознательный. Но этот последний был недисциплинирован и необуздан. Он блуждал сквозь кошмары безумия, в которых не было ни связи, ни последовательности места действия, событий или лиц.

Мой метод механического самогипноза был

прост по существу. Сидя со скрещенными ногами на своем тюфяке, я пристально смотрел на обломок желтой соломинки, прикрепленный мною к стене камеры возле двери, где было больше всего света. Я фокусировал глаза на этой яркой точке и раскачивался из стороны в сторону до тех пор, пока не переставал видеть что-либо, кроме нее. В то же время я ослаблял свою волю и отдавался головокружению, охватывавшему меня в такие минуты. Когда же я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие, то закрывал глаза и позволял себе упасть навзничь на тюфяк — уже без сознания.

И затем в течение получаса, десяти минут, а то и целого часа я странствовал по накопленным воспоминаниям о моих вечных возвращениях на землю. Но времена и места менялись слишком быстро. Я знал потом, когда пробуждался, что я, Даррел Стэндинг, являюсь личностью, связующей этот пестрый и нелепый калейдоскоп. Но и только. Я никогда не мог пережить полностью хотя бы одно существование, одну точку сознания во времени и пространстве. Мои сны, если это можно назвать снами, были лишены системы и логики.

Вот один пример моих блужданий: в короткий

промежуток пятнадцатиминутного подсознательного существования я пресмыкался и ревел в иле первоначального мира и сидел рядом с Хаасом в аэроплане, рассекая небо двадцатого столетия. Проснувшись, я вспоминал, что я, Даррел Стэндинг, за год до заключения в Сен-Квентин действительно летал с Хаасом над Тихим океаном у Санта-Моники. Но когда я ползал и ревел в первобытном иле — этого я вспомнить не мог. Тем не менее, пробудившись, я пришел к выводу, что мне удалось каким-то образом вспомнить прежние приключения в иле, которые были реальностью не для Даррела Стэндинга, а кого-то иного, возможно животного, ползавшего и ревевшего. Просто один опыт был только более отдаленным во времени, чем другой. Но оба были совершенно реальны — иначе как бы я помнил их?

На короткое время освободив подсознание, я успевал побывать в королевских палатах, занять в них самое почетное и самое худшее место, стать шутом, воином, писцом и монахом; стать правителем, восседающим во главе стола — воплощением светской власти, свидетельством которой являлись меч в руке, толщина стен моего замка, число сражающихся за меня людей.

Духовная власть тоже принадлежала мне — о ней говорили покрытые клобуками священнослужители и жирные аббаты, окружавшие меня, которые с наслаждением пили мое вино и уплетали мое мясо.

Я носил железное кольцо раба на шее, и я любил горделивых принцесс тропической, жаркой, напоенной солнцем ночью: черные рабы освежали знойный воздух опахалами из павлиньих перьев, а из-за пальм и фонтанов доносился рев львов и крики шакалов. Я таился в холодных пустынных местах, грея руки над костром из верблюжьего помета; я лежал в скудной тени на опаленной солнцем полыни возле иссякшего водоема и хриплым шепотом просил воды, а вокруг меня валялись на песке кости животных и людей, которые тоже когда-то просили воды, а потом умерли.

Я был пиратом и наемным убийцей, ученым и затворником. Я внимательно изучал рукописные страницы больших ветхих томов в полутьме библиотек расположенных высоко на утесах монастырей, в то время как внизу, на пологих откосах, безропотные крестьяне трудились с утра до позднего вечера среди виноградников и оливковых деревьев и гнали с пастбищ блеющих коз

и мычащих коров; и я повелевал беснующейся чернью на разбитых колесницами мостовых древних забытых городов, и торжественным, важным, как смерть, голосом я возвещал закон, указывал на серьезность преступления и приговаривал к смертной казни людей, которые, подобно Даррелу Стэндингу в Фолсемской тюрьме, нарушили этот закон.

В воздухе, с головокружительной высоты верхушек мачт, качаясь над палубой корабля, я пристально смотрел на блестящую от солнца воду, где коралловые гроты просвечивали сквозь толщу бирюзовых вод, где корабли находили приют в зеркальных лагунах и якоря тихо звенели, опускаясь в волны подле кораллового острова, окаймленного пальмами, и я сражался на забытых ныне полях битв в давно прошедшие дни, когда солнце заходило над сечей, которая продолжалась и после заката при свете звезд, и при холодном ночном ветре, дувшем с отдаленных снежных вершин и охлаждавшем разгоряченных бойцов; а затем я был маленьким Даррелом Стэндингом, который промозглым утром задавал корм скотине в пахнущих навозом отцовских хлевах и, полный страха и благоговения перед величием и ужасом Бога, в воскресенье сидел и

слушал напыщенные слова проповеди о Новом Иерусалиме и мучениях в адском огне.

Вот такие проблески, слабые лучи прошлого проникали в одиночную камеру № 1 в Сен-Квентине, когда я доводил себя до бессознательного состояния с помощью яркого обломка соломинки. Откуда являлись они ко мне? Конечно, я не мог создать их из ничего в своей глухой темнице, как не мог создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, которых с такой жестокостью добивались от меня капитан Джеми, начальник тюрьмы Азертон и тюремный совет.

Я — Даррел Стэндинг, рожденный и выросший на ферме в Миннесоте, некогда профессор агрономии, затем неисправимый арестант в Сен-Квентине, а теперь приговоренный к смерти в Фолсеме. В жизни Даррела Стэндинга не было того, что я сейчас описал, того, что тем не менее хранилось на складе моего подсознания. Я, Даррел Стэндинг, рожденный в Миннесоте, обреченный на смерть в Калифорнии, конечно, никогда не влюблялся в принцесс и не дрался на кортиках на качающейся палубе корабля; я никогда не тонул в винном погребе, пьяный, под хмельные крики и предсмертное пение матросов, в то время как корабль взмывал вверх и рушился

на черные зубчатые скалы, и вода хлестала сверху, снизу и отовсюду.

Подобных вещей не случалось с Даррелом Стэндингом на этом свете. И однако я, Даррел Стэндинг, открыл их в себе в одиночке Сен-Квентинской тюрьмы с помощью механического самогипноза. Эти переживания не принадлежали Даррелу Стэндингу, так же, как слово «Самария», соскочившее с детских губ при виде фотографии.

Нельзя создать нечто из ничего. Как в одиночке я не мог создать тридцать пять фунтов динамита, так не мог я создать из ничего эти запредельные видения других времен и стран, о которых ничего не знал Даррел Стэндинг. Они таились в моем сознании, и я только начал учиться постигать их.

Глава VII

Вот каково было мое положение: я знал, что во мне таится целая сокровищница воспоминаний о других жизнях, но я был бессилен сделать что-нибудь большее, чем метаться подобно сумасшедшему по этим воспоминаниям. Во мне была сокровищница, но я не мог открыть ее.

Я вспомнил случай с пастором Стейтоном Мозесом, который перевоплощался в святого Ипполита, Плотина и друга Эразма Роттердамского по имени Гроцин. И задумавшись об опытах полковника Дероша, о которых я читал по-дилетантски в иные, деятельные дни, я убеждался, что Стейтон Мозес в предыдущих своих жизнях действительно был этими личностями, которые, видимо, временами вновь овладевали им. Собственно говоря, они были им. Все они были лишь звеньями цепи возвращений.

Об опытах полковника Дероша я думал особенно много. Выбирая легко поддающихся гипнозу субъектов, он утверждал, что возвращал их к временам их предков. Он описал опыт с Жозефиной, восемнадцатилетней девушкой из Вуарона, что в департаменте Изер. Погрузив ее в гипноз,

полковник Дерош отослал ее через события ее отрочества, детства, младенчества и безмолвного мрака материнского чрева дальше, сквозь молчание и тьму того времени, когда она, Жозефина, еще не родилась, к свету и жизни предыдущего существования, когда она была грубым, подозрительным, ожесточенным стариком по имени Жан-Клод Бурдон, который служил в свое время в седьмом артиллерийском полку в Безансоне и умер семидесяти лет от роду. А когда полковник Дерош загипнотизировал в свою очередь эту тень Жан-Клода Бурдона, проследив его жизнь до детства, рождения и мрака нерожденного состояния, он снова увидел свет и жизнь, но теперь в облике старухи — Филомены Кортерон.

Но что бы я ни предпринимал с кусочком соломы, поблескивающим в лучах света, просачивающихся в одиночку, мне не удавалось добиться подобной полной картины предшествующей жизни. В результате этой неудачи я пришел к убеждению, что только после смерти смогу ясно и связно воскресить воспоминания о своих прошлых воплощениях.

Но волны жизни бурно текли во мне. Я, Даррел Стэндинг, так сильно не хотел умирать, что отказывался позволить начальнику тюрьмы Азертону

и капитану Джеми убить себя. Я всегда был так привязан к жизни, что мне иной раз приходило в голову, что именно благодаря этому я все еще здесь, ем и сплю, думаю и вижу сны, пишу этот рассказ о моих различных «я» и ожидаю неизбежной петли, которая завершит один из кратких периодов длинной цепи моих существований.

И тогда-то явилась смерть в жизни.

Этому фокусу научил меня Эд Моррелл, как вы прочтете в дальнейшем. Начало всему положили начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми. Их, должно быть, охватила новая волна паники при мысли о динамите, как они думали, спрятанном мной. Они ввалились в мою темную камеру и сказали мне прямо, что будут держать меня в смирительной рубашке, пока я не умру, если я не открою, где находится динамит. И они уверили меня, что они сделают это официально, без всякого ущерба для своего служебного положения. Моя смерть в тюремном отчете будет приписана естественным причинам.

О, дорогие, прилично одетые граждане, пожалуйста, поверьте мне, что в настоящее время в тюрьмах убивают людей, как их всегда убивали с тех пор, как были выстроены людьми первые тюрьмы.

Я прекрасно знал, какими ужасами, мучениями и опасностями грозит мне смирительная рубашка. Я видел людей, доведенных ею до сумасшествия! Я видел людей, искалеченных на всю жизнь смирительной рубашкой. Я видел крепких парней, таких крепких, что их организм не поддавался даже тюремному туберкулезу, здоровье которых оказывалось, однако, сломлено после продолжительного пребывания в рубашке, так что они погибали от туберкулеза через шесть месяцев. Одноглазый Уилсон умер от этой пытки в первый же час, тогда как тюремный врач, недоверчивый невежа, смотрел на него и улыбался. И я видел, как люди после получасового пребывания в рубашке признавались в том, что было и чего не было, добавляя к своему сроку годы. У меня был собственный опыт. Сейчас на моем теле можно насчитать сотни рубцов, и с ними я взойду на эшафот. Даже если бы я прожил еще сто лет, эти самые рубцы сошли бы со мной в могилу.

Быть может, дорогие граждане, допускающие подобные пытки и оплачивающие труд палачей, быть может, вы не знаете, что это такое. Позвольте же мне описать ее так, чтоб вы поняли метод, с помощью которого я достиг смерти при жизни, стал на недолгий срок властелином времени и

пространства и покинул тюремные стены, чтобы блуждать среди звезд.

Видели ли вы когда-нибудь холщовый брезент или резиновое одеяло с медными колечками, вделанными вдоль краев? Тогда представьте себе кусок крепкого брезента, около четырех с половиной футов длины, с большими и тяжелыми медными колечками вдоль обоих краев. Ширина этого брезента всегда меньше полного обхвата человеческого тела, которое будет обернуто им. К тому же он имеет неправильную форму — шире в плечах, несколько уже в бедрах и заметно уже в талии.

Смирительная рубашка расстилается на полу. Человеку, которого надо наказать или пытать, чтобы вырвать у него признание, приказывают лечь лицом вниз на разостланный брезент. Если он отказывается, его избивают. После этого он ложится добровольно, то есть по воле палачей, то есть по вашей воле, дорогой гражданин, кормящий и оплачивающий этих палачей за то, что они вместо вас делают это дело.

Человек ложится лицом вниз. Края рубашки стягивают как можно ближе друг к другу вдоль середины спины. Затем веревка продевается через колечки, как при шнуровании ботинок, и

человека зашнуровывают в брезент, как ногу в ботинок. Только его затягивают так, как никому и в голову не придет затянуть свою обувь. На тюремном жаргоне это называется «пеленание». В тех случаях, когда надзиратели жестоки и мстительны или если свыше дается соответствующее приказание, они упираются ногами в спину несчастного, чтобы затянуть его еще туже.

Случалось ли вам слишком туго зашнуровать свою обувь и через полчаса испытать мучительную боль в ступне от затрудненного кровообращения? Помните ли вы, что после пяти минут подобных страданий вы просто не могли сделать ни шагу, распускали шнурки и снимали давление? Очень хорошо. Теперь попробуйте представить себе все свое тело так зашнурованным, только еще более стянутым, и вообразите, что давление распространяется не только на ступню или ногу, но и на все ваше тело, сжимая ваше сердце, готовое разорваться, легкие и все остальные жизненно важные органы.

Я вспоминаю, как впервые был подвергнут этому жесткому наказанию в карцере. Это случилось в начале моей «неисправимости», вскоре после того, как я попал в тюрьму. Обычно я ткал свою норму в сто ярдов в среднем на два часа быстрее

остальных. Да и моя джутовая дерюга в среднем была качеством выше требуемого. Однако я был зашнурован в рубашку, согласно тюремному отчету, из-за «пропусков» и «дыр» в ткани, то есть потому, что моя работа была неудовлетворительна. Конечно, это нелепость. На самом деле меня наказали за то, что я, прекрасный специалист в области производительности труда, вздумал указывать глупому главному мастеру на то, чего он не понимал в своем деле.

Тогда мастер в присутствии капитана Джеми позвал меня к столу, где было разложено ужасное тряпье, подобное которому никогда не выходило из-под моего станка. Трижды таким образом призывали меня к столу. Третий раз означал, согласно правилам ткацкой мастерской, наказание, а именно двадцатичетырехчасовое пребывание в смирительной рубашке.

Меня отправили в карцер. Мне было приказано лечь лицом вниз на брезент, разложенный на полу. Я отказался. Один из надзирателей, Морриссон, схватил меня за горло. Мобинс, надзиратель карцерного отделения, сам заключенный, ударил меня несколько раз кулаками. В конце концов я лег, как было приказано. А поскольку, сопротивляясь, я разозлил их, они стянули меня особенно

крепко. Затем они перевернули меня, как полено, на спину.

Сначала это показалось не так страшно. Когда тюремщики заперли мою дверь, грохоча засовами, и оставили меня в полной темноте, было одиннадцать часов утра. В течение нескольких минут я чувствовал только неудобство, которое, как я был уверен, облегчится, когда я привыкну к нему. Но наоборот, вскоре мое сердце стало сильнее биться, а легкие были бессильны втянуть достаточное количество воздуха. Это чувство удушения было ужасным, и казалось, что мои легкие вот-вот лопнут.

После бесконечно долгих часов муки, как я теперь понимаю, на самом деле длившейся не более получаса, я начал кричать, визжать, реветь и выть в настоящем предсмертном безумии. Главное страдание причиняла боль в сердце. Это была острая, резкая боль, как при плеврите, только она разрывала самое сердце.

Умереть не тяжело, но умирать так медленно и страшно, — это может довести до безумия. Подобно дикому зверю в капкане, я приходил в исступление от страха, и визжал, и ревел, пока не убедился, что подобное вокальное упражнение только усиливает боль в сердце и одновременно

лишает меня остатков воздуха, еще находившегося в легких.

Я сдался и лежал спокойно долгое время, как будто бы вечность, хотя я уверен теперь, что прошло не больше четверти часа. Я был в полуобмороке и чувствовал головокружение, а мое сердце стучало так, что, казалось, оно сейчас разорвет стягивавший меня брезент. Снова я потерял власть над собой и стал звать на помощь.

Среди этих мучений я услышал голос из ближайшего карцера.

— Заткнись, — кричал кто-то, хотя я слышал лишь слабый шепот, — заткнись, ты мне надоел.

— Я умираю, — заорал я.

— Заткни глотку и забудь об этом, — был ответ.

— Но я и правда умираю, — настаивал я.

— Так в чем беда? — донесся голос. — Ты прекрасно умрешь и без крика. С Богом помирай, но нечего подымать такой шум. Ты прервал мой сладкий сон.

Меня так рассердило это бесчувственное равнодушие, что я снова овладел собой и разве что не мог заглушить тихих стонов. Это тянулось бесконечно — возможно, десять минут; затем какое-то оцепенение овладело моим телом.

Точно иголки и булавки кололи меня, и пока я чувствовал это, я еще держал себя в руках. Но когда прекращалось ощущение многочисленных уколов и оставалось только оцепенение, мною снова овладевал страх.

— Как бы мне заснуть хоть на минутку, — жаловался мой сосед. — Я не счастливей тебя. Моя рубашка так же стянута, как и твоя. Я хочу заснуть и забыть о ней.

— Как долго ты здесь находишься? — спросил я, думая, что ему еще предстоят столетия мук, которые я претерпеваю.

— Третий день, — ответил он.

— Я спрашивал, сколько времени ты уже в рубашке, — уточнил я.

— Третий день, дружище.

— Боже мой! — воскликнул я.

— Да, дружище, пятьдесят часов в этом положении, и ты не слышал, чтобы я орал. Они топтались ногами по моей спине. Поверь мне, я здорово стянут. Не тебе одному плохо приходится. Да ты здесь и часа еще не провел.

— Я здесь гораздо больше времени, — запротестовал я.

— Дружище, тебе, может, так кажется, но ты не прав. Я могу точно сказать, что ты здесь не

больше часа. Я слышал, как тебя стягивали.

Это было невероятно. Всего лишь за час я умер тысячу раз. А этот сосед, уравновешенный и благородный, со спокойным голосом и почти добрый, несмотря на грубость его первых замечаний, находится в рубашке уже пятьдесят часов!

— Как долго тебе еще осталось? — спросил я.

— Один Бог знает. Капитан Джеми очень недоволен мною, и он меня из нее не выпустит, пока я не начну хрипеть. Теперь, дружище, я тебя научу: единственный способ — закрой глаза и забудь о ней. Визг и рев не помогут в этом деле. Единственный способ забыть — это забыть. Лучше всего вспомни какую-нибудь девушку, которую ты когда-нибудь знавал. Это поможет тебе скоротать время. А если девушки не увлекут тебя, то подумай о ребятах, с которыми ты вместе попался.

Этого человека звали Рыжий из Филадельфии. Он был рецидивистом и получил пятьдесят лет тюремного заключения за разбой на улицах Аламеды. Он уже отсидел около двенадцати лет на тот момент, когда говорил со мной о рубашке, а это было семь лет назад. Он стал одним из сорока пожизненно заключенных, вдвойне обманутых Сесилом Уинвудом. Из-за этой истории Рыжий из Филадельфии лишился своих льгот. Он еще

не стар и до сих пор находится в Сен-Квентине. Если он доживет до дня своего освобождения, то выйдет на волю дряхлым стариком.

Я вытерпел свои сутки, но с тех пор стал другим человеком. Я не говорю — физически, хотя на следующее утро, когда меня расшнуровали, я был наполовину парализован и находился в таком изнеможении, что надзирателям пришлось толкать меня ногой в ребра, чтобы заставить встать на ноги. Я стал другим человеком душевно, морально. Грубое физическое истязание было унижением и оскорблением моей души и чувства справедливости. Такое наказание не может смягчать человека. Со дня своего первого пребывания в рубашке я преисполнился горечью и страстной ненавистью, которые с годами только росли. Боже мой! Вспомнить только, что проделывали со мной эти люди! Двадцать четыре часа в рубашке! Не думал я в то утро, когда они пинками поднимали меня на ноги, что настанет время, когда и двадцать четыре часа в смирительной рубашке будут казаться мне пустяками; когда после ста часов в рубашке они застанут меня улыбающимся; когда после двухсот сорока часов в рубашке они увидят ту же улыбку на моих устах.

Да, двести сорок часов. Дорогие, прилично

одетые граждане! Знаете ли вы, что это значит? Это значит десять дней и десять ночей в смирительной рубашке. Конечно, подобные вещи не происходят повсюду в христианском мире двадцать веков спустя после Рождества Христова. Я не прошу вас поверить мне, я сам не верю этому. Я только знаю, что это проделали со мной в Сен-Квентине и что я жил, смеясь над ними, и вынудил их избавиться от меня, приговорив к повешению за то, что я разбил в кровь нос надзирателю.

Я пишу эти строки в 1913 году после Рождества Христова, и сегодня, в 1913 году после Рождества Христова, люди лежат в карцерах Сен-Квентина, стянутые в смирительных рубашках.

Я никогда не забуду, сколько бы мне ни пришлось жить и сколько бы мне ни позволили жить, мое расставание с Рыжим из Филадельфии в то утро. Он провел семьдесят четыре часа в рубашке.

— Ладно, дружище, ты все еще живой и шевелишься, — крикнул он мне, когда меня тащили из камеры в карцерный коридор.

— Я тебе дам, Рыжий, — пригрозил надзиратель.

— Думаешь? — спросил он спокойно, но затем

его голос зазвучал с дикой яростью. — Ведь ты, старый дурак, ничего не можешь сделать. Тебе нечего было бы есть, если б не ближние, которых надо мучить. И я думаю, мы не ошибаемся, говоря, что плохо пахнет ваша служба.

Удивительным кажется мужество в человеке, способном возвыситься над своими страданиями, не боящемся раздражать грубых людей, от которых он зависит.

— Ладно, прощай пока, дружище, — сказал мне Рыжий. — Будь послушным и люби начальника тюрьмы. И если ты его увидишь, скажи ему, что ты меня видел, но я никого не обидел.

Тюремщик весь покраснел от гнева, и, получив немало толчков и пинков, я заплатил за шутки Рыжего.

Глава VIII

В одиночке, в камере № 1, начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми продолжали меня допрашивать. Начальник тюрьмы Азертон сказал мне:

— Стэндинг, говори, где динамит, или я тебя заморю в рубашке. Выбирай: динамит или крышка.

— Значит, остается крышка, — ответил я, — так как я ничего не знаю о динамите.

Это рассердило начальника тюрьмы и подтолкнуло его к немедленным действиям.

— Ложись, — скомандовал он.

Я повиновался, так как знал, какое это безумие — сопротивляться трем или четырем сильным мужчинам. Они крепко стянули меня на целых сто часов. Только раз в сутки позволялось мне пить воду. Мне не хотелось есть, но пищу мне и не предлагали. К концу срока тюремный врач Джексон осмотрел меня несколько раз.

Но я слишком привык к рубашке за время своей «неисправимости», чтобы она могла повредить мне сама по себе. Конечно, она обессиливала меня, вытягивала из меня жизнь, но я научил-

ся одной уловке — напрягать мышцы, чтобы тем самым несколько ослабить шнуровку. По истечении первых ста часов я был истощен и утомлен, вот и все. Другой срок мне дали через сутки отдыха. На этот раз назначено было 150 часов. Большую часть этого времени я находился в состоянии физического оцепенения и умственно — в бреду. Потом усилием воли я заставил себя спать в течение многих часов.

Затем начальник тюрьмы Азертон разнообразил пытку. Теперь меня то зашнуровывали в рубашку, то освобождали из нее, и я никогда не знал, когда это произойдет. Мог десять часов провести на свободе и двадцать часов в рубашке; или мне давали только четыре часа отдыха. В самый неожиданный момент, ночью, моя дверь с грохотом отворялась, и сменившиеся часовые шнуровали меня. Иногда устанавливался некоторый порядок: так, в продолжение трех суток я попеременно находился восемь часов в рубашке и восемь на свободе. И когда я начал привыкать к этому порядку, его внезапно изменили и я получил двое суток стягивания.

И каждый раз мне задавали один и тот же вопрос: «Где динамит?» Иногда начальник тюрьмы Азертон страшно злился на меня. Однажды,

после особенно строгого шнурования, он стал требовать у меня признания. Он даже пообещал мне три месяца абсолютного покоя в госпитале и хорошую пищу, а затем работу в библиотеке.

Доктор Джексон, слабое, зависимое создание с поверхностными медицинскими знаниями, впал в скептицизм. Он настаивал, что шнурование, как бы долго оно ни продолжалось, не может убить меня. Это лишь послужило поводом для Азертона удвоить свои усилия.

— Эти сухощавые книгоеды надуют самого дьявола, — ворчал он. — Они упорнее неученых. И все-таки мы его прикончим. Стэндинг, ты слышишь меня? Пока что были цветочки, подожди ягодок. Лучше тебе сознаться и избежать мучений. Я держу свое слово. Слышишь меня: динамит или крышка. Дело обстоит так. Выбирай.

— Неужели вы думаете, что я держусь потому, что это доставляет мне удовольствие? — открыл было я рот, но в эту минуту Джонс Горошина толкнул меня в спину ногой, чтоб стянуть меня туже, потому что я пытался с помощью напряжения мускулов тайком ослабить стягивание. — Мне не в чем признаваться. Я отдал бы правую руку, чтобы иметь возможность показать вам, где динамит.

— О, я насквозь вижу вашу образованную по-

роду, — засмеялся он. — Вы стоите на своем, вы упорствуете. Вы брыкаетесь, как лошади. Туже, Джонс — ты и наполовину не стянул. Стэндинг, если не признаешься, будет тебе крышка, вот на чем я стою.

Я научился одному трюку. Чем человек становится слабее, тем менее чувствителен он к страданиям. Боли меньше, потому что нечему болеть. Человек, уже ослабевший, слабеет медленнее. Всем известно, что сильные люди, непривычные к болезням, страдают от них гораздо больше, чем женщины или инвалиды. Когда иссякли последние запасы сил, тогда их тратится меньше. После того как сойдет излишняя плоть, остается натянутая, сопротивляющаяся ткань. Действительно, я стал таким, — приобретя тренированный организм, цепляющийся за жизнь.

Моррелл и Оппенхеймер жалели меня, выражали мне свою симпатию и давали советы. Оппенхеймер говорил мне, что он прошел и через худшее и все же до сих пор жив.

— Не сдавайся, — стучал он мне. — Не дай им убить себя, ибо это развяжет им руки. И не надо сознаваться.

— Да не в чем сознаваться, — простучал я ответ носком сапога о решетку. Я был в рубашке в

это время и поэтому мог разговаривать только ногами. — Я ничего не знаю об этом проклятом динамите.

— Правильно, — похвалил Оппенхеймер. — Он молодчина, не правда ли, Эд?

Слова эти показывают, какие шансы я имел на то, чтобы убедить начальника тюрьмы Азертона в том, что я ничего не знаю о динамите. Его упорные допросы убедили даже такого человека, как Джек Оппенхеймер, и он теперь только восхищался твердостью, с которой я держал язык за зубами.

Первое время этой пытки я ухитрился много спать. У меня были замечательные сны. Конечно, они были живыми и реальными, как большинство снов. Что делало их замечательными, так это их связность и последовательность. Часто я обращался с речью к людям науки, читая им вслух по заботливо заготовленным конспектам из моих собственных изданий, или из моих результатов исследований, или опытов других. Когда я просыпался, мой голос, казалось, еще звенел в моих ушах, а мои глаза еще видели напечатанные на белой бумаге целые фразы и параграфы, которые я перечитывал и удивлялся им, когда видение исчезало. Между прочим, хочу обратить внима-

ние на тот факт, что метод мышления, которым я пользовался в этих лекциях, во сне, был всегда дедуктивным.

Я видел также большую ферму, раскинувшуюся с севера на юг на сотни миль где-то в умеренном поясе с климатом, флорой и фауной, весьма похожими на калифорнийские. Не раз и не два, а тысячи раз я проезжал во сне по этим местам. Я хочу обратить внимание на то, что всегда это была одна и та же местность. Ни одна существенная подробность ее не менялась в различных снах. Так, например, мне всегда требовалось восемь часов, чтобы через засеянные люцерной луга (где я держал джерсейских коров) на горных лошадях добраться до деревни, раскинувшейся возле большой, пересыхающей реки, где была станция узкоколейной железной дороги. Каждая межа во время этой восьмичасовой поездки, каждое дерево, каждая гора, каждый брод и мост, каждая горная вершина и склоны холма были всегда те же самые.

В этой правильно и рационально возделанной местности моих «рубашечных» снов мельчайшие подробности менялись в соответствии со временем года и трудом человека. Так, на горных пастбищах за лугами люцерны я устраивал но-

вую ферму, разводя на ней ангорских коз. Здесь я замечал изменения с каждым посещением во сне, и эти изменения соответствовали промежутку времени между моими посещениями.

О, эти покрытые кустарником склоны! Как сейчас я вижу тот день, когда козы были выпущены туда в первый раз. И я помню последовательные перемены — начали образовываться проходы, которые козы буквально проедали в частом кустарнике; исчезли молодые, маленькие кусты; прогалины образовались то там, то здесь, где кусты ощипали козы. Да, в последовательности подобных сновидений была своя прелесть. Настал день, когда люди с топорами срубили все большие ветви и дали козам возможность глодать кору и почки. А однажды зимой высохшие голые скелеты всех этих кустов были собраны в кучу и сожжены. Затем я отправил своих коз на другие заросшие кустарником склоны, а на их место привел рогатый скот.

Да, в моих снах часто я выходил из поезда узкоколейной дороги, который останавливался у селения, садился в телегу и ехал часами мимо всех давно знакомых мест, лугов, засеянных люцерной, и по моим горным пастбищам, где ячмень, хлеб и клевер были готовы к уборке и

где я ждал нанятых для этого людей, в то время как, карабкаясь все выше, мои козы ощипывали заросшие кустарником склоны, превращая их в обрабатываемые поля.

Но это были только сны, вольные сны, воображаемые приключения моего подсознательного разума. Совершенно непохожими на них, как вы увидите, были мои другие приключения, когда я переходил за пределы смерти и воскрешал реальность других жизней, которые были моими когда-то, в давние времена.

В долгие часы бодрствования в смирительной рубашке я находил, что слишком много думаю о Сесиле Уинвуде, поэте-провокаторе, который без причины навлек на меня все эти мучения и сейчас уже был на свободе, на вольном свете. Нет, я не ненавидел его. Слово это слишком слабо. Нет в речи достаточно сильных слов, чтоб описать мои чувства. Я могу только сказать, что меня грызло желание отомстить ему, и это само по себе было мукой и превосходило все возможности речи. Я не стану рассказывать вам ни о часах, посвященных планам мести, ни о дьявольских способах истязаний, которые я придумывал для него. Только один пример. Мне очень нравилась старинная пытка: крысу помещают на тело че-

ловека и накрывают железным тазом так, что выйти она может, только проделав в человеке дыру. Как я говорил, мне это очень нравилось до тех пор, пока я не понял, что такая смерть наступает быстро, после чего я долго и с удовольствием мечтал о мавританском способе… Но я ведь обещал не рассказывать больше об этом. Достаточно сказать, что многие из моих часов бодрствования, когда от боли я доходил до исступления, были посвящены мечтам о мести Сесилу Уинвуду.

Глава IX

Одной очень важной вещи я научился в долгие часы бодрствования и страдания — а именно искусству подчинять тело рассудку. Я научился страдать пассивно, как несомненно научились все люди, прошедшие через высший курс смирительной рубашки. О, нелегкая штука — сохранить разум в столь полном спокойствии, что он забывает о невероятных страданиях тела!

И я обрел умение господствовать над плотью, давшее мне возможность так легко воспользоваться секретом, который Эд Моррелл сообщил мне.

— Думаешь, дело идет к концу? — простучал мне однажды ночью Эд Моррелл.

Меня как раз освободили из рубашки после ста часов, и я был слабее, чем когда-либо. Я был так слаб, что хотя мое тело представляло из себя сплошь синяки и рубцы, я тем не менее не ощущал его.

— Это похоже на конец, — простучал я в ответ. — Они скоро избавятся от меня, если будут продолжать в том же духе.

— Не допускай этого, — посоветовал он. — Есть

способ. Я его сам изучил, там, в карцерах, когда нам с Мэсси дали на полную катушку. Я выжил, но Мэсси отдал концы. Если б я не научился этой штуке, я бы тоже сдох вместе с ним. Ты должен быть, во-первых, достаточно слаб, чтобы попробовать это. Если у тебя еще остались силы, ничего не выйдет, и больше никогда не выйдет. Я сделал ошибку — рассказал об этом Джеку, когда он был еще силен. Конечно, он не справился, а потом, когда это ему понадобилось, было слишком поздно. Он даже теперь не верит в это. Он думает, я подшутил над ним. Не правда ли, Джек?

И из третьей камеры Джек простучал в ответ:

— Не верь этому, Даррел. Это все сказки.

— Продолжай и расскажи мне, — простучал я Морреллу.

— Я ждал, когда ты будешь достаточно слаб, — начал он. — Теперь тебе это нужно, и я расскажу. Как раз тебе подойдет. Если появится желание, то у тебя все получится. Я пробовал трижды, и я знаю.

— Хорошо, в чем же дело? — простучал я нетерпеливо.

— Штука в том, чтобы умереть в рубашке, самому захотеть умереть в рубашке. Я знаю, ты мне не поверишь сразу, но подожди. Ты знаешь, как

немеют в рубашке руки и ноги. Ну, ты не можешь этому помешать, но можешь этим воспользоваться. Не жди, пока твое тело окоченеет. Ляг на спину как можно удобнее и сосредоточь свою волю. Нужно внушать себе одну мысль, верить в нее все время. Если не будешь верить, тогда ничего не выйдет. Нужно думать о том и верить в то, что тело — это одно, а дух — совершенно другое. Ты — это ты, а твое тело не имеет никакого значения. Оно не считается. Ты хозяин. Тебе не нужно никакого тела. И ты сможешь убедиться в этом, пустив в ход свою волю. Ты заставишь свое тело умереть. Начинай с пальцев на ногах, по одному за раз. Заставляй свои пальцы умирать. Ты хочешь, чтобы они умерли. И, если у тебя есть вера и желание, то твои пальцы умрут. Это большой труд — заставить явиться смерть. Если же тебе удалось умертвить первый палец, остальное уже легко, потому что не нужно больше верить. Ты знаешь. Тогда ты направляешь всю свою волю на то, чтобы все остальное тело умерло. Я говорю тебе, Даррел, я это знаю. Я трижды проделывал это. Как только удалось вызвать смерть, все пойдет хорошо. И самое забавное, что ты при этом не перестаешь существовать. Оттого что умерли твои пальцы, ты сам ни капельки не умрешь.

Твои ноги умрут до колен, затем до бедер, а ты останешься тем же самым, каким был всегда. Твое тело целиком выходит из игры, а ты остаешься самим собой, тем же самым, что был в начале.

— Что же случится потом? — спросил я.

— Ладно, когда все твое тело умрет, а ты останешься прежним, надо оставить свое тело как оболочку. После этого ты оставишь и свою камеру. Каменные стены и железные двери могут удержать тело, но дух удержать они не могут. Ты это докажешь. Твой дух будет вне твоего тела. Ты сможешь смотреть на свое тело со стороны. Говорю тебе, я трижды проделывал этот фокус и смотрел на свое лежащее тело со стороны.

— Ха! Ха! Ха! — простучал Джек Оппенхеймер через тринадцать камер.

— Видишь, это несчастье Джека, — продолжал Моррелл. — Он не может поверить. Он однажды попробовал это, но был слишком силен и потерпел неудачу. И теперь он думает, что я обманул его.

— Если ты умер, то ты мертв, а мертвые люди остаются мертвыми, — возразил Оппенхеймер.

— Говорю тебе, что я умирал трижды, — доказывал Моррелл.

— И остался, чтоб рассказывать нам об этом? —

смеялся Оппенхеймер.

— Но не забудь об одной вещи, Даррел, — простучал мне Моррелл. — Это дело опасное. У тебя все время будет такое чувство, что ты свободен. Я не могу точно объяснить, но мне всегда казалось, что если я буду слишком далеко в тот момент, когда они придут и вынут мое тело из рубашки, то я не смогу вернуться в него. Думаю, что тогда мое тело умрет по-настоящему, а я не хочу этого. Я не хочу доставить такое удовольствие капитану Джеми и остальным. Но говорю тебе, Даррел, если тебе удастся эта штука, ты сможешь посмеяться над Азертоном. Если тебе удастся убить свое тело таким путем, то пусть они держат тебя в рубашке хоть целый месяц. Ни ты, ни твое тело не будет страдать. Знаешь, бывали случаи, когда люди спали целый год подряд. То же самое может случиться и с тобой — твое тело останется в рубашке без всякого вреда для себя и будет ожидать твоего возвращения. Попробуй это. Советую тебе.

— А если он не вернется обратно? — спросил Оппенхеймер.

— Ну, тогда ему не повезет, так я думаю, Джек, — ответил Моррелл.

На этом разговор кончился, потому что Джонс Горошина, проснувшись, пригрозил Морреллу и

Оппенхеймеру утром подать на них рапорт, что означало для них рубашку. Мне он не угрожал, зная, что я все равно ее получу.

Я долго лежал в тишине, позабыв о физической боли, потому что обдумывал данный Морреллом совет. Как я уже объяснял, с помощью механического самогипноза я добился того, что проникал через время назад к моим первичным «я». Я знал, что мне это удалось только отчасти, и то, что я испытал, было лишь мерцающим видением без логики и связи.

Но метод Моррелла был так очевидно противоположен моему методу самогипноза, что я увлекся им. При моем методе сознание уходило первым. При его методе сознание оставалось до конца и, когда тело полностью умирало, усиливалось настолько, что покидало тело, тюрьму Сен-Квентин и путешествовало далеко, все же оставаясь сознанием.

Я решил, что это во всяком случае стоит попробовать. И, наперекор свойственному мне скептическому отношению ученого, я поверил. Я не сомневался, что смогу сделать то, что Моррелл сделал трижды. Может быть, эта вера так легко овладела мною из-за моей крайней слабости. Быть может, я не был достаточно силен, чтобы

быть скептиком. Это была гипотеза, выдвинутая Морреллом. Он подтвердил ее эмпирически, а я тоже, как вы увидите, доказал это на опыте.

Глава X

Важнее всего было то, что на следующее утро в мою камеру вошел начальник тюрьмы Азертон с твердым намерением убить меня. С ним были капитан Джеми, доктор Джексон, Джонс Горошина и Эл Хэтчинс. Последний был приговорен к сорокалетнему заключению и надеялся получить помилование. В течение четырех лет он был главным старостой в Сен-Квентине. Какую большую власть давало это положение, вы поймете, если я вам скажу, что оно приносило в год взятками три тысячи долларов. Вот почему можно было положиться на то, что Эл Хэтчинс, накопивший десять или двенадцать тысяч долларов и ожидающий помилования, слепо выполнит любое приказание начальника тюрьмы.

Я сказал, что Азертон вошел в мою камеру с намерением меня убить. Его лицо говорило об этом, его действия доказали это.

— Осмотрите его, — приказал он доктору Джексону.

Это несчастное подобие человека сорвало с меня задубевшую от грязи рубашку, которую я не снимал с момента вступления в одиночку, и обна-

жил мое бедное истощенное тело, кожа которого на ребрах походила на темный пергамент и была покрыта ранами от многократного пребывания в смирительной рубашке.

Осмотр был бессовестно поверхностным.

— Выдержит ли он? — спросил начальник тюрьмы.

— Да, — ответил доктор Джексон.

— Каково сердце?

— Великолепно.

— Вы думаете, он вынесет десять дней в рубашке, доктор?

— Конечно.

— Не думаю, — заявил свирепо начальник тюрьмы. — Но мы все же попробуем. Ложись, Стэндинг.

Я повиновался и сам растянулся лицом вниз на разостланной рубашке. Азертон, казалось, какое-то время боролся сам с собой.

— Повернись, — скомандовал он.

Я попытался, но был слишком слаб, чтоб повиноваться, и мог только беспомощно барахтаться.

— Притворяется, — заметил Джексон.

— Ладно, он это дело бросит, когда я с ним покончу, — сказал начальник тюрьмы. — Помогите ему, мне некогда с ним возиться.

Тогда они перевернули меня на спину, и я уставился Азертону прямо в лицо.

— Стэндинг, — сказал он медленно, — я тебе предоставил все возможности спастись. Мне наскучило твое упорство, оно утомило меня. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты в состоянии вынести десять дней в смирительной рубашке. Можешь представить себе, что тебя ждет. Но я намерен дать тебе последний шанс. Скажи, где динамит. Сейчас от меня зависит, выйдешь ты отсюда или нет. Ты сможешь вымыться, постричься и переодеться в чистое. Я позволю тебе в течение шести месяцев поправляться на больничных харчах, а затем назначу заведующим библиотекой. Сам видишь, лучшего и предложить нельзя. К тому же ты ни на кого не донесешь, признавшись. Ты единственный человек в Сен-Квентине, который знает, где находится динамит. Ты никому не повредишь своим признанием, и все будет хорошо. А если нет…

Он остановился и многозначительно пожал плечами.

— Ну а если ты не признаешься, то пробудешь десять дней в рубашке.

Перспектива была ужасна. Начальник тюрьмы явно рассчитывал, что я так слаб, что умру в

рубашке. Тогда я вспомнил об уловке Моррелла. Теперь или никогда я мог воспользоваться ею; теперь или никогда надлежало поверить в нее. Я улыбнулся прямо в лицо Азертону. Я вложил свою веру в эту улыбку и в то предложение, которое я ему сделал.

— Начальник, — сказал я, — вы видите, как я улыбаюсь? А если по прошествии этих десяти дней, когда вы развяжете меня, я вам снова улыбнусь, дадите ли вы по пачке табаку и по книжке папиросной бумаги Морреллу и Оппенхеймеру?

— Эти интеллигенты все помешанные, — громко рассмеялся капитан Джеми.

Начальник тюрьмы Азертон был вспыльчивым человеком и счел мое предложение оскорбительным.

— За это тебя стянут особенно крепко, — заявил он мне.

— Я предложил вам пари, начальник, — сказал я спокойно. — Вы можете стягивать меня сколько угодно, но если я через десять дней улыбнусь вам, дадите ли вы табаку Морреллу и Оппенхеймеру?

— Ты чересчур самоуверен, — отозвался он.

— Потому-то я и делаю такое предложение, — ответил я.

— Стал религиозным? — засмеялся он.

— Нет, — был мой ответ. — Дело попросту в том, что во мне много жизни и вам не добраться до конца ее. Стяните меня на сто дней, если хотите, и я буду улыбаться вам по прошествии их.

— Я думаю, что десять дней будет более чем достаточно для тебя, Стэндинг.

— Таково ваше мнение, — сказал я. — А сами вы в это верите? Если да, то не бойтесь побиться об заклад на две пятицентовые пачки табака. Чего вам опасаться?

— За два цента я просто разобью тебе рожу, — проворчал он.

— Я вам не помешаю, — я был бесстыдно кроток. — Ударьте как угодно, улыбка все равно останется на моем лице. Мне кажется, вы колеблетесь… не лучше ли вам сразу принять мое странное предложение?

Надо было совсем ослабеть и испытывать полное отчаяние, чтобы при таких обстоятельствах дерзко разговаривать с начальником тюрьмы в одиночке. Я был слаб и находился в отчаянии, и вдобавок сильно верил. Я знал только, что верю, и поступал согласно своей вере. Я поверил тому, что Моррелл рассказал мне. Я поверил в господство духа над телом. Я поверил, что даже сто дней в рубашке не убьют меня.

Капитан Джеми, очевидно, почуял веру, одушевлявшую меня, потому что он сказал:

— Я помню шведа, сошедшего с ума лет двадцать тому назад. Это было еще до вас, мистер Азертон. Он убил человека из-за двадцати пяти центов и получил за это пожизненное заключение. Он был повар и сошел с ума на почве религии. Он сказал однажды, что золотая колесница вот-вот явится, чтобы вознести его на небо, а потом сел на раскаленную решетку плиты и пел гимны и псалмы, пока жарился. Его стащили оттуда, но он умер два дня спустя в госпитале. Он обгорел до костей. И до конца он уверял, что совсем не чувствовал ожогов. Ни одного стона от него нельзя было услышать.

— Мы заставим Стэндинга застонать, — сказал начальник тюрьмы.

— Если вы так в этом уверены, почему вы не принимаете моего предложения? — вызывающе спросил я.

Азертон так рассвирепел, что я рассмеялся бы, если б не был в таком отчаянном положении. По его лицу пробежали судороги. Он сжал кулаки и одну минуту казалось, что он сейчас бросится на меня и убьет голыми руками. Потом, сделав над собой усилие, он взял себя в руки.

— Хорошо, Стэндинг, — проворчал он. — Я согласен. Но ты бьешься об заклад на свою жизнь, что будешь улыбаться через десять дней. Поворачивайте его, ребята, и стягивайте, пока не затрещат кости. Хэтчинс, покажите-ка ему, что вы знаете, как это делается.

И они перевернули меня и стянули так, как еще никогда не стягивали. Староста, наверное, хотел продемонстрировать свои умения. Я пытался отвоевать хоть чуточку пространства. На многое рассчитывать было нельзя, потому что я исхудал до того, что мои мускулы превратились в тонкие веревки. У меня не оставалось ни силы, ни мышц, чтобы их напрячь, и того малого, что я урывал, клянусь, мне удавалось добиться, вытягивая суставы. И это немногое было отнято у меня Хэтчинсом, который давно, еще до того, как сделался старостой, изучил все хитрости с рубашкой на своей шкуре.

Понимаете, Хэтчинс был животное. Возможно, когда-то он был человеком, но его раздавили колеса судьбы. Он имел десять или двенадцать тысяч долларов, и его вскоре ждала свобода, если, конечно, он будет подчиняться приказаниям. Позднее я узнал, что одна девушка хранила ему верность. Страсть к женщине объясняет многие

поступки мужчин.

То, что делал Эл Хэтчинс в это утро в одиночке по приказанию начальника тюрьмы, было настоящим предумышленным убийством. Он отобрал у меня то маленькое пространство, которое мне удалось отвоевать. И, ограбив меня таким образом и оставив меня беззащитным, он давил ногой мне на спину, затягивая меня, и сдавил меня так, как никому никогда еще не удавалось. Мои лишенные мышц кости так стиснули мои внутренние органы, что я немедленно почувствовал, как смерть витает надо мной. Но все же во мне жила вера в чудо. Я не верил, что я умру. Я знал, я говорю — я *знал*, что я не умру. Голова у меня кружилась, и сердце стучало, как молот.

— Недурно затянуто, — процедил капитан Джеми.

— Черта с два! — сказал доктор Джексон. — Говорю вам, ничто его не убьет. Он железный. Другой давно бы умер.

Азертону с трудом удалось всунуть свой указательный палец между шнуровкой и моей спиной. Наступив на меня, прижав к полу всей тяжестью своего тела, он тянул за веревку, но не сдвинул ее ни на дюйм.

— Молодец, Хэтчинс, — сказал он. — Ты свое

дело знаешь. Переверните-ка его теперь и дайте взглянуть на него.

Они перевернули меня на спину. Я посмотрел на них выпученными глазами. Одно я знал: если бы они меня затянули таким образом, когда я впервые побывал в рубашке, я, конечно, умер бы в первые же десять минут. Но я прошел хорошую школу. У меня за спиной остались тысячи часов смирительной рубашки, и вдобавок я верил в то, что Моррелл рассказывал мне.

— Теперь смейся, черт тебя возьми, смейся, — сказал начальник тюрьмы. — Попробуй улыбнуться, как ты похвалялся.

Хотя я задыхался и сердце мое бешено колотилось в груди, а голова кружилась, тем не менее я смог улыбнуться в лицо Азертону.

Глава XI

Дверь захлопнулась, в камере воцарился сумрак, и я остался один, лежащий на спине. С помощью уловок, которым меня давно уже научила рубашка, мне удалось, извиваясь и дергаясь, подвинуться по полу так, чтобы коснуться двери носком правого сапога. Это была огромная радость: я уже не был совсем одинок. При желании я мог теперь, по крайней мере, перестукиваться с Морреллом.

Но, должно быть, Азертон дал строгие указания надзирателям, потому что, хотя я и пытался позвать Моррелла и сказать ему, что я намереваюсь попробовать его способ, надзиратели не дали ему ответить. Меня они могли только проклинать, ведь мне предстояло десять дней провести в смирительной рубашке, и на меня не могли подействовать никакие угрозы.

Я помню, что в то время мой разум был замечательно ясен. Тело чувствовало обычную боль от рубашки, но разум был так спокоен, что я ощущал боль не больше, чем пол, на котором я лежал, или стены, которые меня окружали. Нельзя себе представить лучшего душевного и умственного

состояния для подобного опыта. Конечно, главным образом я был обязан этим своей крайней слабости и еще вот чему: я давно уже научился не обращать внимания на боль. Я не сомневался и не боялся. Все мое сознание, казалось, было пропитано верой в господство духа над телом. Это пассивное состояние было похоже на сон и, однако, по-своему напоминало экстаз.

Я собрал всю свою волю. Мое тело оцепенело, я чувствовал покалывание из-за нарушенного кровообращения. Я направил свою волю на мизинец правой ноги, желая, чтоб он перестал жить в моем сознании. Я хотел, чтобы этот палец умер — умер для меня, его господина, совершенно от него отличного. Это стоило тяжелой борьбы. Моррелл предупреждал меня, что так и будет. Но даже тень сомнения не омрачала моей веры. Я знал, что этот палец умрет, я знал, когда он умрет. Сустав за суставом они умирали по принуждению моей воли.

Остальное было легко, хотя и медленно, не отрицаю. Сустав за суставом, палец за пальцем на обеих моих ногах перестали существовать.

Дело подвигалось вперед. Настало время, когда тело до лодыжек исчезло; потом исчезло все тело ниже колен.

Мой экстаз был так глубок, что я даже не радовался своему успеху. Я знал только то, что стараюсь умертвить свое тело. Весь я отдался этой единственной задаче. Я выполнял это дело так же тщательно, как каменщики кладут кирпичи, и в моих глазах эта работа была столь же обычной, какой представляется каменщику его труд.

По истечении часа мое тело было мертво уже до бедер, и я продолжал умерщвлять его, поднимаясь все выше.

Однако когда я добрался до уровня сердца, мое сознание впервые затуманилось. Из страха окончательно потерять его я решил понадежнее удержать добытую уже смерть и перенес свое сосредоточенное желание на пальцы. Мой мозг прояснился снова, и я очень быстро умертвил свои руки до плеч.

Таким образом все мое тело умерло, кроме головы и маленького кусочка плоти на груди. Уже не отзывалось в мозгу эхо от ударов моего сдавленного сердца. Оно билось ровно, но слабо. Радость по этому поводу, если бы только я рискнул радоваться в такую минуту, была бы вызвана прекращением каких бы то ни было ощущений.

В этом пункте мой опыт отличается от опыта Моррелла. Все еще продолжая машинально

напрягать волю, я задремал, впал в состояние, лежащее на границе сна и бодрствования. Мне стало казаться, будто мой мозг чудовищно разрастается внутри черепа, который при этом не расширялся. Порой ярко вспыхивал свет, точно даже я, верховный властитель, на мгновение переставал существовать и в следующую минуту вновь становился самим собою, все еще крепко держась за телесную оболочку, которую я заставлял умирать.

Иллюзия расширения мозга была неприятной. Хотя он и не вышел за стенки черепа, тем не менее мне казалось, что часть его уже находится вне черепа и все еще расширяется. Вместе с тем я переживал одно из самых замечательных ощущений, которые когда-либо испытывал. Время и пространство, являясь сущностью моего сознания, приобрели гигантское протяжение. Так, даже не открывая глаз, чтобы удостовериться в этом, я знал, что стены моей тесной камеры раздвинулись, превратив ее в дворцовый зал. И обдумывая это явление, я знал уже, что они продолжают раздвигаться. Меня позабавила мысль, что, если так пойдет дальше, наружные стены Сен-Квентина с одной стороны погрузятся далеко в Тихий океан, а с другой — коснутся степей Нева-

ды. Вместе с этим пришла другая мысль: что, если материя проницаема? Тогда стены моей камеры смогут пройти через стены тюрьмы, и таким образом моя камера очутится вне тюремных стен, а я сам окажусь на свободе. Конечно, это были причудливые фантазии, и я сознавал это.

Не менее замечательным было растяжение времени. Удары моего сердца раздавались через очень длинные промежутки. И я стал отсчитывать секунды между биениями сердца. Сперва, как я ясно заметил, между двумя ударами проходило около ста секунд, но затем промежутки настолько увеличились, что мне это надоело, и я бросил считать.

И в то время как иллюзия растяжения времени и пространства продолжала упрочиваться, я сам с наслаждением обдумывал новую и глубокую задачу. Моррелл говорил мне, что он освободился от своего тела, убив его или исключив свое тело из сознания, что, конечно, имело тот же самый результат. Теперь мое тело было столь близко к полной смерти, что я совершенно точно знал, что стоит мне сосредоточить волю, и прекратится существование последнего живого кусочка моего туловища. Но вот в чем была проблема, и Моррелл не предупредил меня об этом: должен

ли я был желать, чтобы умерла и моя голова? Если б я это сделал, не умерло ли бы навсегда тело Даррела Стэндинга, независимо от того, что приказывал дух Даррела Стэндинга?

Я попробовал умертвить грудь и медленно бьющееся сердце. Сильное напряжение моей воли было вознаграждено: у меня не было больше ни груди, ни сердца. Я оставался лишь разумом, душой, сознанием — назовите, как хотите, — воплощенным в туманном мозгу, хотя и находившемся пока внутри моего черепа, но распространившемся и продолжавшем распространяться за его стенки.

И затем в мгновение ока я покинул тюрьму. Одним прыжком я воспарил над тюремной крышей и калифорнийским небом и очутился среди звезд. Я говорю «среди звезд». Я блуждал среди звезд. Я был ребенком. На мне была мягкая шелковая одежда самых нежных оттенков, переливавшаяся в холодном свете звезд. Это одеяние соответствовало, конечно, моим детским воспоминаниям об одежде цирковых актеров и моему детскому же представлению о внешности ангелочков.

Я проходил в этом наряде по межзвездному пространству, опьяненный сознанием, что я отправился в далекое путешествие, в результа-

те которого познаю все космические законы и открою последние тайны Вселенной. В руке я держал длинный стеклянный жезл. Во мне была уверенность, что кончиком этого жезла я должен касаться каждой встречной звезды. И я был совершенно уверен, что стоит мне пропустить хоть одну звезду, я буду ввергнут в бездонную пропасть невообразимого вечного возмездия.

Долго я продолжал свои звездные блуждания. Когда я говорю «долго», вы должны понимать, как колоссально раздвинулось время в моем мозгу. В течение веков прорезал я пространство концом моего жезла, безошибочным глазом и рукой касаясь каждой звезды, мимо которой проходил. Все светлее становилась дорога, все ближе придвигались границы бесконечной мудрости. То не было другое мое «я». То не были переживания, когда-то уже испытанные мною. Я все время знал, что это я, Даррел Стэндинг, странствую среди звезд и касаюсь их концом своего стеклянного жезла. Одним словом, я сознавал, что здесь нет ничего реального, что этого не было и не будет. Я сознавал, что это лишь странная оргия воображения, подобная той, которая овладевает людьми во время кошмара, бреда или обыкновенного сна.

И вдруг, когда мне было так хорошо и весело в

моем небесном странствовии, мой жезл пропустил звезду, и в то же мгновение я почувствовал, что повинен в большом преступлении. В ту же минуту сильный, неумолимый и властный удар, подобный железному велению судьбы, поразил меня и пронес через Вселенную. Вся звездная система засверкала, заколебалась и рассыпалась огнем.

Я был ввергнут в мучительную агонию. И сразу же я снова стал Даррелом Стэндингом, пожизненным арестантом, лежащим в своей смирительной рубашке в одиночке. И я понял, почему именно я вернулся: из-за быстрого, короткого стука Эда Моррелла, пожелавшего что-то сообщить мне.

И вот я могу дать некоторое представление о том растяжении времени и пространства, которое я тогда испытывал. Несколько дней спустя я спросил Моррелла, что он пытался сообщить мне. То был простой вопрос: «Ты как, Стэндинг?» Он простучал это быстро, пока надзиратель находился в дальнем конце коридора. Я повторяю, он простучал это очень быстро. И что же! Между первым и вторым стуком я ушел и очутился среди звезд, одетый в прозрачную одежду, касаясь каждой звезды, мимо которой проходил в поисках закона, объясняющего главные тайны

бытия. И, как и прежде, я веками продолжал свои поиски. Затем раздался сигнал, последовал удар судьбы, началась мучительная агония, и я снова оказался в своей камере в Сен-Квентине. То был второй стук Эда Моррелла. Между ним и первым ударом прошло не больше одной пятой секунды. И, однако, так невообразимо велико было для меня растяжение времени, что за эту одну пятую секунды я блуждал среди звезд в течение долгих веков.

Я понимаю, читатель, что все изложенное кажется небылицей. Я согласен с тобой. Это небылицы. Но тем не менее это реальность. Для меня это так же реально, как змеи и пауки для человека, допившегося до белой горячки.

Эду Морреллу могло потребоваться самое большее две минуты для того, чтобы простучать свой вопрос. Все же для меня между первым и последним ударом прошли целые века. Я не мог больше идти по моему звездному пути с неизреченной радостью, ибо во мне жил ужас неизбежного возвращения и того мучения, что ожидало меня, вновь брошенного в ад смирительной рубашки. Таким образом мои века звездных странствий превратились в века страха.

И все это время я сознавал, что именно стук Эда

Моррелла так крепко привязывает меня к земле. Я пытался говорить с ним, попросить его перестать. Но я так основательно отделил свое тело от сознания, что был не в состоянии воскресить его. Мое тело лежало мертвым в рубашке, хотя я еще обитал в черепе. Тщетно пытался я заставить свою ногу простучать ответ Морреллу. Я убеждал себя, что у меня есть нога. Но я так удачно выполнил этот опыт, что у меня не было ноги.

Потом — и я знаю теперь, что это стало возможным потому, что Моррелл закончил свою фразу, — я продолжал свой путь среди звезд, и никто не звал меня обратно. Затем я почувствовал, что засыпаю и вижу восхитительный сон. Время от времени я *шевелился* во сне, — пожалуйста, читатель, обратите внимание на это слово, — я шевелился. Я двигал руками, ногами. Я чувствовал мягкое прикосновение чистого постельного белья. Я чувствовал блаженный покой. О, это было великолепно! Как жаждущие люди в пустыне грезят о журчащих источниках и полных колодцах, так грезил я об избавлении от рубашки, о чистоте вместо грязи, о гладкой бархатистой коже здорового человека вместо моей сморщенной как пергамент шкуры.

Я проснулся. И хотя я полностью проснулся, я

все же не открывал глаза. И, пожалуйста, имейте в виду, что все, происшедшее потом, меня нисколько не удивило. Все это представлялось мне естественным и отнюдь не неожиданным. Я был самим собой, не сомневайтесь в этом. *Но не был Даррелом Стэндингом*. Даррел Стэндинг имел не больше общего со мной, чем морщинистая пергаментная шкура Даррела Стэндинга с моей свежей мягкой кожей. Я и не знал ничего о Даррелe Стэндинге — да и не мог знать, принимая во внимание, что Даррел Стэндинг еще не родился; он родился лишь спустя несколько столетий. Но вы сами все поймете.

Я лежал с закрытыми глазами, лениво прислушиваясь. До меня доносился стук лошадиных копыт, размеренно шагающих по каменным плитам. Звенело металлом оружие на людях и конская упряжь, и я понял, что какая-то кавалькада движется по улице под моими окнами. И я без всякого интереса подумал, кто бы это мог быть. Откуда-то, точнее, я знал откуда — с постоялого двора — доносился стук копыт и нетерпеливое ржание, в котором я узнал ржание моей лошади, ожидающей меня.

Послышались шаги — как будто осторожные, почтительные и вместе с тем намеренно громкие,

с желанием разбудить меня, если я еще сплю. Я внутренне улыбнулся этой шутовской проделке.

— Понс, — приказал я, не открывая глаз, — воды, холодной воды, живо. Я вчера хлебнул лишнего, и теперь мое горло пересохло.

— И спали слишком долго сегодня, — пожурил меня он, подавая мне воду, которую держал уже в руках.

Я сел, открыл глаза и поднес кубок ко рту обеими руками. Утоляя жажду, я смотрел на Понса.

Заметьте две вещи. Я говорил по-французски; я не сознавал, что говорю по-французски. Только потом, вернувшись в одиночку и припоминая то, что я сейчас рассказываю, я вспомнил, что говорил по-французски, и говорил хорошо. Что касается меня, Даррела Стэндинга, в настоящее время пишущего эти строки в отделении для убийц в Фолсемской тюрьме, то я знал только гимназический французский, достаточный лишь для чтения на этом языке. Говорить же я совсем не мог и вряд ли правильно произносил французские слова.

Но возвращусь к рассказу. Понс был маленьким, сухим стариком. Он родился в нашем доме — я знаю это, потому что как раз в тот день, который я описываю, об этом было упомянуто. Ему

исполнилось шестьдесят лет. У него почти не оставалось зубов; несмотря на заметную хромоту, заставлявшую его ходить вприпрыжку, он был очень проворен и ловок. Притом он был бесстыдно фамильярен; это по той причине, что он прожил в моем доме шестьдесят лет. Он был слугой моего отца еще до того, как я начал ходить, а после смерти отца (Понс и я говорили об этом в тот день) он стал моим слугой. Хромым он стал на поле битвы в Италии, во время кавалерийской атаки. Он вытащил моего отца из-под копыт вражеских лошадей, был ранен в бедро, упал на землю и сам попал под копыта. Мой отец, находившийся в сознании, но беспомощный из-за собственных ран, был свидетелем этого. Таким-то образом Понс приобрел право на наглую фамильярность, по крайней мере, с сыном моего отца.

Понс покачал головой, глядя, как жадно я пью воду.

— Ты слышал, как она закипела? — пошутил я, отдавая пустой кубок.

— Совсем как отец, — сказал он безнадежно. — Но ваш отец умел кроме того и нечто другое, что вряд ли умеете вы.

— У него был больной желудок, — поддразнил я Понса, — его мутило от одного глотка спиртного.

Вот он и не пил, потому что ему не было от этого радости.

Пока мы говорили, Понс раскладывал на кровати мой костюм.

— Пейте, господин, — ответил он. — Это вам не повредит. Вы умрете со здоровым желудком.

— Думаешь, у меня желудок луженый? — Я притворился, что не понимаю его.

— Я думаю… — начал он с раздражением, затем остановился, поняв, что я дразню его, и, надув свои иссохшие губы, стал развешивать мой новый соболий плащ на спинке стула.

— Восемьсот дукатов, — посмеивался он. — Тысяча коз и сто жирных быков — вот что такое ваш теплый плащ. Два десятка ферм на прекрасной спине моего господина.

— А в этом сотня прекрасных ферм, с замком или двумя, уже не говоря, пожалуй, о дворце, — сказал я, протягивая руку и дотрагиваясь до рапиры, которую он как раз собирался положить на стул.

— Все это приобрел ваш отец честным путем, — возразил Понс. — Но он умел и удержать приобретенное.

Здесь Понс замолчал, потешаясь над моим новым алым шелковым камзолом, — удивительной

вещью, из-за которой я стал прямо мотом.

— Шестьдесят дукатов за это, — продолжал обвинять меня Понс. — Ваш отец скорее отправил бы всех портных, евреев и христиан, гореть в адском огне, чем заплатил бы такую цену.

И пока мы одевались — то есть пока Понс помогал мне одеваться, — я продолжал смеяться над ним.

— Совершенно ясно, Понс, что ты еще не слышал новостей, — сказал я хитро.

Этот старый сплетник сразу навострил уши.

— Последние новости? — спросил он. — Может быть, об английском дворе?

— Нет, — покачал я головой. — Новостью это будет только для тебя, а всем она давно известна. Ты разве не слышал? Греческие философы говорили об этом около двух тысяч лет назад. Именно эта новость заставила меня носить на плечах двадцать доходных ферм, жить при дворе и сделаться щеголем. Видишь ли, Понс, наш мир — очень пагубное место, жизнь печальна, все люди умирают, а умерши… да, становятся мертвы. Для того чтоб избегнуть зла и печали, нынешние люди, подобно мне, ищут увеселений, безучастности, безумия ласк.

— Но новости, господин? О чем говорили фило-

софы столько лет назад?

— Что Бог умер, Понс, — ответил я торжественно. — Знаешь ли ты это? Бог умер, и я скоро умру, а ношу на плечах двадцать доходных ферм.

— Бог жив, — горячо утверждал Понс. — Бог жив, и царство его близко. Говорю вам, господин, близко. Может быть, даже завтра настанет конец света.

— Так говорили христиане в Древнем Риме, Понс, когда Нерон делал из них факелы для освещения своих празднеств.

Понс посмотрел на меня с сожалением.

— Опасно слишком много учиться, — вздохнул он. — Я всегда был против этого. Но вы вечно стояли на своем и таскали меня, старика, за собой — изучать астрономию и математику в Венецию, поэзию и всякие итальянские глупости во Флоренцию, астрономию в Пизу и бог знает что в эту сумасшедшую страну Германию. Наплевать на философию! Говорю вам, господин, я, Понс, ваш слуга, бедный старый неграмотный человек, — говорю вам, Бог жив и близко время, когда вы предстанете перед ним. — Он замолк, вдруг что-то вспомнив, и потом прибавил: — Он здесь, священник, о котором вы говорили.

Я сразу вспомнил о назначенном свидании.

— Почему ты сразу не сказал мне об этом? — спросил я гневно.

— Что за беда? — Понс пожал плечами. — Разве он не ждет уже два часа?

— Почему ты не разбудил меня?

Он посмотрел на меня внимательным критическим взглядом.

— Вы чуть не ползком добрались до постели и кричали по-петушиному: «пой, ку-ку, пой, ку-ку…»

Он передразнивал меня, напевая бессмысленный куплет фальшивым фальцетом. Без сомнения, я нес полную чушь, укладываясь спать.

— У тебя хорошая память, — сказал я сухо, собираясь накинуть на плечи новый соболий плащ, но затем бросив его Понсу на руки. Он угрюмо покачал головой.

— Не нужна тут память, вы выкрикнули это тысячу раз, пока все постояльцы не начали стучать в нашу дверь, требуя, чтобы вы не мешали им спать. И когда я вас уложил как следует в постель, разве вы не позвали меня и не приказали передать дьяволу, если он спросит вас, что его светлость спит? И разве вы не подозвали меня снова и, схватив мою руку так, что синяк остался от этого, не приказали мне: «любишь жизнь,

жирное мясо и теплый очаг, не буди меня утром, разве только ради одной вещи»?

— Ради какой? — спросил я, поскольку совершенно не мог догадаться, что я такое сказал.

— «Только ради сердца черного коршуна по имени Маринелли, ради сердца Маринелли, дымящегося на золотом блюде». Блюдо должно быть золотым, сказали вы и вы прибавили, что я должен разбудить вас, напевая: «Пой, ку-ку, пой, ку-ку, пой, ку-ку». И затем вы стали учить меня, как петь: «Пой, ку-ку, пой, ку-ку, пой, ку-ку».

Когда Понс назвал это имя, я сразу вспомнил, что это имя священника, который проторчал целых два часа в соседней комнате.

Когда Маринелли было разрешено войти и он приветствовал меня, назвав мой титул и имя, я узнал наконец, кто я такой. Я был граф Гильом де Сен-Мор (дело в том, что я знал и мог вспомнить впоследствии только то, что было в моем бодрствующем сознании).

Священник был итальянец, смуглый, маленького роста, худощавый то ли от поста, то ли от другого, не плотского изнуряющего голода, его руки были тонкими и слабыми, точно у женщины. Но его глаза! Лукавые, не внушающие доверия, с узким разрезом, под тяжелыми веками,

одновременно проницательные, как у хорька, и бесстрастные, как у греющейся на солнце ящерицы.

— Вы заставили нас ждать, граф де Сен-Мор, — начал он быстро, когда Понс покинул комнату. — Тот, кому я служу, начинает проявлять нетерпение.

— Перемените тон, священник, — прервал я гневно. — Помните, что вы не в Риме.

— Мой августейший повелитель… — начал он.

— Правит августейше в Риме, может быть, — перебил я снова. — А мы во Франции.

Маринелли смиренно и терпеливо пожал плечами, но его глаза блестели, как у василиска, показывая, что это смирение было притворным.

— Мой августейший повелитель испытывает беспокойство по поводу французских дел, — сказал он. — Эта дама не для вас. У моего повелителя другие планы… — Он облизнул свои тонкие губы. — Другие планы имеются относительно нее… и вас.

Само собой разумеется, я знал, что он имеет в виду герцогиню Филиппу, вдову Жоффруа, последнего герцога Аквитанского. Но герцогиня Филиппа была женщина молодая, веселая и прекрасная, и клянусь, созданная как раз для меня.

— Каковы его планы? — спросил я грубо.

— Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор, слишком глубоки и обширны, чтобы я мог представить их себе, и мне не подобает их обсуждать с вами или кем-либо другим.

— О, я знаю, затевались обширные планы, но в основе таилась червоточина, — сказал я.

— Про вас мне говорили, что вы непреклонны и упрямы, но я повиновался полученным приказаниям.

Маринелли встал, собираясь удалиться, и я встал вместе с ним.

— Я говорил, что это бесполезно, — продолжал он. — Но вам была предоставлена последняя возможность изменить свое решение. Мой августейший повелитель более чем справедлив.

— Отлично, я еще подумаю, — сказал я весело, кланяясь священнику возле двери.

Он внезапно остановился на пороге.

— Время для размышлений прошло, — произнес он. — Настало время решать.

— Я подумаю об этом, — повторил я и затем прибавил: — Если планы этой дамы не совпадут с моими, тогда планы вашего повелителя, может быть, осуществятся. Но не забывайте, священник, что он не мой повелитель.

— Вы не знаете его, — сказал он торжественно.

— Да я и не желаю знать, — возразил я.

Если б я стал описывать мельчайшие подробности всего виденного мною за полдня и полночи, что я был графом Гильомом де Сен-Мор, не хватило бы и десяти книг такого объема, как та, которую я пишу. Многое я должен пропустить; в сущности, я должен пропустить почти все: мне еще не приходилось слышать об отсрочке исполнения приговора для того, чтобы осужденный мог закончить свои записки, по крайней мере, в Калифорнии.

Париж, по которому я проезжал в этот день, был Парижем давно минувших столетий. Узкие улицы были завалены грязью и нечистотами, что было дико для меня. Но я должен пропустить это. Я должен пропустить все события, случившиеся после полудня, прогулку за стенами города, большой праздник, устроенный Гуго де Менгом, пир и попойку, в которых я принял участие. Только о конце приключения скажу я и начну с того, как я стоял, шутливо беседуя с самой Филиппой, — ах, Боже мой, как удивительно прекрасна была она! Знатная дама, да, но прежде всего, после всего и всегда — женщина.

Мы смеялись и довольно легкомысленно шу-

тили, чему способствовало веселье окружающей нас толпы; но под этими шутками скрывалась серьезность мужчины и женщины, далеко перешагнувших за порог любви и все-таки не вполне уверенных друг в друге. Не стану описывать ее. Она была невысока, в высшей степени изящна, — но что это, я описываю ее! Короче, она была единственной женщиной на свете, созданной для меня; мало беспокоило меня, что длинная рука седого старца из Рима сможет протянуться через пол-Европы, чтобы воздвигнуть преграду между предназначенной мне женщиной и мной.

Итальянец Фортини коснулся моего плеча и прошептал:

— С вами желают говорить.

— Могут подождать, — ответил я коротко.

— Я не привык ждать, — последовал столь же короткий ответ.

Кипя негодованием, я вспомнил священника Маринелли и седого старца в Риме. Дело ясно. Что-то затевалось. Та самая длинная рука дотянулась до меня. Фортини лениво улыбался мне, пока я молчал, охваченный этими мыслями, но его улыбка была в высшей степени наглой.

В эту минуту, больше чем когда-либо, мне надлежало сохранять хладнокровие, но древний

красный гнев начал бурлить во мне. Так вот что задумал священник! На этот раз он ввел в игру Фортини, выходца из Италии, не имевшего за душой ничего, кроме длинной родословной, считавшегося лучшим бойцом на шпагах за последние два десятка лет. Итак, сегодня это Фортини. Если ему не удастся исполнить приказания седого старца, назавтра мне придется иметь дело с другой шпагой, послезавтра с третьей. И может быть, после ряда неудач на этом пути мои преследователи возьмутся за другое: меня будет ждать удар кинжалом в спину или щепотка яда в вине, мясе или хлебе.

— Я занят, — сказал я. — Оставьте меня.

— У меня к вам спешное дело, — был его ответ.

Незаметно наши голоса стали громче, так что Филиппа нас услышала.

— Убирайся, итальянская собака, — сказал я. — Иди выть подальше отсюда. Я сейчас займусь тобою.

— Взошла луна, — произнес он. — Трава суха, росы нет. Там, за прудом, слева, есть открытое, тихое и уединенное место.

— Я сейчас буду к вашим услугам, — проворчал я нетерпеливо.

Но он все настаивал, торча у моего плеча.

— Сейчас, — сказал я. — Сейчас я займусь вами.

Тогда заговорила Филиппа, со всей смелостью и силой своего характера.

— Удовлетворите желание этого господина, Сен-Мор, сейчас же займитесь им. Пусть удача следует за вами. — Она замолчала, поманив к себе жестом проходившего мимо Жана де Жуанвиля, своего дядю со стороны матери, из анжуйских Жуанвилей. — Пусть удача следует за вами, — повторила она и, наклонившись ко мне, прошептала: — И сердце мое с вами, Сен-Мор. Не оставайтесь там долго. Я буду ждать вас в большом зале.

Я был на седьмом небе, это было ее первое откровенное признание в любви. И после такого благословения я чувствовал себя столь сильным, что знал: я смогу убить двадцать Фортини и посмеяться над двадцатью седыми старцами из Рима.

Жан де Жуанвиль повел Филиппу через толпу, а Фортини и я в одну минуту пришли к соглашению. Мы расстались, чтобы найти секундантов, а потом встретиться в условленном месте за прудом.

Сперва я отыскал Робера Ланфранка, а затем

Анри Боэмона. Но сначала я увидел флюгер, который показал, с какой стороны дует ветер, предвещая настоящую бурю. Я знал, что этот флюгер, Ги де Виллардуэн, неотесанный молодой провинциал, только недавно прибыл ко двору, но несмотря на это вел себя как самонадеянный задира. Он был рыжий. Его голубые маленькие и прищуренные глаза казались алыми, по крайней мере, их белки, а его кожа, как бывает у рыжих, была красной и усеянной веснушками. Казалось, что его лицо покрыто сыпью.

Когда я проходил мимо него, он внезапно толкнул меня. Без сомнения, он сделал это нарочно. И тут же злобно подскочил ко мне, схватившись за шпагу.

«Честное слово, у седого старца много странных орудий», — подумал я и, поклонившись задире, пробормотал:

— Простите мою неловкость. Виноват, простите, Виллардуэн.

Однако он не пожелал успокоиться. Он сердился и пыжился, но я заметил Робера Ланфранка, знаком подозвал его к нам и объяснил, что произошло.

— Сен-Мор дал вам удовлетворение, — было его мнение. — Он просил у вас извинения.

— Да, правда, — перебил я самым кротким тоном. — Я еще раз прошу вас, Виллардуэн, простить мою чудовищную неловкость. Прошу прощения тысячу раз. Виноват, я сделал это неумышленно. Спеша на назначенное свидание, я был неловок, более чем неловок, но без всякого намерения.

Что мог сделать этот дурак, как не принять с большой неохотой извинения, которые я так щедро ему предложил? Тем не менее я подумал, спеша за Ланфранком, что не пройдет и нескольких дней или даже часов, и горячий юноша постарается вновь найти повод для того, чтобы скрестить со мной шпаги.

Я объяснил Ланфранку только, что нуждаюсь в его услугах, да он и не стремился поглубже вникнуть в это дело. Он сам был пылким юношей не старше двадцати лет, но хорошо владеющим оружием; он сражался в Испании и отличился на поле брани. Только его черные глаза блеснули, когда он узнал, что нам предстоит, и пришел в такой восторг, что постарался поскорее найти Анри Боэмона.

Когда мы трое пришли на лужайку за прудом, Фортини и два его друга уже ожидали нас. Одного звали Феликс Паскини, он был племянником кардинала, носившего ту же фамилию, и доверен-

ным лицом своего дяди, а дядя был доверенным лицом седого старца. Другого звали Рауль де Гонкур, и его присутствие удивило меня, так как он был слишком порядочным и благородным человеком для того общества, в котором сейчас находился.

Мы вежливо раскланялись и принялись за дело, которое не было в новинку ни для кого из нас. Роса еще не выпала, и ноги не скользили по траве. Луна светила ярко, а наши клинки были вполне готовы к серьезной игре. Я знал, что хотя и считаюсь во Франции искусным фехтовальщиком, но Фортини искуснее меня. Я знал также, что сердце моей возлюбленной принадлежит мне и что этой ночью из-за меня на свете станет одним итальянцем меньше. Я говорю, я знал это. Для меня исход поединка был несомненным. Когда наши шпаги скрестились, я стал обдумывать способ, которым убью его. Я не любил долгой борьбы, я всегда действовал быстро и блестяще. Кроме того, я сознавал, что после веселых месяцев, проведенных в попойках и пении «пой, ку-ку, пой, ку-ку, пой, ку-ку» в полуночные часы, я не очень-то пригоден для долгой борьбы. Быстро и блестяще — таково было мое решение.

Но действовать быстро и блестяще оказалось

трудновато, с таким-то опытным противником, как Фортини. С другой стороны, случаю было угодно, чтобы Фортини, всегда такой хладнокровный, всегда неутомимый, всегда уверенный и спокойный, берясь за такое дело, в эту ночь тоже избрал быстроту и блеск.

То была нервная, тяжелая борьба, ибо, несомненно, он так же предугадывал мое намерение скорее покончить, как предугадывал подобное же его намерение я. Сомневаюсь, чтобы мне удался бы мой прием, если б вместо лунной ночи был яркий день. Свет луны помог мне. К тому же мне помогло то, что я отгадал момент выпада, который он задумал. То было внезапное нападение, обычный, но опасный прием, известный любому новичку, положивший на спину немало молодцов, применявших его; он полон опасности для инициатора, почему фехтовальщики не очень увлекаются им.

Мы дрались не более минуты, а я уже знал, что его смелая, стремительная атака притворна и что он замышляет применить этот самый внезапный выпад. Он ждал, когда я сам сделаю выпад, но не для того, чтобы парировать его, а для того, чтобы отбить нападение легким поворотом кисти, направив острие шпаги прямо на меня и пронзив

мое тело, когда оно наклонится вперед при атаке. Трудная вещь, да, трудная вещь даже при самом лучшем освещении. Если он повернет кисть долей секунды раньше, я пойму, в чем дело, и буду спасен; если повернет ее долей секунды позже, моя шпага поразит его.

«Быстро и блестяще? — думал я. — Очень хорошо, мой итальянский друг, это будет быстро и блестяще, в особенности быстро».

Собственно говоря, то было внезапное нападение против внезапного нападения, но я должен был перехитрить его, действуя еще быстрее. Так и вышло. Как я уже сказал, не прошло и минуты, когда это случилось. Быстро? Мои атака и выпад были стремительны. То была как бы вспышка действия, мгновенный взрыв. Клянусь, свой выпад я произвел долей секунды быстрее, чем когда-либо удавалось это кому бы то ни было. Я выиграл долю секунды. Опоздав на эту долю секунды, Фортини попытался отклонить мой клинок и поразить меня своим, но отклонилась его шпага. Она блеснула возле моей груди, я сделал выпад — тогда как его оружие пронзило воздух за моей спиной, — и моя шпага настигла его и вошла в его тело на уровне сердца, пройдя насквозь справа налево.

Странное это ощущение — проткнуть живого человека насквозь. Сидя здесь, в своей камере, я откладываю перо, чтобы подумать об этом. И я часто вспоминал эту лунную ночь во Франции много лет тому назад, когда я быстро и блестяще проучил итальянскую собаку. Как же это было просто! Я ожидал большего сопротивления. Я почувствовал бы его, если бы кончик моей шпаги коснулся кости, но он встретил лишь мягкое тело, которое было легко пронзить. Это ощущение до сих пор еще живет в моей руке, в мозгу, когда я это пишу. Женская шляпная булавка не легче проходит сквозь пудинг, чем моя шпага проткнула насквозь итальянца. О, в то время в этом не было ничего удивительного для Гильома де Сен-Мора, но это удивительно для меня, Даррела Стэндинга, что вспоминает и размышляет об этом много столетий спустя. Легко, в высшей степени легко убить сильного, полного жизни человека таким грубым оружием, как кусок стали. Люди подобны крабам с мягкой скорлупой, так нежны они, хрупки и уязвимы.

Но вернемся к поединку в лунную ночь. После моего меткого удара наступила пауза. Не сразу упал Фортини, не сразу вытащил я из него свой клинок. Почти на секунду мы остановились:

я — с широко расставленными ногами, с напряженным, наклоненным вперед корпусом, с горизонтально вытянутой правой рукой; Фортини — со шпагой, которая была так далеко позади меня, что эфес ее и его рука слегка упирались слева в мою грудь; весь напрягшийся, с открытыми блестящими глазами.

Так стояли мы, как статуи, где-то секунду, и окружавшие нас не сразу заметили, что случилось. Затем Фортини открыл рот, чтобы вздохнуть, и слегка кашлянул. Тело его обмякло; рука у моей груди задрожала, потом повисла вдоль тела, и конец его шпаги уткнулся в землю. В это время к нему подскочили Паскини и де Гонкур, и он опустился на их руки. Честное слово, мне было труднее вытащить свой клинок обратно, чем всадить его: плоть так цеплялась за него, точно ревниво не хотела с ним расставаться. О, поверьте, потребовалось значительное усилие, чтобы извлечь свою шпагу.

Но боль, вызванная этим движением, должно быть, вернула Фортини к жизни и его цели: он оттолкнул своих друзей, выпрямился и поднял клинок. Я тоже занял позицию, удивляясь, как это я пронзил его у сердца и не задел ни одного жизненно важного органа. Затем, раньше чем

его друзья смогли подхватить его, он как подкошенный упал на землю. Его положили на спину, но он был уже мертв, его лицо в лунном свете было страшным, а правая рука все еще сжимала шпагу.

Да, правда, удивительно легко убить человека.

Мы поклонились его секундантам и собирались уйти, когда Феликс Паскини остановил меня.

— Извините, — сказал я, — отложим это на завтра.

— Нам ведь надо лишь отойти на шаг в сторону, где трава пока суха, — настаивал он.

— Дайте мне разделаться с ним за вас, Сен-Мор, — сказал мне Ланфранк, горевший желанием померяться силами с каким-нибудь итальянцем.

Я покачал головой.

— Паскини мой, — ответил я. — Он будет первым завтра.

— Есть еще другие? — спросил Ланфранк.

— Спросите де Гонкура, — засмеялся я. — Я догадываюсь, что он уже претендует на честь быть третьим.

Де Гонкур смущенно кивнул. Ланфранк вопросительно посмотрел на него, и де Гонкур кивнул головой еще раз.

— А после него, не сомневаюсь, появится задира, — продолжал я.

И лишь только я это сказал, как рыжеволосый Ги де Виллардуэн собственной персоной подошел к нам по облитой лунным светом траве.

— Ну хоть его-то уступите мне! — вскричал Ланфранк почти умоляюще, так велико было его желание.

— Спросите его, — засмеялся я, затем, обернувшись к Паскини, сказал ему: — Завтра. Назначьте время и место, я там буду.

— Трава превосходна, — надоедал он, — место превосходное, и я желал бы, чтобы вы отправились за Фортини сегодня же.

— Лучше, чтобы его сопровождал друг, — парировал я. — А теперь простите, я должен идти.

Но он загородил мне путь.

— Как бы там ни было, — произнес он, — пусть это случится сейчас.

Тут во мне впервые стал подниматься гнев.

— Вы хорошо служите своему господину, — засмеялся я.

— Я служу только своим желаниям, — был его ответ. — Господина у меня нет.

— Простите меня, если я осмелюсь сказать вам правду, — проговорил я.

— Какую? — спросил он мягко.

— Ту, что вы лжец, Паскини, лжец, как и все итальянцы.

Он немедленно повернулся к Ланфранку и Боэмону.

— Вы слышали, — сказал он. — И после этого вы не можете отрицать мое право на него.

Они колебались и посмотрели на меня, чтобы понять мои намерения. Но Паскини не ждал.

— Если вы еще сомневаетесь, — заторопился он, — позвольте мне устранить ваши сомнения… вот этим.

И он плюнул на траву у моих ног. Тогда гнев охватил меня и совершенно вывел из себя. Красным гневом зову я это — подавляющее, всепобеждающее желание убивать и уничтожать. Я забыл, что Филиппа ждет меня в большом зале. Я помнил лишь свои обиды — непростительное вмешательство в мои дела седого старца, миссию папы, дерзость Фортини, наглость Виллардуэна и теперь Паскини, стоявшего на моем пути и плюющего в траву. Перед моими глазами появились красные круги, мысли тоже стали алыми. Я смотрел на всех этих людишек как на сорную и вредную траву, которую надо было вырвать с моего пути и уничтожить. Как попавший в

клетку лев кидается на прутья, так и я пришел в ярость из-за этих людишек. Они окружали меня. Я чувствовал, что я в западне. Единственное средство выбраться из нее — скосить их, уничтожить, вытоптать ногами.

— Очень хорошо, — сказал я довольно спокойно, хотя от гнева все мое тело трепетало. — Вы первый, Паскини, а затем вы, де Гонкур? А вы последний, Виллардуэн?

Все по очереди кивнули головой, и Паскини и я уже были готовы отойти в сторону.

— Раз вы торопитесь, а нас трое против трех, — предложил Анри Боэмон, — то почему бы нам не приняться за дело одновременно?

— Да, да, — раздался пылкий возглас Ланфранка, — возьмитесь за Гонкура, Виллардуэн будет мой.

Но я отклонил предложение моих друзей.

— Они здесь по приказанию, — объяснил я. — Они так сильно хотят меня убить, что, честное слово, я заразился их желанием и теперь хочу разделаться с ними сам.

Я заметил, что Паскини раздосадован этой задержкой, и решил еще больше разозлить его.

— С вами, Паскини, — заявил я, — я покончу быстро. Не хочу, чтобы вы медлили, так как Фор-

тини ждет вас. Вам, Рауль де Гонкур, я отплачу за то, что вы попали в такую плохую компанию. Вы растолстели и страдаете одышкой. С вами я спешить не буду, пусть ваш жир сперва растопится, а легкие сморщатся и повиснут, как продырявленные кузнечные мехи. Что касается вас, Виллардуэн, то я еще не решил, каким способом убью вас.

Затем я поклонился Паскини и мы принялись за дело. О, в этот вечер во мне проснулся дьявол. Быстро и блестяще — вот в чем был секрет. И я не забывал при этом об обманчивом лунном свете. Я расправлюсь с ним, как с Фортини, если он отважится на внезапное нападение. Если он не сделает этого и притом скоро, тогда на это отважусь я сам.

Несмотря на то что я раздразнил его, Паскини был осторожен. Тем не менее я заставил его принять быстрый темп, и в тусклом свете луны наши клинки то и дело скрещивались, хотя скорее наугад, чем с расчетом.

Не прошло и минуты, как я пустил в ход свою уловку. Я сделал вид, что слегка поскользнулся, и, выпрямляясь, притворился, что потерял шпагу Паскини. Он сделал пробный выпад, я снова слукавил, на этот раз парировав излишне широким

движением. Последовательно подставляясь под удар, я расставил перед ним приманку. И завлечь его мне удалось. С быстротой молнии воспользовался он тем, что считал невольной ошибкой. Прям и точен был его выпад, в него он вложил всю свою волю, а тяжестью своего тела усилил его. Что же касается меня, то я только притворялся и ждал его. Моя шпага слегка коснулась его, точно рассчитанным движением отклонилась в сторону моя кисть, направив его шпагу на мой эфес. Этого было достаточно, чтобы он не попал в меня и лишь проколол застежку моего шелкового камзола. Конечно, его туловище устремилось вперед, вслед за его клинком, и встретилось на уровне сердца с моим клинком. А моя вытянутая рука была крепка и пряма, как сталь, которую она держала.

И тело мое было также прямым и крепким, как рука и шпага.

На уровне сердца, говорю я, моя шпага вошла в тело Паскини, но она не показалась с левой стороны, потому что натолкнулась на ребро (о, убивать человека — дело мясника!) с такой силой, что повалила Паскини навзничь, и он упал на спину. Пока он падал, прежде чем он коснулся травы, барахтаясь и извиваясь, я вытащил из

него свое оружие.

Де Гонкур бросился к нему, но он жестом приказал ему заняться мною. Паскини умер не так быстро, как Фортини. Он долго кашлял и плевал, затем при помощи Виллардуэна, поддерживавшего его, приподнялся на локте и снова стал кашлять и сплевывать кровь.

— Счастливого пути, Паскини, — смеялся я над ним в припадке моего красного гнева. — Поторопитесь, пожалуйста, потому что трава, на которой вы лежите, вдруг стала мокрой, и если вы помедлите, то можете умереть от простуды.

Я хотел немедленно начать с де Гонкуром, но Боэмон запротестовал, требуя, чтобы я сделал передышку.

— Нет, — ответил я. — Я еще даже не согрелся как следует. — И обращаясь к де Гонкуру, сказал: — Ну, теперь я заставлю вас плясать и пыхтеть.

Де Гонкур не вкладывал свою душу в это дело. Было очевидно, что он дрался по приказанию. Его манера фехтования была старомодной, характерной для людей средних лет, но он неплохо владел шпагой. Он проявлял хладнокровие, решительность, упорство, но совсем не отличался блеском; к тому же он был угнетен предчувствием своего поражения. Несколько раз быстрым и

блестящим выпадом я мог покончить с ним. Но я сдерживался. Я сказал уже, что мной владел дьявол. Действительно, это было так. Я утомил его. Я заставил его повернуться к луне спиной, так что он едва мог видеть меня, потому что я сражался в своей тени. И пока я играл с ним, утомив его до такой степени, что он стал задыхаться, как я предсказывал, Паскини наблюдал за нами, поддерживая голову рукой, кашляя и выплевывая свою жизнь.

— Теперь, де Гонкур, — заявил я в конце концов, — вы видите, что вы в моих руках. Я могу покончить с вами десятком способов. Приготовьтесь, ибо сейчас я выбираю вот этот.

И, говоря это, я просто перешел от кварты к терции, а когда он стал яростно защищаться, я вернулся к кварте, подождал, пока он откроется, и пронзил его на уровне сердца насквозь. Увидев конец нашей схватки, Паскини, испуская дух, уткнулся лицом в траву, вздрогнул и затих.

— Ваш господин лишится этой ночью четырех слуг, — заверил я Виллардуэна, как только мы начали бой.

Ну и схватка! Мальчик был просто смешон. В какой только деревенской школе он обучался фехтованию! Он был настоящий шут. Я сразу

решил покончить с ним просто и коротко, а его рыжие волосы, казалось, встали дыбом от ярости, и он набросился на меня, как сумасшедший.

Увы! Именно его неуклюжесть и довела меня до гибели. Поиграв с ним и поиздевавшись над ним некоторое время, я довел его до такого состояния, что он в своем гневе позабыл и то малое, что знал об искусстве фехтования. Размахнувшись так, будто он пробивал доспехи или рубил дрова, он ударил меня по макушке. Я был ошеломлен. Никогда я еще не видел ничего более нелепого. Он совершенно открылся, и я мог тут же пронзить его. Но я замер от изумления и в следующую секунду почувствовал боль от вошедшего в мое тело клинка, которым проткнул меня насквозь этот неуклюжий провинциал. Рукоятка его шпаги ударила меня в бок, и я упал навзничь.

Падая, я видел замешательство на лицах Ланфранка и Боэмона и довольную ухмылку на лице Виллардуэна. Я падал, но так и не коснулся травы. В глазах замелькали огоньки, раздался звон в ушах, в темноте забрезжил слабый, медленно разгорающийся свет, я ощутил неописуемую, мучительную боль и затем услышал чей-то голос, говоривший:

— Я ничего не могу нащупать.

То был голос начальника тюрьмы Азертона. И я стал Даррелом Стэндингом, только что вернувшимся через века к мучениям смирительной рубашки в Сен-Квентине. И я понял, что моей шеи касаются пальцы Азертона. А затем его сменил доктор Джексон, который произнес:

— Вы не умеете нащупывать пульс на шее. Тут, вот тут, коснитесь своими пальцами там, где мои. Нащупали? Я так и думал. Сердце слабое, но бьется ровно, как часы.

— Прошли только сутки, — сказал капитан Джеми, — а он раньше никогда не бывал в подобном состоянии.

— Притворяется он, вот что он делает, можете быть уверены, — вмешался Эл Хэтчинс, староста.

— Не знаю, — настаивал капитан Джеми. — Когда пульс человека так слаб, что нужен эксперт, чтобы нащупать его…

— Ну, я-то прошел эту школу, — пошутил Эл Хэтчинс. — Я как-то заставил вас развязать меня, убедив, что я умираю, и мне тогда стоило больших усилий удержаться от того, чтобы не рассмеяться вам в лицо.

— Что вы думаете, доктор? — спросил начальник тюрьмы Азертон.

— Говорю вам, сердце работает превосходно, —

ответил тот. — Без сомнения, оно бьется слабо. Но этого ведь надо было ожидать. Я думаю, Хэтчинс прав — он притворяется. — Большим пальцем он поднял мое веко, и я открыл другой глаз и посмотрел на людей, склонившихся надо мной.

— Что я вам говорил? — торжествующе воскликнул доктор Джексон.

И тогда, — хотя от усилий, казалось, вот-вот треснет мое лицо, — я собрал всю свою волю и улыбнулся.

Они поднесли кружку с водой к моим губам, и я жадно выпил. Нужно помнить, что все это время я беспомощно лежал на спине, а мои руки были вытянуты вдоль тела под рубашкой. Когда они предложили мне пищу — сухой тюремный хлеб, — я покачал головой. Я закрыл глаза, давая понять, что их присутствие утомило меня. Страдания от моего частичного воскрешения были невыносимы. Я чувствовал, как мое тело возвращается к жизни. Кровообращение причиняло страшную боль. Я помнил, что Филиппа ждет меня в большом зале, и мне хотелось вернуться обратно к тому дню и ночи, которые я только что провел в старой Франции.

Так сильно было это желание, что, несмотря на окружавших меня людей, я стал пытаться

выключить из своего сознания ожившую часть моего тела. Я торопился уйти, но голос Азертона удержал меня.

— Жалобы есть? — спросил он.

Теперь я боялся лишь одного: что они развяжут меня; поэтому мой ответ был вызван отнюдь не бравадой, а стремлением остаться в рубашке.

— Вы могли бы стянуть рубашку потуже, — прошептал я. — Она слишком свободна, в ней неудобно. Я теряюсь в ней. Хэтчинс глуп и неуклюж. Он ничего не понимает в стягивании. Вы, начальник, поставьте его надзирать за ткацкой. Он добьется куда более непроизводительного труда, чем нынешний бездельник, который только глуп, но не так неуклюж. А теперь убирайтесь, если не можете придумать ничего нового. В этом случае, конечно, оставайтесь. Я сердечно прошу вас остаться, если в ваши тупые головы взбрело, что вы можете придумать новое мучение для меня.

— Он с ума сошел!.. — вскричал доктор Джексон, радуясь этому событию как медик.

— Стэндинг, ты — чудо, — сказал Азертон. — У тебя железная воля, но я сломлю ее, это так же верно, как то, что Бог сотворил яблоки.

— А у вас кроличье сердце, — возразил я. —

Если бы вы получили хоть десятую долю того, что я получил в Сен-Квентине, рубашка давно бы выдавила ваше кроличье сердце из ваших длинных ушей!..

Удар попал в цель, потому что у начальника тюрьмы действительно были очень большие уши. Я уверен, ими заинтересовался бы Ломброзо.

— Что касается меня, — продолжал я, — я смеюсь над вами и от души желаю ткацкой мастерской, чтобы вы сами взялись заведовать ею. Вы затащили меня сюда и пытали меня своей глупостью, а я все еще жив и смеюсь вам в лицо. Недостаточно? Вы даже не можете убить меня. Недостаточно? Вы не можете убить крысу патроном динамита — настоящего динамита, а не того, который, как вы позволили внушить себе, я будто бы спрятал.

— Больше ничего? — спросил он, когда я кончил свою бранную речь.

И в моем мозгу промелькнуло то, что я сказал Фортини, когда он преследовал меня своей дерзостью.

— Убирайтесь, тюремные собаки, — сказал я. — Тявкайте за моей дверью.

Для человека, подобного Азертону, не было ни-

чего ужаснее, чем такое оскорбление со стороны беззащитного заключенного. Его лицо побледнело от гнева и голос дрожал, когда он пригрозил:

— Честное слово, Стэндинг, я все-таки расправлюсь с тобой.

— Вы лишь одно можете сделать, — заявил я. — Вы можете затянуть потуже эту слишком свободную рубашку. Если вы не можете, уходите. И я не огорчусь, если вы вернетесь не раньше, чем через неделю или целых десять дней.

И как мог даже этот большой тюремный начальник наказать заключенного, против которого оказалась уже бессильной крайняя мера наказания? Быть может, Азертон придумал еще какую-нибудь угрозу, ибо он открыл рот. Но своим окрепшим голосом я стал петь: «Пой, ку-ку, пой, ку-ку, пой, ку-ку!» И я пел, пока моя дверь не загремела и не заскрипели и завизжали ее засовы и замки.

Глава XII

Теперь, когда я изучил трюк Моррелла, путь стал легким. И я знал, что он будет становиться тем легче, чем дальше я буду по нему идти. Раз установилась линия наименьшего сопротивления, всякое последующее путешествие будет даваться все легче и легче. И таким образом, как вы увидите, мои странствования из Сен-Квентина в другие жизни стали с течением времени совершаться почти машинально.

После того как начальник тюрьмы Азертон и его шайка оставили меня, мне понадобилось несколько минут, чтобы заставить воскресшие части моего тела умереть снова. То была малая, не настоящая смерть, подобная временной смерти при анестезии.

И таким образом, от всего низкого и подлого, от унылой одиночки и мучений рубашки, от знакомых мух, мрака и перестукивания живых мертвецов я одним прыжком отправлялся блуждать в иные времена и пространства.

Я надолго очутился в темноте, где медленно нарастало восприятие других вещей и другого «я». Прежде всего я почувствовал пыль. Сухая и едкая,

она проникала в мои ноздри и лежала на моих губах; она покрывала мое лицо и руки и особенно была ощутима на кончиках пальцев, когда они касались внутренней стороны большого пальца.

Вслед за тем я уловил беспрерывное движение. Все вокруг меня двигалось и качалось. Все тряслось и дрожало, я услышал какие-то звуки и сразу понял как само собой разумеющееся, что это было скрипение колес и стук и шуршание железных шин о камень и песок. До меня донеслись усталые голоса людей, ругающих и проклинающих медлительность утомленных животных.

Я открыл глаза, воспаленные от пыли, и немедленно свежая пыль забралась в них. На грубом шерстяном одеяле, на котором я лежал, пыль покоилась слоем в полдюйма. Над собою я увидел сводчатую крышу из колеблющегося брезента и мириады пылинок, тяжело опускавшихся в столбе солнечных лучей, которые проникали через дыры в брезенте.

Я был ребенком, мальчиком восьми или девяти лет, я был утомлен, как и женщина с запыленным, угрюмым лицом, сидевшая возле меня и убаюкивавшая на руках вопящего младенца. То была моя мать; это я знал, как само собой разумеющуюся вещь, как знал и то, что плечи человека,

сидевшего на месте кучера, принадлежали моему отцу.

Когда я пополз вдоль тюков, которыми была нагружена телега, мать сказала усталым, ворчливым голосом:

— Можешь ты хоть минутку посидеть спокойно, Джесси?

Меня звали Джесси. Я не знал своей фамилии, но слышал, что мать звала отца Джоном. Я смутно помнил, что другие люди обращались к отцу «капитан». Я знал, что он был предводителем этой группы людей и что его распоряжениям повиновались все.

Я выполз наружу через отверстие в брезенте и сел рядом с отцом, на козлах. Воздух был насыщен пылью, поднимаемой телегой и копытами многих лошадей. Пыль была так густа, что походила на мглу или туман, и низко стоявшее солнце светило сквозь нее тусклым кровавым светом.

Пустынный пейзаж утомлял глаза. Низкие холмы тянулись бесконечной грядой по обе стороны дороги. Там и сям по их склонам торчали чахлые растения или иссушенные зноем кусты. В основном же поверхность холмов была голой и сухой, каменистой и песчаной. Наш путь шел по песчаной дороге между холмами, которая тоже была

пустынна, если не считать сухих кустарников среди чахлой травы. Не было не только воды, но и признаков ее, кроме размытых ручьями рытвин, свидетельствовавших о потоках дождя, когда-то бурливших тут.

Только у моего отца в фургон были впряжены лошади. Когда обоз повернул, я увидел, что другие фургоны тянут волы. Три или четыре пары волов с трудом тащили каждую повозку, и рядом с ними по глубокому песку шли люди с заостренными палками, которыми они неохотно подгоняли животных. На повороте я стал считать фургоны спереди и сзади. Я знал, что их всего сорок, включая наш, потому что я часто считал их раньше. И когда я пересчитал их теперь, как ребенок, желающий отогнать скуку, то снова их оказалось сорок, — все с брезентовым верхом, большие и тяжелые, грубо сколоченные, колыхающиеся и тряские, шумящие и скрипящие на песке и камнях.

Справа и слева от нас вдоль обоза скакали верхом двенадцать или пятнадцать мужчин разного возраста. К их седлам были привязаны длинноствольные винтовки. Каждый раз, когда кто-нибудь из них подъезжал ближе к нашей повозке, я мог видеть, что их лица, покрытые пы-

лью, были напряжены и озабочены, как и лицо моего отца. А отец, как и они, имел под рукой длинноствольную винтовку.

Рядом с караваном ковыляло также десятка два или больше хромающих, худых как скелеты волов с натертыми ярмом шеями, которые то и дело останавливались, чтобы пощипать редкие пучки иссохшей травы, а юноши-пастухи с утомленными лицами понукали их. Время от времени какой-нибудь вол останавливался и ревел, и этот рев казался столь же зловещим, как и все вокруг меня.

Я смутно помнил, как в раннем детстве я жил у берегов реки. И, покачиваясь на козлах рядом с отцом, я постоянно возвращался мыслями к приятной прохладе этой реки, текущей среди деревьев. У меня было такое чувство, будто я бесконечно давно живу в повозке и все еду, еду вперед с этими людьми.

Но сильнее всего как мною, так и всеми путниками владело предчувствие неизбежной гибели. Наш путь был похож на погребальное шествие: никто не смеялся, ни разу не услышал я веселых голосов; мир и покой не были нашими спутниками. Лица мужчин и юношей, верхом сопровождавших караван, были сумрачны, сосре-

доточены, безнадежны. И когда мы пробивались через мрачный песок, освещенный закатным солнцем, я пристально всматривался в лицо отца с напрасным желанием найти на нем хоть тень улыбки. Я не хочу этим сказать, что на лице отца, пусть запыленном и угрюмом, читалось отчаяние. Оно было суровым и мрачным, и озабоченным, очень, очень озабоченным.

Какая-то волна вдруг пробежала по всему каравану. Отец поднял голову, то же сделал и я. И наши лошади подняли свои усталые головы, втянули воздух ноздрями и пошли бодрее. Лошади верховых тоже ускорили шаг. Что же касается стада страшных волов, то оно пустилось прямо вскачь. Это было даже смешно. Бедные животные, неуклюжие, едва держащиеся на ногах, ходячие скелеты в шелудивых шкурах, они тем не менее далеко обогнали мальчиков-пастухов. Но это длилось недолго: они вновь перешли на шаг, голодные, обессилевшие, хромые; теперь уже они не останавливались при виде сухих пучков травы.

— Что такое? — спросила мать из повозки.

— Вода, — ответил отец. — Это, должно быть, Нефи.

— Слава Богу, — сказала мать. — Может быть,

здесь мы купим провизию.

И в облаках кроваво-красной пыли покатили к Нефи наши большие фургоны, с шумом и треском, со скрипом и визгом. Дюжина разбросанных лачуг — вот что представляло собой это поселение. Ландшафт был почти такой же, как тот, который мы оставили позади. Не было деревьев, только чахлый кустарник да песчаная пустыня. Но все же кое-где виднелись обработанные поля и заборы; и здесь была вода.

Правда, река почти пересохла, но еще можно было найти озерца воды, в которые быки и верховые лошади сразу же погрузили свои морды до самых глаз. Здесь даже росло несколько низкорослых ив.

— Это, должно быть, мельница Билла Блейка, о которой нам говорили, — сказал отец, указывая на какое-то строение моей матери, которую беспокойство заставило выглянуть наружу из-за наших плеч.

Некий старик в куртке из оленьей кожи, с длинными, зачесанными назад и выгоревшими на солнце волосами подбежал к нашему фургону и заговорил с отцом. Был подан сигнал, и передовой фургон каравана стал поворачиваться, а затем все сорок телег в конце концов образовали

круг. Поднялась суматоха. Несколько женщин с усталыми и запыленными, как у моей матери, лицами показались из фургонов. Оттуда высыпала также целая орава ребятишек. Их было по меньшей мере пятьдесят, и, казалось, я их всех знал давно, женщин же было не меньше двух десятков. Они занялись приготовлением ужина.

В то время как одни мужчины рубили кустарник, а мы, дети, относили ветви к разведенным кострам, другие разнуздывали волов и пускали их в воду. Третьи занимались тем, что сдвигали фургоны поближе друг к другу. Дышла фургонов были обращены внутрь круга, и передняя часть каждого плотно прилегала к задней части соседнего. Большие колеса тесно соприкасались друг с другом, и мало того, их еще соединили цепями. В этом не было ничего нового для нас, детей. Это только показывало, что лагерь расположен во вражеской стране. Лишь один фургон был оставлен вне круга, чтобы образовался проход. Как мы знали, позже, перед тем как лагерь заснет, скот загонят внутрь и фургон, заменявший ворота, поставят на место и прикрепят цепью к другим. Тем временем скотина находилась под присмотром мужчин и мальчиков, пощипывая ту скудную траву, какую могла тут найти.

Пока разбивали лагерь, мой отец в сопровождении нескольких мужчин вместе со стариком с длинными, выгоревшими на солнце волосами двинулся пешком по направлению к мельнице. Я помню, что все мы, — мужчины, женщины и даже дети, остановились, следя за тем, как они уходят; казалось, что они отправились по очень важному делу.

Когда они ушли, в лагере появились другие люди, не знакомые нам жители пустыни Нефи, и стали бродить вокруг. То были белые люди, как и мы, но их лица показались нам грубыми, суровыми, темными; они, казалось, были озлоблены против нас. В воздухе пахло бедой, — они говорили оскорбительные вещи, чтобы вывести из терпения наших мужчин. Но женщины предостерегли всех наших мужчин и юношей, чтобы они не произносили ни слова.

Один из чужаков подошел к нашему костру, возле которого моя мать стряпала в одиночестве. Я как раз нес ей охапку дров и остановился, чтобы послушать и поглядеть на вторгшегося к нам человека, которого я ненавидел, потому что в воздухе была разлита ненависть, потому что я знал, что все до последнего человека в нашем обозе ненавидят этих чужестранцев, белых, как и

мы, и именно их мы опасались, когда устраивали наш лагерь кольцом.

У человека, стоявшего возле нашего костра, были голубые глаза, суровые, холодные, проницательные. Волосы его были рыжие; лицо выбрито до подбородка и под ним; ниже, покрывая шею и доходя до ушей, росла рыжая с проседью бахрома бакенбард. Мать не поклонилась ему, да и он не кланялся ей. Он только стоял и некоторое время глядел на нее, затем прокашлялся и сказал с усмешкой:

— Хотите, я побьюсь об заклад, что вы из Миссури.

Я видел, как мать сжала губы, стараясь подавить гнев, а затем ответила:

— Мы из Арканзаса.

— Я полагаю, у вас достаточно оснований скрывать, откуда вы явились, — сказал он, — ведь вы изгнали Богом избранный народ из Миссури.

Мать не отвечала.

— А вот теперь, — продолжал он, — вы явились сюда и выпрашиваете у нас хлеб, у нас, которых вы преследовали…

И тут я, несмотря на то что был ребенком, вдруг почувствовал гнев, древний красный, неукротимый гнев, всегда необузданный и неудержимый.

— Вы лжете, — закричал я. — Мы не миссурийцы, и мы не попрошайки. У нас есть деньги, чтобы купить хлеб.

— Замолчи, Джесси, — закричала мать, прикрывая мне рот рукой, и затем обернулась к чужаку. — Ступайте и оставьте мальчика в покое.

— Я застрелю тебя, проклятый мормон! — закричал я, рыдая, и, вырвавшись из рук матери, обежал вокруг костра.

Что касается чужака, то мое поведение его ничуть не смутило. Я ждал, что он гневно набросится на меня, и приготовился сражаться, между тем как он смотрел на меня с величайшей серьезностью.

Наконец он заговорил, заговорил торжественно, величественно качая головой, как бы вынося приговор.

— Яблоко от яблони недалеко падает, — сказал он. — Молодое поколение не лучше старого. Весь род сгинет и будет проклят. Ни стар, ни млад не спасутся. Этому нет искупления. Даже кровь Христа не сможет искупить их беззакония.

— Проклятый мормон! — Вот все, чем я мог ответить ему. — Проклятый мормон!

И я продолжал проклинать его и бегать вокруг

костра от карающей материнской руки, пока он не ушел, широко шагая.

Когда отец и сопровождавшие его люди вернулись, работы в лагере приостановились и все с тревогой столпились вокруг него. Он покачал головой.

— Они не хотят нам ничего продать? — спросила какая-то женщина.

Отец снова покачал головой.

Заговорил голубоглазый мужчина с белокурыми бакенбардами, великан лет тридцати, который внезапно проложил себе дорогу в середину толпы.

— Говорят, у них есть мука и другие запасы на три года вперед, капитан, — сказал он. — А теперь они не хотят нам продавать, но мы не ссорились с ними. Они поссорились с правительством и перенесли свое недовольство на нас. Это неправильно, капитан; я говорю, это неправильно. Как вынесем мы с женами и детьми наступающую зиму, без всего, среди пустыни, на расстоянии нескольких месяцев пути от Калифорнии?

Он обратился ко всей толпе:

— Ведь вы не знаете, что такое пустыня. Вокруг нас еще не пустыня. Говорю вам, это рай, небесное пастбище, изобилующее млеком и медом, в

сравнении с тем, чему мы идем навстречу. Говорю вам, капитан, первое, что мы должны добыть себе, это пищу. Если они не хотят ее продать, мы должны напасть и взять ее силой.

Многие мужчины и женщины криком выразили одобрение, но отец, подняв руку, заставил их замолчать.

— Я согласен со всем, что вы сказали, Гамильтон, — начал он.

Но крики заглушили его голос, и он снова поднял руку.

— Кроме одной вещи, которую вы забыли принять в расчет, — вещи, которую вы и все мы должны принять в расчет. Бригем Юнг объявил военное положение, и Бригем Юнг имеет армию. Мы можем уничтожить Нефи одним взмахом и захватить все запасы, которые найдем. Но мы не унесем их далеко. «Святые» Бригема выступят против нас, и мы будем сметены другим взмахом. Вы это знаете, я это знаю, мы все это знаем.

Его слова переубедили слушателей, потому что он поведал им то, что им уже было известно. Они только забыли об этом в пылу возбуждения и отчаянной нужды.

— Никто так охотно, как я, не готов сражаться за правое дело, — продолжал отец. — Но случилось

так, что мы не можем сражаться теперь. Если произойдет столкновение, у нас не будет никаких шансов. Мы должны напомнить нашим женам и детям, что нам следует вести себя мирно, во что бы то ни стало, и терпеливо все сносить, какой бы грязью нас ни забрасывали.

— Но что мы будем делать, когда придем в пустыню? — вскричала женщина, качавшая на руках ребенка.

— Мы встретим много поселений на пути туда, — ответил отец. — Филмор в шестидесяти милях к югу, потом идет Корн-Крик. Затем Бивер еще через пятьдесят миль; дальше Паровaн, от него двадцать миль до Сидар-сити. Чем дальше мы отойдем от Соленого Озера, тем больше надежды, что жители продадут нам провизию.

— А если они не захотят? — настаивала та же женщина.

— Мы расквитаемся с ними, — сказал отец. — Сидар-сити — последнее поселение. Мы отправимся туда, вот и все, и с помощью Господа разделаемся с ними. На расстоянии двух дней пути оттуда — прекрасные пастбища и водоем. Они их называют Горные Луга. Никто там не живет, и вот в этом месте мы дадим отдохнуть нашему скоту и подкормим его, прежде чем вступить в

пустыню. Быть может, мы сможем настрелять немного дичи. А в самом худшем случае мы уйдем так далеко, как только сможем, затем оставим повозки, навьючим поклажу на животных и сделаем последние переходы пешком. Мы сможем есть нашу скотину, продолжая идти своей дорогой. Лучше прибыть в Калифорнию нагишом, чем оставить свои кости здесь; а мы их оставим здесь, если затеем драку.

Этим заключительным предостережением от резких слов или действий закончился импровизированный митинг. Я долго не мог заснуть этой ночью. Моя вспышка гнева против мормона так возбудила меня, что я еще не спал, когда отец вполз в повозку после последнего обхода ночной стражи. Они думали, что я сплю, но я слышал, как мать спросила его, думает ли он, что мормоны позволят нам мирно проехать через их страну. Его лицо было обращено к ней, и он отвечал ей с полной уверенностью, что мормоны дадут нам пройти, если никто из нашей компании не затеет ссоры.

Но я видел его лицо в эту минуту при свете маленькой сальной свечи, и в нем не было той уверенности, какая звучала в его голосе. Поэтому я заснул, угнетенный предчувствием ужасной

участи, которая, казалось, нависла над нами, и думая о Бригеме Юнге, который представлялся моему детскому воображению опасным, злобным существом, настоящим дьяволом с рогами, хвостом и прочим.

Я очнулся в одиночке в прежних мучениях…

Надо мной склонились все те же четверо: начальник тюрьмы Азертон, капитан Джеми, доктор Джексон и Эл Хэтчинс. Я заставил себя растянуть лицо в улыбке, стараясь не терять власти над собою: возобновившееся кровообращение причиняло мне сильную боль. Я выпил воду, которую мне подали, отверг предложенный хлеб и отказался разговаривать. Я закрыл глаза и попытался вернуться к соединенному цепями кругу фургонов в Нефи. Но пока мои посетители стояли возле меня и болтали, я не мог туда отправиться.

Вот обрывок разговора, который я невольно услышал.

— Совсем как вчера, — сказал доктор Джексон. — Никаких изменений в его состоянии.

— Так что, он сможет это вынести? — спросил начальник тюрьмы Азертон.

— Без сомнения. Еще одни сутки выдержит легко. Он стальной, говорю вам, прямо-таки стальной. Если б я не знал, что это невозможно,

я сказал бы, что он находится под действием кого-то наркотика.

— Я знаю, что это за наркотик, — сказал начальник тюрьмы, — это его окаянная сила воли. Держу пари, что он вбил себе в голову, будто может ходить босиком по раскаленным углям, как гавайские жрецы с южных озер.

Может быть, это слово «жрецы» я унес с собой сквозь мрак нового полета во времени, может быть, это был только намек, вероятнее же всего, это оказалось простым совпадением. Как бы то ни было, я очнулся на неровном каменном полу и почувствовал, что лежу на спине, причем мои руки скрещены таким образом, что локоть одной покоится в ладони другой. Лежа так с закрытыми глазами, очнувшись наполовину, я стал тереть локти ладонями и убедился, что на них были ужасные мозоли. В этом не было ничего удивительного. Я принял эти мозоли как нечто привычное, само собой разумеющееся.

Я открыл глаза. Убежищем мне служила небольшая пещера не более трех футов высотой и двенадцати длиной. В пещере было очень жарко. Испарина покрывала все мое тело. Капли пота сливались и образовывали небольшие ручейки. На мне не было никакой одежды, кроме грязной

тряпки вокруг бедер. Кожа моя была загорелой, красно-коричневого цвета. Я быль очень худ и смотрел на свою худобу с какой-то странной гордостью, как будто достичь ее было подвигом. Особенно восхищали меня торчавшие ребра, а лицезрение впадин между ними вызывало во мне чувство торжественной надменности или даже сознание своей святости.

Мои колени были тоже все в мозолях, как и локти. Меня покрывала грязь. Борода, когда-то, очевидно, белокурая, а теперь пятнистая от грязи, лежала спутанным колтуном на груди. Мои длинные волосы, тоже грязные и спутанные, спускались до плеч, отдельные пряди их постоянно падали мне на лицо и мешали видеть, что вынуждало меня время от времени отбрасывать их назад рукой. Однако обычно я довольствовался тем, что смотрел сквозь них, как смотрит дикое животное сквозь чащу.

За узкой щелью входа в мое темное подземелье ослепительно сияло солнце. Понемногу я подполз к выходу и в еще более неудобной позе повалился на ярко освещенный солнцем узкий каменный выступ. Оно буквально обожгло меня, это ужасное солнце, и чем больше причиняло оно мне страданий, тем больше я наслаждался им или,

скорее, собою, — восхищался тем, что я господин своей плоти и выше всех ее требований и жалоб.

Все замерло от зноя. Ни малейшее дуновение ветерка не колебало поверхность реки, на которую я иногда смотрел. В сотнях футах ниже меня медленно текла широкая река. Противоположный берег, плоский и песчаный, тянулся далеко к горизонту. Возле воды виднелись группы пальм.

На моем берегу, изъеденном изгибами реки, высились разрушающиеся утесы. Дальше на равнине я мог видеть четыре колоссальные фигуры, высеченные в первобытной скале; человек обычного роста доходил бы им лишь до лодыжки. Четыре колосса сидели, кистями рук касаясь колен, предплечья их были совершенно разрушены; они глядели на реку, по крайней мере, трое из них. От четвертого же остались лишь нижние конечности до колен да огромные, покоящиеся на них ладони. У ног его притаился до смешного маленький сфинкс. Но и этот сфинкс был выше меня. Я смотрел с презрением на эти высеченные фигуры и плевал в их сторону. Я не знал, кто они, забытые ли боги или цари. Но для меня они являлись лишь символами суеты и ничтожности земных людей и земных желаний.

И над всеми этими изгибами реки, течением

воды и обширной пустыней поднимался золотой свод неба без единого облачка.

Часы проходили, а я продолжал жариться на солнце. Но временами я забывал о зное и своих мучениях, предаваясь снам, видениям и воспоминаниям. Я знал, что все это, — разрушающиеся колоссы, и река, и песок, и солнце, и золотое небо — исчезнет в мгновение ока. В любой момент могут прозвучать трубы архангелов, звезды упадут на землю, небеса свернутся, как свиток, и явится всемогущий Господь Бог со своей ратью для последнего суда.

Так глубоко я в это верил, что приготовился к этому высокому событию. Вот почему я был здесь, в лохмотьях, в грязи и нищете. Я был кроток и смирен и презирал плотские потребности и страсти. И я думал с презрением и даже некоторым злорадством о далеких городах на равнине, которые, как я знал, в своем великолепии и сладострастии, позабыли о том, что последний день так близок. Да, они это скоро увидят, но слишком поздно для них. И я увижу, но я готов. И под их стоны и вопли я поднимусь, возрожденный и прекрасный, и займу справедливо заслуженное место в Царствии Божием.

Временами, между снами и грезами, в которых

я уже видел себя в Царствии Божием, я перебирал в уме старые споры и разногласия.

Привлекало меня учение моего возлюбленного учителя Ария. Поистине, если человеческий разум вообще может судить о чем-нибудь, должно было быть такое время — в силу моего понятия об отношении сына и отца, — когда Сын еще не существовал. Само понятие Сына предполагает момент его рождения. Отец должен быть старше сына. Утверждать иное было бы хулой и умалением Бога.

И в воспоминаниях я вернулся к годам своей молодости, когда сидел у ног Ария, который жил в Александрии и у которого было отнято епископство богохульным еретиком Александром. Александр был еретиком, и преисподняя ждала его.

Да, я был на Никейском соборе и видел все там происходившее. Я помню, как император Константин изгнал Ария за его прямодушие. И я помню, как Константин раскаялся из государственных и политических соображений и приказал Александру — другому Александру, трижды проклятому епископу Константинопольскому, — принять обратно Ария в церковь завтра же. И разве не умер Арий в ту же ночь на улице?

Они говорили, что это странная болезнь погубила его в ответ на молитву Александра к Богу. Но я утверждал, как утверждали все мы, ариане, что ужасная болезнь была следствием яда, который дал ему сам Александр, епископ Константинопольский и дьявольский отравитель.

Здесь я прижал свое тело теснее к острым камням и пробормотал убежденно вслух:

— Пусть смеются иудеи и язычники. Пусть торжествуют, ибо их час близок. И для них не будет другого времени.

Я долго говорил вслух сам с собою на этом каменном выступе, выходившем на реку. Я был в лихорадке и временами пил понемногу воду из вонючего козьего меха. Этот козий мех я вешал на солнце, чтоб зловоние кожи усиливалось и чтобы вода не была освежающе холодной. На полу моего подземелья в грязи лежала и моя пища — немного корешков и кусок заплесневелой ячменной лепешки, и хотя я был голоден, я все же не ел.

Весь этот благословенный и длинный день я только и делал, что жарился на солнце, обливаясь потом, и терзал свою тощую плоть о камни, глядел на полуразрушенные статуи, тревожил старые воспоминания, сны снов, и вслух бормо-

тал свои мысли.

И когда солнце село, в короткие сумерки я бросил последний взгляд на мир, которому было суждено так скоро погибнуть. У ног колоссов я смог различить силуэты животных, которые паслись возле когда-то величавых произведений рук человеческих. Под звериный рев я с ворчанием вполз в мою пещеру и отдался лихорадочным видениям, молясь, чтобы конец света наступил скорее, а затем погрузился во мрак сна.

Сознание вернулось ко мне в одиночке. Четверо мучителей стояли вокруг меня.

— Богохульный и еретический начальник тюрьмы Сен-Квентин, ноги которого почти касаются преисподней, — стал я издеваться над ними, выпив воды, поднесенной к моим губам. — Пусть тюремщики и их подручные торжествуют. Час их близок, и для них не будет отсрочки.

— Он не в своем уме, — решил Азертон.

— Он издевается над вами, — уверенно высказал свое мнение доктор Джексон.

— Но он отказывается от пищи, — запротестовал капитан Джеми.

— Он может поститься сорок дней без всякого вреда для себя, — ответил доктор.

— И я постился уже, — сказал я, — и притом еще

сорок ночей. Сделайте милость, стяните крепче рубашку и затем убирайтесь отсюда.

Староста попробовал просунуть указательный палец под шнуровку.

— Стянуть крепче нельзя ни на четверть дюйма, — заверил он их.

— Есть ли какие-нибудь жалобы, Стэндинг? — спросил начальник тюрьмы.

— Есть, — последовал мой ответ, — целых две.

— Какие?

— Во-первых, рубашка слишком свободна, — сказал я. — Хэтчинс — осел. Он мог бы затянуть ее на целый фут, если б постарался.

— А второе заявление? — спросил Азертон.

— Вы — порождение дьявола, начальник.

Капитан Джеми и доктор Джексон захихикали, а начальник тюрьмы, фыркая, вышел из моей камеры.

Оставшись один, я постарался погрузиться во тьму и вернуться к кругу повозок в Нефи. Мне было интересно узнать исход задуманного переезда нашего обоза через пустынную враждебную страну и нисколько не интересно, что стало с шелудивым отшельником с его стертыми о камни ребрами и запасом вонючей воды. И я вернулся, но не к Нилу, ни в Нефи, а…

Но здесь я должен прервать свой рассказ, читатель, чтобы разъяснить кое-что и облегчить понимание моих переживаний. Это необходимо, потому что у меня остается мало времени на свои «воспоминания в смирительной рубашке». Скоро, совсем скоро меня схватят и повесят. Но даже если бы мне предстояло прожить еще тысячу жизней, я все равно не смог бы рассказать всех подробностей того, что я испытал в рубашке. Вот почему я должен сократить свое повествование.

Во-первых, Бергсон прав. Жизнь нельзя объяснить рационально. Еще Конфуций сказал много лет тому назад: «Если мы так невежественны в отношении жизни, что можем мы знать о смерти?» А мы действительно невежественны в отношении жизни, раз не можем объяснить ее рационально. Мы воспринимаем жизнь только в ее внешних проявлениях, как дикарь — динамомашину. Но мы ничего не знаем о ней изнутри, ничего о ее внутренней сущности.

Во-вторых, Маринетти ошибается, полагая, что материя представляет собою единственную тайну и единственную реальность. Я утверждаю, и как ты, читатель, понимаешь, утверждаю с основанием, что материя есть только иллюзия. Конт называет мир, эту совокупность материй,

великим фетишем, и я согласен с Контом. Именно жизнь представляет собою реальность и тайну. Жизнь — это вовсе не простые химические реакции вещества. Жизнь постоянна. Жизнь — это огненная нить, которая остается неизменной при всех превращениях материи. Я знаю, я — жизнь. Я жил в десятках тысяч поколений. Я жил миллионы лет. Я обладал многими телами, и я, воплощенный в этих телах, всегда оставался собой. Я — жизнь. Я — неугасимая искра, вечно сверкающая в потоке времени, вечно творящая свою волю над бренными формами материи, называемыми телами, в которых я временно обитал.

Смотрите. Этот мой палец, такой восприимчивый и чувствительный, такой ловкий и умелый, такой сильный и крепкий, умеющий сгибаться и разгибаться, этот палец — не я. Отрежьте его, я останусь жив. Тело искалечено, но я не искалечен. Душа, которая есть я, цела.

Хорошо. Отрежьте все мои пальцы. Я — есть я. Душа остается цела. Отрежьте обе кисти рук. Отрежьте обе руки до плеч. Отрежьте обе ноги до бедер. А я, непобедимый и неистребимый, я останусь в живых. Разве меня станет от этого сколько-нибудь меньше? Конечно, нет. Отрежь-

те мне волосы. Отрежьте острой бритвой губы, нос, уши и вырвите глаза, и вот, изуродованный таким образом, с изуродованным, искалеченным телом, в этой клетке из плоти, останусь я, не искалеченный, не умаленный. О, сердце еще бьется. Очень хорошо. Вырежьте сердце или лучше бросьте оставшуюся плоть в машину с тысячью лезвий и разрубите ее на мелкие кусочки, — и я, понимаете ли вы, я, вся моя душа, вся моя тайна, весь мой жизненный огонь, моя жизнь угаснет. Но я не погибну. Только тело погибнет, а тело — не я.

Разве я уже не показал вам, читатель, что в предшествующие времена, обитая в разнообразных сплавах материи, я был графом де Сен-Мор, шелудивым безымянным отшельником в Египте и мальчиком Джесси, отец которого был предводителем обоза из сорока фургонов, движущегося на Запад? А также разве теперь я, пишущий эти строки, не являюсь Даррелом Стэндингом, ожидающим исполнения смертного приговора в Фолсемской тюрьме и в то же время профессором агрономии в земледельческом коллеже Калифорнийского университета?

Материя — великая иллюзия, то есть материя проявляется в форме, а форма — одна видимость.

Где теперь каменные утесы древнего Египта, на которых я когда-то отдыхал, подобно дикому животному, мечтая в то же время о Царствии Божием? Где теперь тело графа де Сен-Мора, который был пронзен насквозь на залитой лунным светом траве так много лет тому назад задирой Ги де Виллардуэном? Где теперь сорок больших повозок, поставленных в круг в Нефи, и все мужчины, женщины и дети, и тощий скот, пасшийся вне круга? Все эти вещи не долго существовали, ибо они были формами, проявлениями изменяющейся материи, нестойкими, эфемерными. Они сгинули, их больше нет.

Теперь мое доказательство становится простым. Дух — это вечная реальность. Я — дух, и я вечен. Я, Даррел Стэндинг, обитатель многих телесных оболочек, допишу еще немного строк к этим запискам и пойду своим путем. Моя форма, то есть мое тело, рассыплется, я буду повешен, и от нее ничего не останется во всем мире материи. В мире духа останется память о нем. Материя не имеет памяти, потому что ее формы мимолетны, и то, что в них запечатлено, погибает вместе с ними.

Еще одно слово, прежде чем я вернусь к своему рассказу. Во всех моих странствиях через мрак в

другие жизни, которые некогда были моими, я никогда не мог путешествовать в определенном направлении. Так, мне пришлось пережить еще несколько судеб, прежде чем мне удалось вернуться к мальчику Джесси в Нефи. Я возвращался к нему десятки раз, начиная с того времени, когда он, совсем еще малыш, жил в Арканзасе, и по меньшей мере десятки раз позднее, после того как я оставил его в Нефи. Потребовалось бы очень много времени, чтобы подробно описать все это; поэтому, стараясь не погрешить против истины, я пропущу многое, что неопределенно, расплывчато и повторяется, и предоставлю факты в том виде, в каком я собрал их, разрозненные во времени, в единое целое и воскресил в своей памяти.

Глава XIII

Задолго до рассвета лагерь в Нефи был уже на ногах. Скот погнали к водопою на пастбища. В то время как мужчины снимали цепи с колес и откатывали повозки в сторону, чтобы было удобнее запрягать, женщины готовили сорок завтраков у сорока костров. Дети в предрассветной прохладе толпились возле огня, все еще в полудреме ожидая кофе.

Требуется немало времени, чтобы снарядить в путь такой большой караван, как наш. После рассвета прошел уже час и стало заметно припекать, когда мы выехали из Нефи и двинулись дальше по песчаной пустыне. Ни один житель селения не вышел нас проводить, все предпочли остаться дома, и из-за этого наш отъезд казался столь же зловещим, каким накануне было наше прибытие.

Опять в течение долгих часов нас терзало палящее солнце и пыль, разъедающая кожу, по сторонам — лишь хворост и песок, и проклятая земля. Ни домов, ни скота, ни заборов, никакого признака рода человеческого не встретили мы за целый день; а вечером мы составили фургоны

в круг возле пересохшей реки, в сыром песке, в котором вырыли несколько ям, медленно наполнившихся просочившейся водой.

Наше последующее путешествие помнится мне как в тумане. Мы столько раз разбивали лагерь, всегда ставя фургоны в круг, что в моем детском восприятии этот путь запечатлелся как нечто бесконечное. Но все время над нами висело предчувствие, что мы идем к неминуемой и верной гибели.

Мы делали около пятнадцати миль в день, я это знаю, потому что, по словам отца, до Филмора, ближайшего мормонского поселения, было шестьдесят миль, а мы на пути к нему три раза разбивали лагерь, что означает четыре дня пути. От Нефи и до последней остановки, о которой у меня сохранилось хоть некоторое воспоминание, мы, должно быть, ехали две недели или немного меньше.

В Филморе жители были настроены враждебно, как и везде, начиная с Соленого Озера. Они смеялись над нами, когда мы просили продать нам провизию, и упрекали нас за то, что мы из Миссури.

Когда мы вошли в это селение, состоявшее из дюжины домов, перед самым большим из них

стояли две оседланные лошади, запыленные, покрытые потом и усталые. Старик, о котором я уже упоминал, с длинными, выгоревшими на солнце волосами, в оленьей куртке, который по-видимому был помощником отца, подъехал вплотную к нашей повозке и указал кивком головы на этих лошадей.

— Не пожалели лошадей, капитан, — пробормотал он тихим голосом. — И ради чего они стали бы загонять их, если не из-за нас?

Но отец уже заметил состояние животных, и я пристально посмотрел на него. Я увидел, как глаза его сверкнули, губы сжались, и суровые морщины сразу обозначились на его запыленном лице. Это было все. Но я сопоставил одно с другим и понял, что две утомленные оседланные лошади явились еще одним признаком грозившей нам беды.

— Я думаю, они следят за нами, Лаван, — только и сказал мой отец.

В Филморе я впервые увидел человека, с которым мне предстояло встретиться снова. То был высокого роста широкоплечий мужчина средних лет, обладавший, очевидно, хорошим здоровьем и большой силой не только тела, но и воли. В противоположность большинству мужчин, которых

я привык видеть возле себя, он был гладко выбрит. Потом, когда он несколько дней не брился, стало ясно, что он уже порядком седой. У него был необыкновенно большой рот с тонкими, крепко сжатыми губами, создававшими впечатление, что он потерял несколько передних зубов. Нос его был широким, прямым и толстым, так же, как и его четырехугольное лицо, широкое в скулах, с выдающимися массивными челюстями, увенчанное высоким, умным лбом.

Впервые я увидел этого человека на мельнице в Филморе. Отец и еще несколько наших мужчин пошли туда, чтобы попытаться купить муки, а я, ослушавшись матери и желая увидеть побольше наших врагов, незаметно проследовал за ними. Тот человек, о котором я говорил, в числе четырех или пяти других местных жителей стоял возле мельника во время разговора с моим отцом.

— Видели вы этого гладколицего старика? — спросил Лаван отца, когда мы возвращались в лагерь.

Отец кивнул головой.

— Это Ли, — продолжал Лаван. — Я видел его на Соленом Озере. Он настоящий шутник. Набрал себе девятнадцать жен, и они родили ему пятьдесят детей. И совсем помешан на религии. Ну

ради чего следует он за нами через эту забытую Богом страну?

Наше утомительное, злосчастное путешествие продолжалось. Небольшие поселения были разбросаны среди пустыни там, где была вода и сносная почва, на расстоянии двадцати-пятидесяти миль друг от друга. Между ними тянулись безводные, песчаные, солончаковые земли. И в каждом поселении наши попытки купить провизию оказывались тщетными. Жители грубо отказывали нам и спрашивали, кто из нас продал им пищу, когда их выгоняли из Миссури. Мы напрасно уверяли их, что прибыли из Арканзаса. Мы действительно были из Арканзаса, но они настаивали, что мы из Миссури.

В Бивере, в пяти днях пути к югу от Филмора, мы снова увидели Ли. И снова увидели оседланных лошадей, привязанных перед домом. Но мы не встретили Ли в Паровaне.

Сидар-сити был последним на нашем пути. Лаван проехал вперед, вернулся и докладывал отцу. Его новости были важны.

— Я видел, как Ли слезал с лошади, когда я подъехал, капитан. В Сидар-сити что-то многовато верховых.

Но с нами не случилось здесь ничего плохого.

Отказавшись продать нам пищу, жители оставили нас в покое. Женщины и дети выглядывали из домов, и хотя некоторые мужчины появились поблизости, но не приходили к нам в лагерь и не дразнили нас.

В Сидар-сити умер ребенок Уайнрайтов. Я помню, как миссис Уайнрайт со слезами на глазах умоляла Лавана достать хоть немного молока.

— Это может спасти жизнь ребенку, — говорила она. — У них есть молоко. Я своими собственными глазами видела молодых телят. Пойдите, пожалуйста, Лаван. Ничего плохого с вами не случится. Они могут только отказать. Но они не сделают этого. Скажите им, что это для ребенка, для крошечного, маленького ребенка. У мормонских женщин материнские сердца. Они не смогут отказать в чашке молока маленькому ребенку.

И Лаван попытался. Но, как он потом рассказывал отцу, ему не удалось увидеть мормонок. Он видел только мужчин, прогнавших его.

Это было последнее поселение мормонов. Далее тянулась обширная пустыня, по другую сторону которой лежала страна грез, легендарная земля, Калифорния. Когда наши повозки выезжали ранним утром из поселка, я, сидя возле отца на козлах, увидел Лавана, давшего волю своим чув-

ствам. Мы проехали, должно быть, с полмили и поднимались на небольшой холм, который должен был скрыть Сидар-сити из виду, когда Лаван повернул свою лошадь, остановился и привстал на стременах. Он остановился возле свежевырытой могилы, и я знал, что то была могила ребенка Уайнрайтов, — не первая наша могила с тех пор, как мы пересекли хребет Уосач.

Он казался в эту минуту настоящим заклинателем. Пожилой и худощавый, длиннолицый, со впалыми щеками, с длинными, выгоревшими на солнце волосами, падавшими до плеч на его оленью куртку, с лицом, искаженным ненавистью и беспомощным гневом, держа длинную винтовку в левой руке, он грозил правым кулаком Сидар-сити.

— Проклятие Господне да падет на всех вас, — выкрикивал он. — На ваших детей и на нерожденных младенцев. Пусть засуха уничтожит ваш урожай. Пусть вашей пищей станет песок, пропитанный ядом гремучей змеи. Пусть пресная вода ваших источников превратится в горькую соленую. Пусть…

Тут его слова заглушил стук колес. Но его тяжело вздымавшаяся грудь и поднятый к небу кулак свидетельствовали о том, что он продолжает

проклинать город. Он выражал общее чувство, обуревавшее всех в нашем караване: многие женщины, выглянув из фургонов, протягивали тощие руки и потрясали изуродованными тяжким трудом кулаками в направлении последнего мормонского поселения. Мужчина, шагавший по леску и погонявший волов позади нашего фургона, засмеялся и помахал своей палкой. Этот смех был необычным, потому что в нашем караване уже много дней не раздавалось смеха.

— Пошли их к чертям, Лаван, — подбодрял он. — Прибавь им еще от меня.

И пока наши фургоны катились дальше, я смотрел на Лавана, стоявшего на стременах у могилы ребенка. Действительно, он походил на заклинателя из-за своих длинных волос, мокасин и обшитых бахромой гетр. Его оленья куртка была так стара и изъедена непогодой, что от бывшего на ней когда-то узорчатого шитья остались лишь кое-где отдельные обрывки. Я помню, что на его поясе болтались грязные пучки волос, которые в начале путешествия после проливного дождя казались мне глянцево-черными. То были, я знал, индейские скальпы, и вид их всегда вызывал во мне содрогание.

— Это ему полезно — заметил отец, скорее

обращаясь к себе самому, чем ко мне, — я уже несколько дней вижу, что он готов сорваться.

— Я хотел бы, чтобы он вернулся с парочкой скальпов, — высказал я свое желание. Отец посмотрел на меня с усмешкой.

— Не любишь мормонов, сынок, а?

Я кивнул головой и почувствовал себя преисполненным смутной ненавистью.

— Когда я вырасту, — сказал я минуту спустя, — я пойду сражаться с ними.

— Ты, Джесси, — раздался голос матери из повозки, — закрой скорее рот. — И обращаясь к отцу, она добавила: — Как тебе не стыдно позволять мальчику говорить подобные вещи.

Двухдневное путешествие привело нас к Горным Лугам, и здесь, вдали от последнего поселения, мы впервые не составили наши фургоны в круг. Точнее, фургоны были поставлены в круг, но с большими промежутками между ними, и колеса не соединяли цепями. Мы собирались остаться тут на неделю. Скот должен был отдохнуть перед настоящей пустыней, хотя и здешний ландшафт мало от нее отличался. Те же самые низкие песчаные холмы возвышались вокруг нас, но они были кое-где покрыты кустарником. Почва была песчаной, но на ней росла трава, ее

было больше, чем где бы то ни было на нашем пути. Не далее как в ста шагах от лагеря журчал небольшой ручей, воды в котором едва хватало для людей. Но дальше в него впадали, стекая со склонов холмов, другие маленькие ручьи, и в них-то и поили скот.

Мы рано разбили лагерь в этот день, и так как предполагалась недельная стоянка, то все женщины стали перебирать грязное белье, предполагая устроить завтра стирку. Все работали до наступления ночи. В то время как одни мужчины чинили упряжь, другие поправляли кузова и железные части повозок. Здесь ковали железо, там крепили винты и гайки. Я помню, как прошел мимо Лавана, сидевшего, скрестив ноги, в тени повозки и мастерившего до наступления ночи новую пару мокасин. Он был единственным человеком во всем караване, носившим мокасины и оленью куртку, и у меня осталось впечатление, что его не было с нами, когда мы выехали из Арканзаса. У него не было ни жены, ни детей, ни собственного фургона. Ничего, кроме лошади, винтовки, одежды, которая была на нем, и пары шерстяных одеял, хранившихся в повозке Мейсона.

На следующее утро сбылись наши предчув-

ствия. Так как мы находились на расстоянии двух дней пути от последнего мормонского поселения и знали, что вокруг нет индейцев, мы, ничего не боясь со стороны последних, впервые не соединили наши фургоны цепями в плотное кольцо, не оставили сторожей возле скотины, не выставили ночных дозорных.

Мое пробуждение было похоже на кошмар, словно от удара грома. Проснувшись, я в первые минуты ничего не мог понять и лишь пытался разобраться в какофонии звуков, сливавшихся в общий шум, не прекращавшийся ни на секунду. Я слышал близкие и далекие выстрелы винтовок, крики и проклятия людей, вопли женщин и плач детей. Затем я стал различать свист пуль, ударявшихся о железную обшивку колес и нижних частей повозки.

Когда я попытался встать, мать, еще не одетая, удержала меня рукой. Отец, уже сидевший на козлах, в эту минуту впрыгнул в повозку.

— Выходите скорее. На землю! — закричал он.

Он не терял даром времени. Сграбастав меня и чуть не покалечив, он выбросил меня из фургона. Я едва успел отползти немного, как отец, мать и младенец повалились туда, где я только что находился.

— Сюда, Джесси, — приказал мне отец, и я тотчас принялся помогать ему рыть яму в песке под прикрытием колес фургона.

Мы работали как бешеные, голыми руками. Мать присоединилась к нам.

— Иди вперед и рой глубже, Джесси, — приказал отец.

Он встал и побежал куда-то в сером сумраке, отдавая на ходу приказания. (Я узнал при этом свою фамилию: меня звали Джесси Фэнчер, а моего отца — капитан Фэнчер.)

— Ложитесь! — услышал я его голос. — Укройтесь за колесами повозок и зарывайтесь в песок. Семейные, выводите женщин и детей из повозок. Поддерживайте костры! Прекратите стрельбу! Поддерживайте костры и будьте готовы отразить атаку, если придется! Холостые из правых фургонов, присоединитесь к Лавану, из левых к Кокрейну, остальные ко мне! Не вставайте, ползите!

Но в течение четверти часа нас не атаковали, продолжалась только частая и беспорядочная стрельба. Все наши потери случились в первые минуты растерянности, когда несколько рано вставших человек попали под обстрел при свете костров, которые они развели. Индейцы — ибо

Лаван узнал в нападавших индейцев — засели где-то между холмами и палили по лагерю. При свете начинающегося дня отец приготовился встретить их. Он находился недалеко от того места, где я лежал в норе с матерью, так что я слышал, как он закричал.

— Теперь все вместе!

Слева, справа и из центра лагеря наши винтовки дали дружный залп. Я быстро выглянул и насчитал несколько раненых индейцев. Их огонь немедленно прекратился, и я увидел, как они побежали со всех ног по открытому месту, таща за собой убитых и раненых.

Все у нас моментально взялись за работу. Пока мы сдвигали фургоны и сцепляли их передками внутри круга — женщины и маленькие дети выбивались из сил, помогая мужчинам, — выяснились наши потери. Прежде всего и важнее всего — наш последний скот был угнан. Возле разведенных костров лежали семеро наших мужчин: четверо были мертвы, трое смертельно ранены. Другие раненые были на попечении женщин. Маленький Рич Хардэйкр был ранен в руку пулей крупного калибра. Ему было не больше шести лет, и я глядел на него с разинутым от ужаса ртом, в то время как мать держала его на

коленях, а отец перевязывал рану. Маленький Рич старался не кричать. Я видел слезы на его щеках, когда он с удивлением смотрел на кусок сломанной кости, торчавший из его руки.

Бабку Уайт нашли мертвой в фургоне Фоксуэлла. Это была тучная, беспомощная старуха, которая ничего не делала, а только сидела и все время курила трубку. Она была матерью Эбби Фоксуэлла. Миссис Грант тоже была убита. Муж сидел возле ее трупа, он казался очень спокойным. В его глазах не было слез. Он просто сидел рядом, держа винтовку между ног, и никто не подходил к нему.

Под руководством отца все работали неутомимо, как бобры. Мужчины вырыли большую яму в центре лагеря, построив вокруг нее бруствер из выброшенного песка; в эту яму женщины носили постели, пищу и все необходимое из фургонов. Все дети помогали. Никто не хныкал, не суетился зря. От нас требовалась работа, а мы все были с пеленок приучены к работе. Большая яма предназначалась для женщин и детей. За повозками по всему кольцу вырыли неглубокую траншею с небольшим валом для мужчин, обороняющих лагерь.

Лаван вернулся с разведки. Он доложил, что

индейцы удалились на полмили и устроили шумное собрание. Он видел также, как они унесли шестерых с поля, трое из которых, говорил он, были мертвы.

Все утро этого первого дня мы время от времени замечали облака пыли и знали, что это перемещаются крупные отряды верховых. Эти облака пыли появлялись то вблизи, то вдалеке, со всех сторон. Но разглядеть что-либо сквозь эту пелену было невозможно. Лишь одно облако пыли удалилось от нас. Оно было огромным, и все решили, что это угоняют наш скот. И вот наши сорок больших фургонов, перевалившие через Скалистые Горы, пересекшие почти половину континента, стоят беспомощные. Без волов они не могли двигаться дальше.

В полдень Лаван снова отправился на разведку. Он увидел вновь прибывших с юга индейцев — это свидетельствовало о том, что мы окружены со всех сторон. Как раз в это время мы увидели дюжину белых людей, разъезжавших верхом по гребню низкого холма на востоке и смотревших оттуда на нас.

— Это объясняет дело, — сказал Лаван отцу.

— Индейцев натравили на нас.

— Это белые люди, как и мы. Почему они не

идут к нам на помощь?

— Они не белые, — пропищал я, остерегаясь материнской затрещины. — Это мормоны.

Вечером, с наступлением темноты трое наших молодых людей тайно покинули лагерь. Я видел, как они крались в темноте. То были Уил Эден, Эйбл Милликен и Тимоти Грант.

— Они пошли в Сидар-сити просить о помощи, — сказал отец матери, наскоро глотая ужин.

Мать покачала головой.

— Возле лагеря много мормонов, — сказала мать. — Если они не хотят нам помочь, а похоже на то, почему же сделают это мормоны из Сидар-сити?

— Но ведь есть хорошие и плохие мормоны… — начал отец.

— Мы до сих пор не встречали хороших, — возразила она.

Только утром услышал я о возвращении Эйбла Милликена и Тимоти Гранта. Все в лагере были подавлены их рассказом. Они втроем отошли всего на несколько миль, когда их окликнули белые люди. Лишь только Уил Эден сказал, что они из лагеря Фэнчера и идут в Сидар-сити за помощью, его схватили. Милликен и Грант убежали, чтобы сообщить об этом, и новости эти убили

последнюю надежду в наших сердцах. Белые были заодно с индейцами, и гибель, которую мы так давно предчувствовали, висела теперь над нашими головами.

Утром этого второго дня наших мужчин, ходивших за водой, обстреляли. Ручей протекал лишь в ста шагах за нашим лагерем, но дорогу к нему контролировали индейцы, расположившиеся на низком холме на востоке. Он находился как раз на расстоянии выстрела, ибо от холма до ручья было не больше двухсот пятидесяти футов. Но индейцы, очевидно, не были хорошими стрелками, потому что наши доставили воду, оставшись целыми и невредимыми.

Если не считать этой перестрелки, лагерь провел утро спокойно. Мы устроились в яме и, привычные к испытаниям, чувствовали здесь себя довольно комфортно. Конечно, плохо было семьям, потерявшим своих членов, или тем, кому надо было заботиться о раненых. Я то и дело ускользал от матери, снедаемый ненасытным любопытством, и надо сказать, что поспевал я почти всюду. Внутри лагеря, к югу от нашей ямы, мужчины выкопали могилу и похоронили в ней семерых мужчин и двух женщин. Только миссис Гастингс, потерявшая и мужа, и отца, доставля-

ла нам беспокойство. Она кричала и вопила, и другим женщинам пришлось долгое время утихомиривать ее.

На низком холме, на востоке, индейцы подняли ужасный шум и вой. Но они только изредка палили по нам, а больше ничего не предпринимали.

— Чего ждут эти негодяи? — нетерпеливо спрашивал Лаван. — Неужто они не могут решить, что им с нами сделать?

В лагере днем было жарко. Солнце пылало на безоблачном небе, и не было ветра. Мужчины, лежавшие в траншее, под повозками, находились отчасти в тени, но большая яма, в которой помещалось свыше сотни женщин и детей, оказывалась под прямыми лучами солнца. Здесь лежали также раненые мужчины, над которыми мы устроили полог из одеял. В яме было тесно и душно, и я постоянно ускользал к линии огня и много хлопотал, исполняя поручения отца.

Большую ошибку мы сделали при устройстве лагеря, поставив его так далеко от ручья. Это произошло, конечно, из-за внезапности первой атаки, когда мы не знали, как скоро за ней последует вторая. А теперь было слишком поздно. В двухстах пятидесяти футах от индейских позиций на холме мы не осмеливались разъединить наши

повозки. Внутри лагеря, к югу от могилы, мы устроили отхожее место, а к северу от большой ямы, находившейся в центре, двум мужчинам отец поручил вырыть колодец.

Ближе к вечеру второго дня мы опять увидели Ли. Он шел пешком, пересекая по диагонали луг, на северо-западе, как раз на расстоянии ружейного выстрела от нас. Отец поднял одну из материнских простыней на двух связанных вместе палках, которыми подгоняли волов, — то был наш белый флаг. Но Ли не обратил на него внимания и продолжал свой путь.

Лаван готов был выстрелить в него, но отец остановил его, говоря, что, очевидно, белые еще не решили, действовать ли с нами заодно, и выстрел по Ли может повернуть их на ложный путь.

— Поди сюда, Джесси, — сказал отец, отрывая полосу от простыни и прикрепляя ее к одной палке. — Возьми это, иди и попробуй поговорить с этим человеком. Не рассказывай о том, что происходит в лагере. Только попытайся уговорить его придти и побеседовать с нами.

Когда я собирался идти, гордый данным мне поручением, Джед Дэнхем крикнул, что он хочет идти со мной. Джед был приблизительно моего

возраста.

— Дэнхем, может ли ваш мальчик пойти с Джесси? — обратился мой отец к отцу Джеда. — Вдвоем лучше, чем одному. Они не дадут друг другу озоровать.

Таким образом, Джед и я, два малыша девяти лет, отправились с белым флагом на переговоры с предводителем наших врагов. Но Ли не захотел общаться с нами. Когда он увидел нас, то прибавил шагу. Мы не смогли приблизиться к нему так, чтобы он слышал наш голос, а спустя некоторое время он спрятался в кустах: нам больше не удалось его увидеть, хотя мы знали, что он никуда не мог отсюда деться.

Джед и я обыскали кусты на сотни ярдов кругом. Отец не сказал нам, как долго мы можем отсутствовать, и, так как индейцы в нас не стреляли, мы двинулись дальше. Мы шли уже больше двух часов, хотя, будь мы не вдвоем, вернулись бы обратно через четверть часа. Но Джед хотел перещеголять меня храбростью, а я его.

Наше легкомыслие оказалось не бесполезным. Мы смело шли с нашим белым флагом и узнали, как основательно был осажден наш лагерь. К югу от нашего каравана, не далее как в полумиле, мы обнаружили большой лагерь индейцев. За

ним, на лугу, мы видели индейских мальчиков, гарцующих на лошадях.

На восточном холме залегли индейские стрелки. Нам удалось взобраться на пригорок, так что мы могли рассмотреть их. Мы с Джедом целых полчаса считали индейцев и заключили, что их, по меньшей мере, пара сотен. Мы видели также среди них белых людей, оживленно с ними беседовавших.

К северо-востоку от нашего каравана, примерно в четырехстах ярдах от него, мы обнаружили большой лагерь белых за невысоким холмом, а за ним — пятьдесят или шестьдесят пасущихся оседланных лошадей. В миле от него к северу мы заметили облачко, которое все приближалось. Мы с Джедом стали ждать и вскоре увидели одинокого всадника, мчавшегося скорым галопом к лагерю белых.

Когда мы вернулись в наш лагерь, я первым делом получил от матери пощечину за то, что бродил так долго; но отец похвалил нас с Джедом после того, как мы отчитались.

— Теперь надо, пожалуй, ожидать нападения, — сказал Эрон Кокрейн отцу. — Человек, которого видели мальчики, прискакал туда не зря. Белые сдерживали индейцев, ожидая при-

казаний свыше. Быть может, этот человек их и привез. Лошадь бы не стали зря гонять.

Полчаса спустя Лаван попытался отправиться на разведку с белым флагом. Но он не прошел и двадцати шагов, как индейцы открыли по нему огонь и обратили его в бегство.

Как раз перед заходом солнца я сидел в яме и держал малыша, пока мать стелила постель. Нас было здесь так много, что негде было повернуться. Некоторым женщинам даже пришлось спать сидя, положив голову на колени. Справа от меня, так близко, что, протянув руку, я бы коснулся его плеча, умирал Сайлес Дэнлэн. Он был ранен в голову во время первой атаки и весь второй день был без сознания, бредил и пел. Вот одна из его песенок, которую он все время распевал, пока не довел мою мать до исступления:

Первый чертенок сказал второму:
— «Дай мне немного табаку».
Сказал второй чертенок другому:
— «Береги свои деньги, дурак,
И у тебя всегда будет табак».

Я сидел совсем рядом с ним, держа младенца на руках, когда нас атаковали. Солнце заходило, и я во все глаза смотрел на Сайлеса, который

уже был в агонии. Его жена Сара положила ему руку на лоб. Она и ее тетка Марта тихо плакали. И вот это началось — выстрелы и залпы из сотен винтовок. С востока, севера и запада, они сошлись полукругом и обрушились на нас. Все забились в большую яму. Самые маленькие дети подняли крик, и женщинам пришлось унимать их. Некоторые женщины закричали было тоже, но немногие.

Тысячи пуль были выпущены по нам в первые несколько минут. Как мне хотелось пробраться в траншею, за фургоны, где наши мужчины стреляли упорно, но беспорядочно! Каждый стрелял по собственному почину, как только замечал человека, целящегося в нас. Но мать прочла мои мысли и велела мне притаиться и не выпускать из рук младенца.

Я только бросил взгляд на Сайлеса Дэнлэна — он еще содрогался, — как тут же был убит малыш Каслтонов. Дороти Каслтон, которой самой было около десяти лет, держала его, так что малыш был убит на ее руках, а ее даже не задело. Я слышал, как говорили об этом потом, предполагая, что пуля ударилась высоко в один из фургонов и, отскочив, попала в яму. Говорили, что это чистая случайность и что мы находимся в безопасности

в нашем убежище.

Когда я снова взглянул на Сайлеса Дэнлэна, он быль мертв, и я испытал явное разочарование, потому что не смог стать свидетелем этого замечательного события. Я еще никогда не имел возможности видеть, как умирает человек на моих глазах. У Дороти Каслтон началась истерика, она долго вопила и кричала, а за ней причитать начала и миссис Гастингс. Поднялся такой шум, что отец послал Уота Кэмминга узнать, в чем дело.

Позже, в сумерки, ожесточенная стрельба прекратилась, хотя отдельные выстрелы раздавались в течение всей ночи. Двое из наших мужчин были ранены во время второй атаки, и их принесли к нам в яму. Билл Тайлер был убит на месте, и его, Сайлеса Дэнлэна и малыша Каслтонов похоронили в темноте, рядом с другими.

В продолжение всей ночи мужчины, сменяя друг друга, углубляли колодец, но дорылись только до влажного песка, а воды не было. Кое-кому из мужчин удалось принести несколько ведер воды из ручья, но эти вылазки прекратились, когда Джереми Хопкинсу прострелили кисть левой руки.

На следующее утро, на третий день, было еще

жарче и суше, чем раньше. Мы проснулись с пересохшими глотками, и никто не готовил завтрак. У нас во рту так пересохло, что мы не могли есть. Я пробовал грызть кусок черствого хлеба, что мне дала мать, но потом отказался от него. Пальба начиналась и утихала. Иногда сотни выстрелов пролетали над лагерем, иногда долго стояла тишина. Отец постоянно удерживал мужчин от напрасной траты боеприпасов, потому что они подходили к концу.

И все это время мужчины продолжали рыть колодец. Он был уже так глубок, что песок из него поднимали в ведрах. Люди, вытаскивавшие ведра, стояли на виду, и одного из них ранили в плечо. Около полудня колодец обвалился, и пришлось из последних сил откапывать тех двоих, которых засыпало землей. После этого колодец укрепили досками с повозок и оглоблями, и работа продолжалась, но все, что удавалось пока добыть, — это лишь влажный песок, хотя глубина колодца составляла уже двадцать футов. Вода не просачивалась.

В это время в большой яме творилось что-то страшное. Дети плакали, прося воды, младенцы уже осипли от крика, но продолжали кричать. Роберт Карр, тяжело раненный, лежал в десяти

шагах от меня и матери. Он был без сознания, размахивал руками и просил воды. Некоторым из женщин было почти так же плохо, и они яростно бранили мормонов и индейцев. Некоторые усиленно молились, а три высокие сестры Демдайк вместе с матерью пели евангельские гимны. Другие женщины брали песок, поднятый со дня колодца, и клали его на голые тельца малюток, пытаясь охладить их и успокоить.

Двое братьев Ферфакс не смогли больше выносить этого и с ведрами в руках проползли под фургонами, чтобы сделать набег на ручей. Вернулся только Джайлс, и когда ему помогли спуститься в яму, у него пошла кровь изо рта и он стал кашлять.

Двух неполных ведер воды не могло хватить нам, которых было больше сотни, не считая мужчин. Только младенцам, совсем маленьким детям и раненым досталось по глотку. Я не получил ни капли, но мать намочила тряпку в той ложке воды, которую ей выдали для малютки, и вытерла мне рот. Она и не подумала вытереть свой, но отдала мне эту сырую тряпку, чтобы я ее пожевал.

Положение стало еще хуже после полудня. Безмятежное солнце сияло в чистом неподвижном воздухе и превращало нашу яму в раскаленную

печь. Отовсюду раздавались выстрелы и крики индейцев. Отец позволял нашим мужчинам стрелять лишь изредка, да и то только лучшим стрелкам — Лавану и Тимоти Гранту. Но нас постоянно поливали свинцом. Однако больше ни одна пуля не залетела в яму рикошетом, и мужчины в траншее, прекратив стрельбу, лежали, притаившись на дне окопа, избегая опасности. Четверо были ранены, и лишь один из них тяжело.

Отец наведался к нам, когда стрельба затихла. Он сел возле матери и меня и несколько минут молчал. Казалось, он прислушивается к раздававшимся отовсюду стонам и крикам изнемогавших от жажды людей. Потом он вылез из ямы и пошел посмотреть, что с колодцем. Он принес только сырой песок, чтобы покрыть толстым слоем грудь и плечи Роберта Карра. Затем он направился к Джеду Дэнхему и его матери и послал за отцом Джеда, который был в траншее. Мы сидели так тесно, что если кому-нибудь надо было выйти из ямы, ему приходилось осторожно пробираться между телами спящих.

Через некоторое время отец снова спустился к нам.

— Джесси, — спросил он, — ты боишься ин-

дейцев?

Я решительно покачал головой, догадываясь, что меня хотят послать с новым важным поручением.

— А проклятых мормонов боишься?

— А проклятых мормонов — тем более, — ответил я, пользуясь удобным случаем, чтобы назвать наших врагов проклятыми и не получить от матери затрещину.

Я заметил легкую улыбку, тронувшую его поблекшие губы, когда он услышал мой ответ.

— Тогда, Джесси, — сказал он, — не хочешь ли сходить с Джедом за водой к ручью?

Я был в восторге.

— Вы оденетесь как девочки, — продолжал он, — и может быть, они не станут стрелять в вас.

Я настаивал на том, чтобы отправиться как есть, в мужской одежде, но довольно скоро сдался, когда отец сказал, что он может найти мальчика, который согласится переодеться, и пошлет его с Джедом.

Из фургона Четоксов принесли сундук. Девочки Четокс были близнецы и примерно такого же роста, как Джед и я. Женщины помогли нам переодеться в воскресные платья близнецов Четокс,

пролежавшие в сундуке весь путь от Арканзаса.

Беспокоясь за меня, мать оставила малыша с Сарой Дэнлэн и проводила меня до траншеи. Здесь, под фургоном и за невысоким бруствером, мы с Джедом получили последние наставления. Потом мы выползли на открытое место и встали. Мы были одеты совершенно одинаково: белые чулки, белые платья с широкими голубыми поясами и белые шляпы. Правая рука Джеда лежала в моей левой руке, мы крепко держались друг за друга. В свободной руке каждого из нас было по два маленьких ведерка.

— Будьте спокойны, — предостерег нас отец, когда мы сделали первый шаг. — Идите медленно. Идите, как девочки.

Не раздалось ни единого выстрела. Мы благополучно добрались до ручья, наполнили наши ведра, легли и сами как следует напились. С полными ведрами в руках мы совершили обратный путь. И по-прежнему никто не стрелял.

Я не могу вспомнить, сколько раз мы проделали этот путь — пятнадцать, а то и двадцать. Мы шли медленно, все время держась за руки, и обратно тоже шли медленно с четырьмя полными ведрами воды. Просто удивительно, как мы хотели пить. Мы то и дело приникали к воде и

утоляли жажду.

Но наши враги решили, что с нас довольно. Вряд ли индейцы стали бы удерживаться от стрельбы — все равно, по девочкам или не по девочкам, — если б не повиновались приказаниям белых, которые были с ними.

Джед и я как раз собирались в новый поход, когда с холма, занятого индейцами, прогремел выстрел, а затем и другой.

— Возвращайтесь! — крикнула мать.

Я посмотрел на Джеда, а он на меня. Я знал, что он упрям и ни за что не отступит первым. Поэтому я пошел вперед, и он сразу же последовал за мной.

— Джесси! — закричала мать, и этот крик был страшнее затрещины.

Джед предложил взяться за руки, но я покачал головой.

— Бежим, — сказал я.

И когда мы, обжигая ноги о песок, рванулись к роднику, мне показалось, что все индейцы, которые были на холме, открыли огонь. Я подбежал к ручью первым, так что Джеду пришлось ждать, пока я наполню свои ведра.

— Теперь ты беги, — сказал он мне и стал так медленно наполнять свои ведра, что я понял — он

решил во что бы то ни стало вернуться вторым.

Но я уселся и стал ждать, глядя на клубы пыли, поднимаемые пулями. Потом мы бросились назад.

— Не так быстро, — предостерег я его, — воду расплещешь.

Это задело его за живое, и он заметно замедлил шаг. На полпути я споткнулся и упал. Пуля шлепнулась прямо передо мной и засыпала мне глаза песком. Какой-то миг я был уверен, что ранен.

— Ты это сделал нарочно, — засмеялся Джед, когда я поднялся на ноги. Он стоял и ждал меня.

Я понял, что у него на уме. Он думал, что я упал нарочно, чтобы разлить воду и вернуться еще раз за ней. Соперничество между нами было серьезным делом — таким серьезным, что я и правда немедленно воспользовался открывшейся мне возможностью и побежал обратно к ручью. А Джед Дэнхем, не обращая внимания на пули, свистевшие вокруг него, стоял, выпрямившись, на открытом месте и ждал меня. Мы пошли обратно плечом к плечу, гордясь своей мальчишеской безрассудной смелостью. Но когда мы принесли воду, только в одном ведре Джеда оказалась вода, — пуля пробила дно второго.

Мать взяла у меня ведра, ограничившись вы-

говором за непослушание. Она понимала, что теперь отец не позволит ей ударить меня; когда она отчитывала меня, отец подмигнул мне через ее плечо. Никогда прежде он мне не подмигивал.

Мы с Джедом стали героями. Женщины плакали и благословляли нас, целовали и ласкали. Признаюсь, я гордился этими изъявлениями чувств, хотя, так же, как и Джед, показывал, что мне это не нравится.

Насколько я помню, остаток дня меня мучила боль в правом глазу, который засыпало песком, когда пуля чуть не попала мне в голову. Мать говорила, что глаз мой воспален и налит кровью, я каждую секунду то закрывал его, то открывал, но ничего не помогало: глаз все равно болел.

Дела пошли лучше, потому что все смогли утолить жажду, но теперь нам предстояло решить, как же добывать воду впредь. Кроме того, порох и патроны у нас были почти на исходе. Вновь осмотрев все повозки, отец сумел найти еще около пяти фунтов пороха. Этого было явно недостаточно.

Я помнил, что вчера враги атаковали нас на закате, и заблаговременно пробрался в траншею. Я устроился рядом с Лаваном. Он задумчиво жевал табак и, казалось, не замечал меня. Некоторое

время я ждал, боясь, что, обнаружив меня, он прикажет мне идти обратно. Он долго всматривался в пространство между колесами фургонов, сосредоточенно жуя табак, и затем аккуратно сплюнул его в маленькую ямку, сделанную им в песке.

— Как дела-то? — спросил я наконец. Так он обычно обращался ко мне.

— Прекрасно, — ответил он. — Замечательно, просто прекрасно, Джесси, потому что я могу снова жевать табак. Я с самого рассвета не мог жевать его, потому что было очень сухо во рту, пока вы не принесли воды.

В это время над вершиной холма, занятого белыми, показались чьи-то голова и плечи. Лаван долго прицеливался из винтовки, потом покачал головой.

— Четыреста ярдов. Нет, не стану рисковать. Я могу попасть в него, могу и не попасть, а твой папа очень уж бережет порох.

— Как думаешь, каковы наши шансы? — спросил я по-мужски, потому что после похода за водой я чувствовал себя совсем взрослым мужчиной.

Лаван помедлил с ответом; казалось, он внимательно осматривает местность.

— Джесси, я боюсь, мы очутились в проклятой

скверной дыре. Но мы из нее выберемся, мы из нее выйдем, можешь биться об заклад на последний доллар.

— Некоторые из нас все же не выйдут отсюда, — заметил я.

— Кто, например? — спросил он.

— А Билл Тайлер, миссис Грант, Сайлес Дэнлэн и остальные.

— А, пустяки, Джесси, они уже в земле. Разве ты не знаешь, что рано или поздно всем приходится хоронить своих мертвецов? Это происходит уже тысячи лет, и живых не убывает. Ты видишь, Джесси, жизнь и смерть идут рука об руку. И родится столько же, сколько умрет, я полагаю даже, что больше, потому что мы плодимся и размножаемся. Вот — тебя запросто могли сегодня убить, когда ты носил воду. Но ты здесь, жив, болтаешь со мной, а потом вырастешь и станешь отцом большого семейства в Калифорнии, где, говорят, только плодиться да размножаться.

Этот оптимистический взгляд на вещи приободрил меня, и я высказал давнее желание:

— Послушай, Лаван, предположим, что тебя здесь убьют…

— Кого, меня? — вскричал он.

— Я сказал «предположим», — пояснил я.

— Ну, тогда хорошо. Дальше. Предположим, я убит, и что?

— Отдашь ты мне тогда свои скальпы?

— Твоя мама побьет тебя, если увидит, что ты их носишь, — сказал он.

— Я не стану носить их, когда она будет близко. Но ведь, когда тебя убьют, Лаван, кому-нибудь достанутся же твои скальпы, почему же не мне?

— Почему нет? — повторил он. — Верно, почему не тебе? Ты прав, Джесси, я люблю тебя и твоего отца. Когда я умру, мои скальпы станут твоими, и нож для скальпирования тоже. Пусть Тимоти Грант будет свидетелем. Ты слышишь, Тимоти?

Тимоти сказал, что слышит, и я, лишившись дара речи от радости, лег на дно душной траншеи, охваченный огромным счастьем, даже не в силах поблагодарить Лавана.

Я проявил предусмотрительность, заблаговременно отправившись в траншею. Новое нападение на лагерь началось на закате солнца, и тысячи пуль снова засвистели над нами. Никто из наших не получил и царапины. Мы же сделали только тридцать выстрелов, однако я видел, что Лаван и Тимоти Грант уложили по индейцу. Лаван мне сказал, что с самого начала в нас стреляют только индейцы. Он уверенно

утверждал, что белые не дали ни одного залпа. Это очень смущало его. Белые не предлагали нам помощи, но и не нападали на нас, и не раз посещали индейцев.

На следующее утро мы все снова испытывали мучительную жажду. Я проснулся с первыми проблесками света. Выпала обильная роса, и мужчины, женщины и дети слизывали ее языками с оглоблей фургонов и колесных спиц.

Говорили, что Лаван вернулся из разведки как раз перед рассветом; что он близко подполз к позициям белых и увидел, что они все уже встали и при свете их лагерных костров молятся, собравшись в кружок. Он доложил еще, что из тех немногих слов, которые ему удалось услышать, он понял: они спрашивали у Бога, что им сделать с нами.

— Да пошлет им Господь просветление, — сказала одна из женщин.

— И поскорее, — прибавил кто-то, — потому что я не знаю, что мы будем делать целый день без воды, да и наш порох почти вышел.

Ничего не случилось за все утро, не прозвучал ни один выстрел. Только солнце палило в неподвижном воздухе. Наша жажда усиливалась, и скоро младенцы закричали, а младшие дети за-

плакали и захныкали. Тогда Билл Гамильтон взял два больших ведра и отправился к ручью. Но до того, как он скрылся под фургоном, Энн Демдайк подбежала к нему, обняла его и попыталась удержать. Но он сказал ей несколько слов, поцеловал и ушел. Не раздалось ни единого выстрела ни тогда, когда он шел, ни тогда, когда возвращался обратно с водой.

— Слава Богу! — воскликнула старуха Демдайк. — Это хороший знак. Бог смягчил их сердца.

Таково было мнение и большинства женщин. Около двух часов, после того как мы поели и почувствовали себя лучше, появился белый человек с белым флагом. Билл Гамильтон вышел к нему, поговорил с ним, вернулся в лагерь, о чем-то поспорил с отцом и остальными мужчинами, и потом снова направился к человеку с флагом. И тут мы заметили, что чуть поодаль стоит и наблюдает за ними другой мужчина, в котором мы узнали Ли.

Нас всех охватило волнение. Женщины почувствовали такое облегчение, что стали кричать и целовать друг друга, а миссис Демдайк и другие стали петь «Аллилуйя» и возносить хвалу Господу. Нам было предложено, под белым флагом

и под охраной мормонов, уйти с этого места, подальше от индейцев.

— Нам придется пойти на это, — сказал отец матери.

Он сидел на передке фургона, удрученный, с опущенными плечами.

— Но что, если они замышляют измену? — спросила мать.

Он пожал плечами.

— Нам придется рискнуть, может быть, они ничего не замышляют, — сказал он. — У нас закончился порох.

Мужчины сняли цепи с одного из фургонов и откатили его в сторону. Я побежал посмотреть, что будет. Появился сам Ли, а за ним двигались две большие повозки, совершенно пустые, если не считать возниц. Все столпились вокруг Ли. Он сказал, что им было нелегко удержать индейцев от нападения на нас и что майор Хигби с отрядом мормонской милиции в пятьдесят человек готов увести нас отсюда под своей охраной.

Но отцу, Лавану и некоторым другим нашим мужчинам показалось подозрительным предложение Ли сложить все наши винтовки в одну из повозок, чтоб не возбуждать против себя индейцев. Они подумают, что мы стали пленниками

мормонской милиции.

Отец выпрямился и был готов отказаться, но затем посмотрел на Лавана, который вполголоса сказал ему:

— От ружей в руках будет не больше толку, чем от ружей в повозке, ведь у нас вышел весь порох.

Двоих раненых, которые не могли идти, положили в повозки и туда же поместили всех маленьких детей. Ли, казалось, отбирал для этого тех, кому было меньше восьми-девяти лет. Джеду и мне уже исполнилось девять, к тому же мы были высоки для своего возраста, так что Ли отправил нас к группе подростков и велел нам идти с женщинами пешком.

Когда он взял у матери нашего малыша и сунул его в повозку, она сначала хотела протестовать, но потом я увидел, что она, крепко сжав губы, уступила. Моя мать была женщиной средних лет, статной, крепкой, ширококостной, сероглазой, с выразительными чертами лица. Но долгий путь и перенесенные лишения сказались на ней, поэтому щеки ее обвисли, она похудела, и с ее лица, как у всех наших женщин, не сходила печать вечной тревоги.

Когда Ли стал объяснять нам порядок, в котором мы должны были передвигаться, Лаван

подошел ко мне. Ли велел, чтобы женщины и дети постарше, следующие с ними пешком, шли впереди за двумя фургонами, а за ними — мужчины, по одному, гуськом. Когда Лаван это услышал, он подошел ко мне, снял скальпы со своего пояса и прицепил их к моему.

— Но ты еще не убит! — запротестовал я.

— Ты можешь поручиться за свою жизнь, а я нет, — ответил он весело. — Просто я изменил свое мнение на этот счет, вот и все. Носить скальпы — плохой, языческий обычай. — Он остановился на минуту, как будто что-то забыл, потом вдруг повернулся на каблуках, чтобы присоединиться к нашим мужчинам, и бросил мне через плечо: — Ладно, прощай, Джесси.

Я удивился, не понимая, почему он прощается, и тут один белый подъехал к лагерю. Он сказал, что майор Хигби послал его поторопить нас, потому что индейцы могут напасть в любой момент.

Так мы и выступили за двумя фургонами. Ли сопровождал женщин и подростков. За нами, на расстоянии в двести шагов, двигались наши мужчины. Выйдя из лагеря, мы увидели отряд милиции неподалеку. Они стояли, опираясь на свои винтовки, растянувшись цепочкой, в шести футах друг от друга. Когда мы проходили мимо

них, я невольно заметил торжественное выражение на их лицах. Как будто мы участвовали в погребальном шествии. То же самое заметили и некоторые женщины и начали плакать.

Я шел справа от своей матери, чтобы она не могла видеть моих скальпов. Сзади меня шли три сестры Демдайк, две из которых поддерживали свою престарелую мать. Я мог слышать, как Ли все время повторял людям, правившим повозками, чтоб они не ехали так быстро. Какой-то всадник наблюдал за нашей процессией, и одна из сестер Демдайк сказала, что это, должно быть, майор Хигби.

Это случилось в тот момент, когда наши мужчины поравнялись с милицией мормонов, а я обернулся, чтобы посмотреть, где Джед Дэнхем. Я услышал, как майор Хигби закричал громким голосом: «Исполняйте же свой долг!» — и тут все винтовки мормонов выстрелили, а наши мужчины пали мертвыми. Старая миссис Демдайк и ее дочери упали тоже. Я быстро повернулся, ища глазами мать, но и она уже лежала на земле. Справа из кустов выбежали сотни индейцев, стреляя в нас. Я увидел, как две сестры Дэнлэн попытались убежать, и бросился за ними, потому что белые и индейцы убивали всех без разбору.

На бегу я увидел, как возница одного из фургонов пристрелил двоих раненых. Лошади другой повозки вставали на дыбы и брыкались, а возница пытался удержать их.

В тот миг, когда маленький мальчик, каким я был тогда, побежал за сестрами Дэнлэн, мрак опустился на него. С этого момента обрываются его воспоминания, потому что Джесси Фэнчер перестал существовать как Джесси Фэнчер, навсегда. Форма, которая была Джесси Фэнчером, тело, бывшее его телом, будучи материей и видимостью, растаяла и исчезла, как призрак. Но нетленный дух не растаял. Он продолжал существовать, и в своем ближайшем воплощении получил видимое тело, известное как тело Даррела Стэндинга, которого скоро выволокут отсюда и повесят, отправив в небытие, куда отправляются все привидения.

Здесь, в Фолсеме, есть пожизненно заключенный Мэтью Дэвис, староста камеры смертников. Он уже очень стар, а его родители были одними из первых поселенцев. Я беседовал с ним, и он подтвердил, что истребление каравана, во время которого погиб Джесси Фэнчер, действительно имело место. Когда этот старик был ребенком, в его семье много обсуждали убийство на Горных

Лугах. Он утверждал, что детей в повозке оставили в живых, так как они были слишком малы, чтобы рассказать о случившемся.

Все это я представляю на ваше рассмотрение. Никогда в течение своей жизни Даррел Стэндинг не прочел ни строчки и не слышал ни слова о караване Фэнчера, погибшем на Горных Лугах. Только здесь, в смирительной рубашке, в Сен-Квентине я узнал все это. Я не мог создать это из ничего, как не могу создать динамит из ничего. Это знание и эти факты, рассказанные мною, могут иметь лишь одно объяснение: они были в душе, находящейся во мне, — в душе, которая не похожа на материю и не погибает.

В заключение этой главы я должен сообщить, что Мэтью Дэвис также рассказал мне, что несколько лет спустя после истребления каравана Ли был казнен правительством Соединенных Штатов на Горных Лугах, на месте нашего бывшего лагеря.

Глава XIV

Когда, по окончании первого десятидневного срока пребывания в смирительной рубашке, меня привел в сознание доктор Джексон, подняв большим пальцем мое веко, я открыл оба глаза и засмеялся в лицо начальнику тюрьмы Азертону.

— Слишком упрям, чтобы жить, и слишком подл, чтобы умереть, — заметил он.

— Десять дней прошли, начальник, — прошептал я.

— Ладно, мы развяжем тебя, — пробурчал он.

— Не в этом дело, — сказал я. — Вы видели мою улыбку. Вы помните, что мы держали маленькое пари. Не утруждайте себя, развязывая меня. Вместо этого дайте сперва табаку и бумаги для папирос Морреллу и Оппенхеймеру. И чтобы вы не скаредничали — вот вам еще улыбка.

— О, я знаю твои шутки, Стэндинг, — заявил Азертон. — Но ты за них поплатишься. Если я не сломаю тебя, ты побьешь все рекорды в смирительной рубашке.

— Он уже побил их, — сказал доктор Джексон. — Кто слышал когда-нибудь о человеке, который смеялся бы после десятидневного пре-

бывания в рубашке?

— Ладно, ерунда, — ответил начальник тюрьмы Азертон, — развяжи его, Хэтчинс.

— Зачем так спешить? — спросил я, разумеется, шепотом, потому что ослаб настолько, что должен был напрячь всю волю, которая еще оставалась во мне, и последние остатки моих сил, чтобы говорить даже шепотом. — К чему такая спешка? Я не тороплюсь на поезд — и мне настолько удобно, что лучше бы вы меня не трогали.

Но они меня развязали, вытряхнув на пол из зловонной рубахи, как какой-то неодушевленный предмет.

— Неудивительно, что ему было удобно, — сказал капитан Джеми. — Он ничего не чувствовал. Он парализован.

— Твоя бабушка парализована, — выругался Азертон. — Поставьте его на ноги, и вы увидите, что он будет стоять.

Хэтчинс и доктор поставили меня на ноги.

— Теперь иди, — приказал мне Азертон.

Не сразу может вернуться жизнь в тело, которое фактически было мертвым в течение десяти дней, и в результате я упал, скорчившись, на колени, потом повалился в сторону и ударился лбом о стену.

— Вот видите, — сказал капитан Джеми.

— Хорошо притворяется, — возразил Азертон. — Этот человек на все руки мастер.

— Вы правы, начальник, — прошептал я с пола. — Я сделал это нарочно. Это было театральное падение. Подымите меня еще раз, и я повторю его. Я обещаю хорошенько позабавить вас.

Я не стану распространяться об агонии, которую испытывал, пока возобновлялось мое кровообращение. Я уже привык к ней, и она оставила глубокие морщины на моем лице, которые я унесу с собой на эшафот.

Когда они наконец оставили меня, я пролежал оставшуюся часть дня в оцепенении и в полузабытье. Существует такая вещь, как потеря чувствительности, порожденная болью, слишком мучительной, чтобы ее можно было переносить. И я познал такую потерю чувствительности.

К вечеру я уже смог ползать по камере, но еще не в силах был подняться на ноги. Я пил много воды и очистил себя от грязи, как только мог, но только на другой день я заставил себя поесть, и то только благодаря сознательному усилию воли.

Программа, составленная для меня начальником тюрьмы Азертоном, заключалась в том, что мне следовало отдохнуть и придти в себя в тече-

ние нескольких дней, а затем, если за это время я не признаюсь, где спрятан динамит, меня снова зашнуруют еще на десять дней в смирительную рубашку.

— Сожалею, что причиняю вам так много хлопот, начальник, — сказал я ему в ответ. — Жаль, что я не умер в рубахе и не избавил вас таким образом от затруднений.

Я сомневаюсь, чтобы в ту пору я весил хоть немногим более 90 фунтов. А два года тому назад, когда двери Сен-Квентина впервые закрылись за мной, я весил 165 фунтов. Казалось невероятным, что я мог потерять еще хотя бы унцию и все-таки остаться в живых. А между тем в последующие месяцы я потерял в весе столько, что он, по моим подсчетам, приблизился к 80 фунтам. Я знаю, что когда я выскочил из одиночки и ударил надзирателя в нос, я весил 89 фунтов, потому что перед тем, как повести меня на суд в Сен-Рафаэль, меня умыли, побрили и взвесили.

Есть люди, которые удивляются чужой жестокости. Начальник тюрьмы Азертон был жестоким человеком. Он ожесточил меня и закалил, что в свою очередь воздействовало на него и еще более ожесточало. И все же ему не удалось убить меня. Понадобился закон штата Калифорния, судья,

приговоривший меня к повешению, и губернатор, отказавший в помиловании, чтобы послать меня на эшафот за удар, нанесенный кулаком тюремному надзирателю. Я буду всегда настаивать на том, что у этого надзирателя был очень, очень хрупкий нос.

Я был в то время едва держащимся на ногах скелетом, слепым, как летучая мышь. Я иногда сомневаюсь, в самом ли деле у него пошла кровь из носа. Конечно, он свидетельствовал под присягой, что это было так. Но я знавал тюремных надзирателей, которые давали еще более ложные показания.

Эду Морреллу очень хотелось поскорее узнать, как мне удался эксперимент; но когда он попытался поговорить со мной, его заставил замолчать надзиратель Смит, бывший как раз на карауле у одиночек.

— Все в порядке, Эд, — простучал я ему. — Помолчите и вы, и Джек, я вам все расскажу. Смит не может помешать вам слушать, как не может помешать мне говорить. Они уже сделали самое худшее, что могли, а я все еще здесь.

— Прекрати, Стэндинг! — проревел мне Смит из коридора, в который выходили все камеры.

Смит был особенно мрачный тип, самый

жестокий и мстительный из всех остальных надзирателей. Мы, бывало, обсуждали, не бьет ли его жена или не страдает ли он хроническим несварением желудка.

Я продолжал стучать, а он подошел к дверной решетке и уставился на меня.

— Я приказал тебе прекратить! — прорычал он.

— Виноват, — сказал я учтиво, — но у меня есть одно сообщение, которое я должен немедленно простучать. Но, позвольте вас спросить, какое вам до этого дело?

— Я… — начал он раздраженно, но осекся, доказывая, что не очень быстро соображает.

— Да-с, — подбодрял я его, — пожалуйста, что дальше?

— Я позову начальника тюрьмы, — неуверенно сказал он.

— Позовите, пожалуйста, он ведь очень очаровательный господин. Блестящий пример того утонченного влияния, которое наши тюрьмы оказывают на людей. Приведите его ко мне. Я донесу ему на вас.

— На меня?

— Да, именно на вас, — продолжал я. — Вы пристаете ко мне самым грубым и неучтивым

образом, прерывая мой разговор с другими постояльцами этой гостиницы.

И начальник тюрьмы Азертон явился. Пинком распахнув дверь, он с шумом влетел в камеру. Но я-то был в безопасности! Он уже сделал худшее, что мог. Я был вне его власти.

— Я оставлю тебя без еды, — пригрозил он.

— Пожалуйста, — ответил я. — Я привык к этому. Я не ел уже 10 дней, и как вы знаете, попытка начать есть снова причиняет только неудобство.

— Ого! Ты угрожаешь мне? Голодовкой, да?

— Простите, — сказал я голосом, исполненным вежливости. — Предложение исходило от вас, а не от меня. Постараюсь быть на этот раз логичным. Я полагаю, что вы поверите мне, когда я скажу, что вашу нелогичность мне во много раз мучительнее переносить, чем все ваши пытки.

— Перестанешь ты стучать или нет? — спросил он.

— Нет, простите, что огорчаю вас, но я чувствую слишком сильное влечение к этому занятию.

— Черт побери, я тебя снова запрячу в рубаху! — заорал он.

— Пожалуйста, я обожаю рубашку. Я дитя рубашки. Я жирею в рубашке. Посмотрите-ка на эту руку! — Я засучил рукав и показал мускулы,

такие тонкие, что, когда я их напрягал, они становились похожи на нитки. — Совсем как мышцы кузнеца, не так ли, начальник? Посмотрите на мою покатую грудь. А мой живот! Знаете, дружище, я так растолстел, что могу стать скандальным примером того, как в тюрьме закармливают людей до смерти. Остерегайтесь, начальник, а то против вас ополчатся налогоплательщики.

— Прекратишь ты стучать? — проревел он.

— Нет, благодарю вас за столь любезную заботливость. По зрелому размышлению я решил, что должен продолжать.

Он с минуту смотрел на меня, не зная, что сказать, а затем в бессильной ярости повернулся, чтобы уйти.

— Позвольте, пожалуйста, задать один вопрос.

— В чем дело? — бросил он через плечо.

— Что вы намерены предпринять?

Лицо Азертона так побагровело, что я не перестаю удивляться по сей день, что его не хватил удар.

Час за часом после позорного бегства Азертона я выстукивал всю историю моих приключений. Но Моррелл и Оппенхеймер смогли ответить мне лишь ночью, когда Джонс Горошина заступил на смену и уснул, как обычно.

— Да бредил ты просто, — простучал Оппенхеймер свое мнение.

«Да, — подумал я, — но ведь наш опыт наяву служит источником наших снов и бреда».

— Когда я был ночным посыльным, я однажды хватил лишнего, — продолжал Оппенхеймер. — И должен сказать, что видел не менее удивительные вещи, чем ты. Думаю, что все писатели прибегают к этому средству — выпивают, чтобы подогреть свое воображение.

Но Эд Моррелл, который странствовал тем же путем, что и я, хотя и с иными результатами, поверил моему рассказу. Он ответил, что когда его тело умирало в рубашке, а он сам уходил прочь из тюрьмы, он никогда не был никем иным, как Эдом Морреллом. Он никогда не переживал предшествовавших существований. Когда его дух блуждал на свободе, он всегда блуждал в настоящем. Он рассказал нам, что как только он оказывался в состоянии покинуть свое тело и увидеть его лежащим на полу камеры в смирительной рубашке, он мог сейчас же оставить тюрьму и, в настоящем, навестить Сан-Франциско и посмотреть, что происходит. Таким образом он дважды посетил свою мать, оба раза застав ее спящей. В этих блужданиях духа, по его словам, он

не имел власти над материальными предметами. Он не мог открыть или закрыть двери, сдвинуть какой-нибудь предмет, произвести шум и обнаружить свое присутствие. С другой стороны, материя не имела над ним власти. Стены и двери не служили препятствием. Сущность или реальность, которой он являлся, была мысль, дух.

— Магазин колониальных товаров на углу, через полквартала от дома моей матери, перешел в другие руки, — рассказывал он нам. — Я узнал это по новой вывеске. Мне пришлось прождать шесть месяцев после этого, пока я смог написать первое письмо матери и спросить ее об этом. И она ответила, что действительно лавка перешла к другому хозяину.

— Прочел ты эту вывеску? — спросил Джон Оппенхеймер.

— Конечно, прочел, — был ответ Моррелла. — Иначе как бы я это узнал?

— Хорошо, — простучал неверующий Оппенхеймер. — Ты можешь легко доказать свои слова, когда придет на смену порядочный надзиратель, который даст нам взглянуть на газету. Устрой, чтобы тебя запрятали в рубаху, покинь свое тело и отправься в милый старый Фриско. Проскользни к рынку, что на углу Третьей улицы, к 2–3

часам ночи, когда разносят утренние газеты. Прочти последние новости. Затем быстро вернись обратно в Сен-Квентин, прежде чем пароход с газетами пересечет бухту, и расскажи мне, что ты прочел. После этого мы попытаемся выпросить утреннюю газету у надзирателя. И если то, что ты мне сначала расскажешь, действительно будет напечатано в газете, я с тобой — до последнего вздоха.

То было хорошее испытание. Я не мог не согласиться с Оппенхеймером, что такое доказательство будет абсолютным. Моррелл сказал, что он попробует это как-нибудь, но ему не нравится сам процесс покидания тела, и он произведет этот опыт только тогда, когда его страдания в смирительной рубашке станут нестерпимыми.

— Так все вы делаете — никакой пользы не хотите принести, — критиковал нас Оппенхеймер. — Моя мать верила в духов. Когда я был мальчишкой, она вечно видела их и говорила с ними, спрашивая у них совета. Но она ни разу не добилась от них ничего хорошего. Духи были не в состоянии ей сказать, где старик мог получить работу, или найти золотые прииски, или вытащить выигрышный билет в китайской лотерее. Никаким образом. Они говорили ей только вся-

кую чушь, вроде того, что у дяди моего отца зоб, или что дед отца умер от скоротечной чахотки, или что мы переедем на другую квартиру через четыре месяца, причем последнее было крайне легко угадать, так как мы переезжали в среднем по шесть раз в год.

Я думаю, чтобы, если бы Оппенхеймер имел возможность получить законченное образование, из него вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он обладал необычайно трезвым умом, благоговея перед неопровержимыми фактами, и его логика была удивительна, хотя и слишком строга. «Докажи-ка мне это», — было его основным правилом, с которым он подходил ко всему. Он абсолютно ничего не принимал на веру. Это подметил Моррелл. Отсутствие веры и помешало Оппенхеймеру вызвать «временную смерть» в рубашке.

Ты видишь, читатель, что жизнь в одиночке была не так уж безнадежно тосклива. Такие три головы, как наши, легко могли придумать, как провести время. Возможно, что мы не позволили друг другу сойти с ума, хотя я должен признать, что Оппенхеймер гнил в тюрьме целых пять лет в полном одиночестве, пока Эд Моррелл не появился в соседней камере, и все-таки он остался

в здравом уме.

С другой стороны, было бы ошибкой думать, что жизнь в тюрьме — это дикая оргия веселых попоек и увлекательных психологических исследований.

Мы много и очень сильно страдали. Наши надзиратели были грубыми животными — ваши наемные палачи, граждане. Окружающая нас обстановка была ужасна. Наша пища была скверной, однообразной и не питательной. Только люди, обладающие силой воли, могут жить при таком недостаточном питании. Я знаю, что наш премированный скот, овцы и свиньи на университетской опытной ферме в Дэвисе захирели бы и умерли, если бы получали такие ничтожные порции, как мы.

У нас не было книг. Даже наше перестукивание являлось нарушением правил. Мир фактически не существовал для нас. Мы жили скорее в мире духов. Оппенхеймер, например, никогда не видел ни автомобилей, ни мотоциклов. Если новости и проникали к нам случайно, то такими устаревшими, противоречивыми и порой утратившими смысл, что уже не были настоящими новостями. Оппенхеймер рассказал мне, что он узнал о Русско-японской войне только через два года после

ее окончания.

Мы были погребенными заживо, живыми мертвецами. Тюрьма была нашей могилой, в которой при случае мы говорили при помощи стука, как духи на спиритических сеансах.

Новости? Какие пустяки являлись для нас новостями! Появился новый пекарь — мы поняли это сразу, как только принесли хлеб. Почему мы не видели Джонса Горошины целую неделю? Был в отпуске или болел? Почему Уилсона, продежурившего у нас в ночной смене только десять дней, перевели в другое место? Где получил Смит синяк под глазом? Мы рассуждали целую неделю о таких пустяках, как эти.

Если в одиночку на месяц сажали какого-то заключенного, это становилось для нас целым событием. И все же нам ничего не удавалось узнавать от этих зачастую тупоголовых Данте, которые задерживались в нашем аду на слишком короткое время, чтобы научиться перестукиваться, а потом снова отправлялись в широкий светлый мир живых.

Но были у нас развлечения и повеселее. Например, я научил Оппенхеймера играть в шахматы. Представьте себе всю трудность этой задачи — при помощи перестукивания научить челове-

ка, находящегося за тринадцать камер от тебя, представлять себе шахматную доску, все фигуры, усвоить различные способы игры, и научить его всему этому настолько хорошо, чтобы он и я, исключительно в воображении, могли в итоге разыгрывать целые партии. В конце концов, сказал я, вот еще одно доказательство блестящего ума Оппенхеймера: в результате он стал играть лучше меня — он, который никогда не видел шахматных фигур за всю свою жизнь.

Например, какой возможный образ принимал в его мозгу слон, когда я стучал слово «слон» на нашем условном языке? Напрасно я задавал ему этот вопрос. Напрасно пытался он описать словами это умственное представление о том, чего он никогда не видел, но с чем, тем не менее, он так мастерски управлялся, что неоднократно ставил меня в тупик во время игры.

Я могу лишь созерцать такие проявления воли и духа и заключить на их примере, что именно в этом — действительная реальность. Только дух существует. Плоть же эфемерна и не реальна. Я спрашиваю вас, как материя или плоть в какой бы то ни было форме может играть в шахматы, на воображаемой доске, с воображаемыми фигурами, на расстоянии тринадцати пустых камер,

только при помощи перестукивания?

Глава XV

Я был однажды англичанином — Адамом Стрэнгом. Я жил, насколько я могу судить, приблизительно в период между 1550 и 1650 годами. Как видите, это было очень давно. С тех пор как Эд Моррелл научил меня умирать «временной смертью», я стал очень жалеть, что не изучал историю более прилежно. Я мог бы тогда установить и определить многое из того, что мне не ясно. Теперь же я принужден идти ощупью и угадывать века и места моих прежних существований.

Странно, что, воплощаясь в Адама Стрэнга, я собрал так мало сведений о первых тридцати годах его жизни. Много раз в смирительной рубашке рождался Адам Стрэнг, но всегда он появлялся как высокий солидный мужчина, в полном расцвете своих 30 лет.

Адам Стрэнг неизменно являлся моему сознанию живущим на одном из низких песчаных островов где-то под экватором, в западной части Тихого океана. Там я, Адам Стрэнг, находился у себя дома и, кажется, жил там с давних пор. Эти острова населены тысячами жителей, но белый только я один. Туземцы представляют собой

великолепную породу людей — широкоплечих, высоких, с развитыми мускулами. Мужчина шести футов роста — обычное явление. Рост короля Раа-Коока — по меньшей мере шесть футов шесть дюймов, и хотя он весит целых 300 фунтов, его нельзя назвать толстым, так пропорционально он сложен. Многие из вождей не ниже его, да и женщины не намного отстают от мужчин.

Этим королевством, состоящим из многочисленных островов, правит Раа-Коок, хотя южные острова непокорны и при случае бунтуют. Туземцы, с которыми я живу, — полинезийцы, я знаю это, потому что у них прямые черные волосы. Кожа их горячего, солнечного золотисто-коричневого цвета. Их язык, на котором я говорю совсем свободно, плавный, богатый и музыкальный, состоящий преимущественно из гласных. Они любят цветы, музыку, танцы и игры и по-детски просты и веселы в своих забавах, хотя они же бывают безудержны в гневе и на войне.

Я, Адам Стрэнг, знаю свое прошлое, но, по-видимому, не много думаю о нем. Я живу настоящим. Я не размышляю ни о минувшем, ни о будущем. Я беззаботен, не предусмотрителен, неосторожен, весел от полноты существования и от избытка физических сил. Рыба, фрукты, зелень и морские

водоросли наполняют мой желудок, и я доволен. Я занимаю высокий пост при Раа-Кооке, и нет никого выше меня рангом. Никто, даже Абба Таак, верховный жрец, не смеет поднять на меня руку или оружие. Я — табу, такой же священный, как лодочный сарай, под которым лежат кости множества королей династии Раа-Коока.

Я знаю, что произошло кораблекрушение и я остался один, потеряв всех моих товарищей-матросов. Был страшный шторм, бушевал ветер. Но я не хочу вспоминать эту катастрофу.

Когда я думаю о прошлом, то охотнее оглядываюсь на свое детство, на те времена, когда я цеплялся за юбки моей веселой матери, англичанки с льняными волосами и молочно-белой кожей. Я жил в крошечной деревушке из дюжины покрытых тростником хижин. Я снова слышу пение черного дрозда за изгородью и снова вижу в дубовом лесу колокольчики, похожие на брызги голубой пены на зеленом бархатном дерне. Но чаще всего я вспоминаю большого косматого жеребца, который бился и вставал на дыбы, когда его водили по узким улицам. Я боялся огромного животного и всегда бежал с плачем к матери, а если находил ее, то хватался за ее юбки и прятался в них.

Но довольно. Не о детстве Адама Стрэнга собрался я писать.

Я жил уже несколько лет на островах, которые для меня не имели названия и где, я в этом уверен, я стал первым белым. Я был женат на Леи-Леи, сестре короля, которая была чуть выше шести футов и даже слегка превосходила меня ростом. Я был настоящим красавцем — широкоплечим, с мускулистой грудью, хорошо сложенным. Как вы увидите, женщины любой расы смотрели на меня благосклонным взглядом. Глядя на свои руки, я вижу не покрытую загаром кожу, такую же молочно-белую, как у моей матери. У меня синие глаза. Мои усы, борода и волосы — того золотисто-желтого оттенка, который иногда можно увидеть на картинах, изображающих викингов. По всей видимости, я происходил из старинного рода, давно осевшего в Англии, и хотя я родился в деревенской лачуге, власть соленого моря была настолько сильна надо мной, что я скоро нашел к нему путь, став моряком. Вот кем я был — не офицером, не джентльменом, а матросом торгового судна, честным работягой, крепко сложенным и очень выносливым.

Я был полезен Раа-Кооку и потому пользовался его королевской протекцией. Я умел ковать же-

лезо, а первое железо попало в страну Раа-Коока с нашего затонувшего корабля. Мы плыли на лодках тридцать миль к северо-западу, чтобы добыть железные снасти с обломков корабля. Он соскользнул с рифа и погрузился на пятнадцать саженей. Туземцы были великолепными ныряльщиками и умели работать под водой. Я тоже научился спускаться на глубину в пятнадцать саженей, но все-таки никогда не мог сравниться с ними в их подводных подвигах. На земле, благодаря моей английской выучке и силе, я мог повалить любого из них. Также я научил их драться дубинками, и эта забава так им понравилась, что разбитые головы стали тут заурядным явлением.

После кораблекрушения на берег выбросило обрывок судового журнала, но он весь размок и растрепался, и так по нему растеклись чернила, что едва можно было прочитать написанное. Однако в надежде, что какой-нибудь ученый-историк сможет точно определить дату тех событий, которые я собираюсь описать, я привожу здесь выдержки из него. Старинное правописание может послужить ключом.

«Благодаря благоприятному ветру мы смогли осмотреть и высушить нашу провизию, в особен-

ности китайские окорока и сухую рыбу, которые составляют часть наших съестных припасов. Богослужение также удалось совершить на палубе. Вечером ветер подул с юга, со шквалами, но без дождя, и на следующее утро мы отдраили палубу, а также окурили наш корабль порохом».

Но я должен поспешить, так как мой рассказ будет не об Адаме Стрэнге, потерпевшем крушение на коралловом острове, искателе приключений, а об Адаме Стрэнге, которого прозвали У Ен Ик, Могучий, и который был некоторое время фаворитом могущественного Юн Сана и возлюбленным, а затем мужем благородной госпожи Ом из царского дома Мин. О том, который затем долго скитался, как нищий и пария, по всем прибрежным деревням и дорогам Чосона. (Ах да, я сказал «Чосон», что значит «Страна утренней свежести», но на современном языке она называется Корея.)

Вспомните, что я, первый белый человек на коралловом острове Раа-Коока, жил три или четыре века тому назад. В те времена и в тех водах корабли были редки. Я бы, конечно, мог прожить до конца своих дней в мире и полном достатке под солнцем той страны, где никогда не бывало мороза, если бы не «Спарвер». «Спарвер» — это судно отважных голландских купцов, отправив-

шихся в открытое море к Индии и дальше. И вместо сокровищ они нашли меня — и только.

Сказал ли я, что я был добродушным великаном с золотой бородой и вместе с тем беспечным мальчиком, который так никогда и не вырос? Когда бочонки «Спарвера» были наполнены водой, я покинул Раа-Коока почти без угрызений совести, оставив его приветливую страну и Леи-Леи со всеми ее сестрами, украшенными цветами. С улыбкой на губах, вдыхая знакомый корабельный запах, я поплыл прочь, снова став мореплавателем на судне, где капитаном был Иоганес Мартенс.

Чудесные странствования ждали меня на старом «Спарвере»! Мы искали новые страны, где можно было купить шелка и пряности, а нашли лихорадку, ужасную смерть, отравленный мир, где смерть и красота шли рука об руку.

Этот старый Иоганес Мартенс, без следа романтизма на угрюмом лице и в квадратной седой голове, искал земли царя Соломона, копи Голконды, разыскивал древнюю затонувшую Атлантиду, которую надеялся обнаружить, проплывая мимо по течению.

Вместо этого он нашел людоедов, живущих на деревьях.

Мы высадились на странных островах с изрезанными морем берегами и с дымящимися вершинами вулканов, где курчавые маленькие звероподобные люди испускали в джунглях обезьяньи крики, рассыпали отравленные колючки на лесных тропинках, устраивали волчьи ямы и пускали в нас из полумрака безмолвных джунглей отравленные дротики. И тот, в кого впивался такой дротик, как жало осы, умирал страшной и мучительной смертью. Также мы сходились в открытом бою на побережье с другими, более свирепыми и крупными людьми, вооруженными копьями и стрелами, в то время как большие деревянные барабаны и маленькие тамтамы гремели, возвещая войну, в лесных теснинах, а все холмы дымились сигнальными огнями.

Хендрик Хэмел был нашим суперкарго и одним из владельцев «Спарвера», а вторым был капитан Иоганес Мартенс. Последний немного говорил по-английски, Хендрик Хэмел владел этим языком несколько лучше. Матросы же, с которыми мне приходилось иметь дело, говорили только по-голландски.

Наконец мы прибыли в зачарованную страну Японию. Но ее жители не пожелали иметь с нами дело, и два чиновника с мечами у пояса, в

длиннополых шелковых халатах (при виде этих шелковых халатов у Иоганеса Мартенса потекли слюнки), пришли к нам на корабль и вежливо попросили нас убраться прочь. Их слащавые манеры скрывали стальную волю воинственной расы, и мы это поняли, почему и отправились своей дорогой.

Мы пересекли Японский пролив и вошли в Желтое море, держа курс на Китай, когда наш «Спарвер» разбился о скалы. Старый «Спарвер» был ветхим корытом, неуклюжим и грязным, с вечно пьяным экипажем, он потерял уже всякую маневренность. При самой благоприятной погоде, на всех парусах он мог делать только шесть узлов. При этом он болтался вверх и вниз, как выброшенная в море тыква. Лавировать было немыслимо; для того чтобы повернуть «Спарвер», нужны были усилия всей команды на протяжении полувахты. И вот такая посудина была подхвачена береговым ветром, направление которого внезапно изменилось на восемь румбов, после того как отчаянный ураган трепал нас в течение сорока восьми часов.

В холодном свете грозового рассвета нас погнало к берегу, к неприступной, нависающей над морем вершине горы. Был конец зимы, и за ды-

мящимися сугробами снега мы могли разглядеть побережье, если только это можно было назвать побережьем, таким изрезанным оно было. Я видел острова со страшными утесами, бессчетные маленькие островки, а позади — мрачные, покрытые снегом цепи гор, и всюду торчали утесы, столь острые, что на них не держался снег, а также мысы и уступы скал, выступающие в бурлящее море.

Эта страна, к которой мы подъехали, не имела названия, никогда ее не посещало ни одно судно. В нашей морской карте ее береговая линия была едва намечена.

Все, что мы знали о ней, это то, что ее обитатели были так же негостеприимны, как тот маленький кусочек их земли, который мы видели.

«Спарвер» наткнулся носом на скалу. В этом месте вода была слишком глубокой для его кривого дна, так что наш обращенный к небу бушприт погнулся от столкновения и отлетел. Передняя мачта сдвинулась на борт со страшным треском канатных вантов, остановилась и снова упала вперед на скалу.

Я всегда восхищался старым Иоганесом Мартенсом. Смытые огромной волной с кормы, мы были выброшены на нижнюю часть палубы,

откуда стали пробивать дорогу вперед к крутому, колыхавшемуся в килевой качке носу с баками. К нам присоединилось еще несколько матросов. Укрепившись на носу, мы стали считать головы. Нас было всего восемнадцать. Остальные погибли.

Иоганес Мартенс дотронулся до моего плеча и показал наверх, где над бьющей каскадом соленой водой выступал хребет скалы. Я понял, чего он хочет. Передняя мачта раскололась и терлась о гребень скалы. Над гребнем была расселина. Он хотел знать, решусь ли я прыгнуть с носовой мачты в расселину. Расстояние между ними то увеличивалось до двадцати футов, то уменьшалось до шести. Это был бы настоящий подвиг, потому что мачта шаталась, как пьяная, в боковой качке, вместе с корпусом судна, по которому перекатывались разбитые в щепки корабельные бочки.

Я начал взбираться. Но матросы не ждали. Один за другим следовали они за мной по опасной мачте. И действительно, надо было торопиться, потому что в любую минуту «Спарвер» мог погрузиться на дно.

Я прикинул расстояние, прыгнул и, попав в расселину, вскарабкался на скалу, готовый

протянуть руку тем, кто прыгнет после. Но это произошло не скоро. Мы все вымокли в воде и здорово замерзли на этой прогулке под ветром. Кроме того, прыжки должны были быть соразмерены с качкой корпуса и с колебаниями мачты.

Повар прыгнул первый. Он зацепился за конец мачты и упал, повернувшись в воздухе, как колесо. Морские волны подхватили его тело и разбили о скалу. Юнга, бородатый парень лет двадцати с небольшим, не смог удержаться, соскользнул с мачты, съехал вниз и был раздавлен о гребень утеса. Раздавлен!

Он мигом испустил дух. Двух других постигла участь повара. Капитан Иоганес Мартенс шел последним, и он стал четырнадцатым из тех, кому удалось достичь расселины. Час спустя «Спарвер» сорвался с рифа и пошел ко дну.

Два дня и две ночи просидели мы, близкие к гибели, на этом утесе, потому что оттуда не было дороги ни вверх, ни вниз. Наконец на третий день нас нашла рыбацкая лодка. Мужчины все были в белых грязных лохмотьях, и их длинные волосы были завязаны странным узлом на затылке — брачным узлом, как я узнал впоследствии. Также я узнал, что очень удобно хвататься за этот узел одной рукой, когда бьешь другой по голове,

если словесные аргументы уже не действуют.

Лодка отплыла в деревню за помощью, и много потребовалось крестьян и их усилий, да и много дней прошло, прежде чем они смогли нас спустить. Это был бедный, жалкий народ, и их пища с трудом могла удовлетворить даже желудок морского бродяги. Их рис был коричневым, как шоколад, плохо очищенным, с кусочками мякины и каким-то неизвестным мусором, из-за чего они часто прерывали трапезу, чтобы засунуть в рот большой и указательный пальцы и вытащить несъедобный кусок. Они употребляли в пищу также нечто вроде проса и различные маринады необычайно разнообразных сортов, которые обжигали язык.

Их жилища с земляными стенами покрывала солома. Под полом были проложены дымовые трубы, через которые выходил кухонный дым, по пути отапливая спальное помещение. У них мы остановились и пробыли четыре дня, утешаясь их слабым и безвкусным табаком, который мы курили из трубок в ярд длиною с крошечным чубуком на конце. Туземцы пили теплый кисловатый напиток, похожий на молоко и пьянящий, только если его пить в колоссальных дозах. Я выпил целые галлоны его и затянул песню — со-

всем напился: такова уж судьба всех моряков на свете. Ободренные моим успехом, другие тоже последовали моему примеру, и скоро мы все громко орали, не заботясь о том, что на дворе разыгралась снежная буря, мало обеспокоенные тем, что потерпели крушение в Богом забытой стране, которой нет даже на картах. Старый Иоганес Мартенс хлопал себя по ляжкам и смеялся вместе с нами. Хендрик Хэмел, хладнокровный, уравновешенный голландец, брюнет с черными, как бусины, глазами, тоже вдруг разошелся и стал раздавать серебро направо и налево, как и некоторые пьяные матросы, — в уплату за реки молочного варева. Наше веселье было буйным, но женщины снова и снова посылали за этим напитком, в то время как вся деревня, столпившаяся в помещении, наблюдала за нашими выходками.

Белый человек покорил весь свет, и я думаю, это стало возможным только благодаря его безумной беззаботности. Это его способ властвовать, хотя, конечно, его подводят упрямство и жадность. Как бы то ни было, капитан Иоганес Мартенс, Хендрик Хэмел и остальные двенадцать моряков бахвалились и горланили в рыбачьей деревушке, в то время как зимний шторм свистал над Желтым морем.

То немногое, что мы увидели в стране Чосон, не произвело на нас впечатления. Если эти несчастные рыбаки были типичными представителями местного населения, тогда становилось ясно, почему эту страну не посещали моряки. Но нам пришлось узнать и нечто другое. Деревня находилась на первой от материка линии островов, и ее староста, очевидно, отправил гонцов на материк, потому что в одно прекрасное утро три большие двухмачтовые джонки с парусами из рисовых циновок бросили якорь у взморья.

Когда китайские лодки причалили к берегу, капитан Иоганес Мартенс очень обрадовался, так как увидел на туземцах шелка. Стройный кореец, весь в пестрых шелках нежной расцветки, был окружен полудюжиной рабски покорных прислужников, также одетых в шелковую одежду. Квон Юн Дин (так его звали, как я потом узнал) был человеком знатного рода; в то же время он был кем-то вроде судьи или губернатора провинции.

Целая сотня солдат высадилась на берег и направилась в деревню. Они были вооружены трезубыми копьями, лопатообразными копьями и пиками; там и сям виднелись кремневые ружья таких страшных размеров, что каждое

обслуживали по два солдата. Один был нужен для того, чтобы нести и устанавливать сошку, на которой покоилось дуло ружья, а другой — чтобы нести само ружье и стрелять из него. Как я узнал, ружье иногда стреляло, иногда нет. Все зависело от трута и пороха в полке.

Так прибыл к нам Квон Юн Дин. Старейшины деревни рабски пресмыкались перед ним, и не без причины, как мы скоро убедились. Я вышел вперед, как переводчик, поскольку знал уже несколько десятков корейских слов. Он нахмурился и знаком показал мне, чтобы я отошел в сторону. Но почему я должен был повиноваться ему? Я был так же высок, как и он, и весил на целых двадцать пять фунтов больше, и моя кожа была белой, а волосы золотистого цвета. Он повернулся и обратился к одному из старейшин, а его шесть одетых в шелк телохранителей растянулись в цепь между нами. В то время как он говорил со старейшиной, множество солдат тащили с корабля на берег доски на своих плечах. Они были приблизительно длиной в шесть футов и шириной в два фута и странным образом расщеплены до половины своей длины. Ближе к одному из концов находилось отверстие, чуть шире человеческой шеи.

Квон Юн Дин отдал приказание. Несколько солдат приблизились к Тромпу, который сидел на земле и разглядывал болячки на ногах. Тромп этот был немного туповатым, медленно соображающим и медленно двигающимся моряком, и прежде чем он понял, что происходит, одну из досок, похожую на ножницы с отверстием, набросили на него и сомкнули вокруг шеи. Догадавшись, что случилось, Тромп заревел как бык и стал отбиваться, и солдаты вынуждены были отступить, чтобы их не задело вертящимся концом его доски.

Тогда началась суматоха, потому что Квон Юн Дин, очевидно, собирался засадить нас всех в эти доски. О, мы дрались голыми кулаками с сотней солдат и со столькими же крестьянами, в то время как Квон Юн Дин стоял в стороне с выражением горделивого презрения на лице, весь в шелках. Вот тогда-то я и заслужил свое прозвище У Ен Ик, Могучий. Долго еще дрался я после того, как мои товарищи сдались и были засажены в доски. Мои кулаки были тверды, как молот кузнеца, и я был полон решимости использовать их как можно лучше.

К моей радости, я скоро убедился, что корейцы не знают кулачного боя и не имеют ни малейшего

понятия, как уберечься от ударов. Они падали на землю, как кегли, ложась кучей один на другого. Квон Юн Дин уже был почти в моих руках, но его спасло только вмешательство его телохранителей. Они были вялыми созданиями. Я превратил их в кашу, а их шелка — в грязь и лохмотья, прежде чем они успели обернуться против меня. А их было так много! Мои кулаки просто завязли в этой гуще, потому что задние давили на передних и не давали им пятиться. И как же я их отделал! Под конец они лежали кучей у меня под ногами в три слоя. Но когда подоспел экипаж трех джонок и большая часть деревенских жителей, они все же взяли верх надо мной. И засадить меня в доски было нетрудно.

— Боже мой, что теперь будет! — воскликнул Вандервут, один из морских бродяг, когда нас втащили в джонку.

Мы сидели на открытой палубе, похожие на связанных птиц, когда он задал этот вопрос. И вдруг, спустя минуту, джонка накренилась под ветром, и мы скатились вместе с досками и со всем остальным вниз по палубе, обдирая шеи. А с высокой кормы Квон Юн Дин смотрел поверх нас, как если бы он нас вовсе не видел. Много лет спустя мы вспоминали Вандервута: «Как-то теперь

Вандервут?» Бедняга, он замерз однажды ночью на улицах Кейдзе, так как все двери закрывались перед его носом.

Когда мы прибыли на материк, нас бросили в вонючую, кишевшую насекомыми тюрьму. Так нас встретил Чосон. Но мне суждено было отомстить Квон Юн Дину за каждого из нас, как вы дальше увидите, в те дни, когда госпожа Ом была благосклонна ко мне и когда власть находилась в моих руках.

Мы пролежали в тюрьме много дней. Потом мы узнали причину этого. Квон Юн Дин послал гонца в Кейдзе, чтобы узнать королевское решение относительно того, что с нами делать. Тем временем мы стали зверинцем. С рассвета до сумерек наши решетчатые окна осаждали туземцы, потому что до тех пор они не видали ни одного представителя нашей расы. Но не только чернь посещала нас. Дамы, возлежащие в паланкинах на плечах у кули, являлись смотреть на странных дьяволов, которых изрыгнуло море. В то время как их телохранители отгоняли чернь хлыстами, они смотрели на нас долго и смущенно. Мы их не могли разглядеть, потому что, согласно обычаю их страны, их лица были закрыты. Только танцовщицы, гулящие женщины и старухи пока-

зывались на улицах с открытыми лицами.

Я часто думаю, что Квон Юн Дин страдал несварением желудка и когда его болезнь обострялась, он вымещал это на нас. Ни с того ни с сего, без причины и без вины, когда ему это пришло в голову, нас всех вытащили на улицу перед тюрьмой и здорово поколотили палками к великому ликованию толпы. Азиаты — жестокие звери и наслаждаются зрелищем человеческих страданий.

Во всяком случае, мы были очень довольны, когда нас прекратили избивать. И это только благодаря тому, что прибыл Ким. Ким! Что о нем сказать? Никого благороднее его я не встречал в этой стране. Он был капитаном отряда в пятьдесят воинов, когда я познакомился с ним. Он стал начальником дворцовой стражи, и я сделал для него все, что мог. И в конце концов он умер за меня и за госпожу Ом.

Немедленно после того, как он приехал, доски были сняты с наших шей и нас поместили в лучшую гостиницу, какой город мог похвалиться. Мы все еще были пленниками, но уже почетными пленниками, с караулом в пятьдесят верховых солдат. На другой день мы отправились по королевской дороге: четырнадцать матросов верхом

на низеньких лошадках, обычных в Чосоне, двинулись прямиком в Кейдзе. Император, как сказал мне Ким, выразил желание посмотреть на диковинных морских дьяволов.

Это путешествие заняло много дней, нам пришлось проехать полстраны с севера на юг. В первый же день на привале я полюбопытствовал, чем кормят лошадей. И то, что я увидел, заставило меня воскликнуть «Что теперь будет, Вандервут?» так громко, что сбежалась вся наша команда. Клянусь вам своей жизнью, лошадей они кормили бобовым супом, горячим бобовым супом. Таков обычай страны.

Это были настоящие карликовые лошадки. Побившись об заклад с Кимом, я поднял одну из них и, несмотря на то что она отчаянно брыкалась и ржала, поставил прямо себе на плечи, так что люди Кима, которые уже слышали мое новое имя, тоже стали меня называть У Ен Ик, то есть Могучий. Ким был высоким человеком, какими бывают корейцы, которые вообще представляют собой высокую мускулистую расу, а Ким еще этим гордился. Но когда мы с ним поставили локоть к локтю и сцепили ладони, я без труда уложил его руку на стол. И его солдаты и ротозеи-крестьяне смотрели на нас и бормотали: «У Ен Ик».

Мы были очень похожи на странствующий зверинец. Молва о нас неслась впереди, так что весь народ из деревень выбегал толпой к дороге, чтобы посмотреть на нас. Это была бесконечная цирковая процессия. В городах по ночам наши стоянки осаждала толпа, и мы не имели покоя, пока солдаты не отгоняли зевак пинками и остриями копий. Но сперва Ким вызывал самых сильных зевак побороться со мной, ради потехи, чтобы увидеть, как я их превращу в комок и повалю в грязь.

У них совсем не было хлеба, и мы ели белый рис (питательность которого невелика), мясо, которое, как мы решили, было собачьим (это животное обыкновенно идет на бойню в Чосоне), и безбожно острые маринады, которые мы чрезвычайно не любили. И у них был напиток, настоящий спиртной напиток, не молочное питье, а белая крепкая жидкость, перегнанная из риса, пинта которой могла убить слабака, а сильного человека довести до безумия. В обнесенном стеной городе Чонхо я сумел, однако, перепить Кима и городскую знать, уложив их под стол или вернее — на стол, потому что столом служил нам пол, на котором мы сидели на корточках, отчего судороги без конца сводили мои ноги. И снова все

бормотали: «У Ен Ик, Могучий», и молва о моей доблести разнеслась далеко вперед — до Кейдзе, достигнув королевского двора.

Я был скорее почетным гостем, нежели пленником, и неизменно ехал возле Кима; мои длинные ноги почти доставали до земли, иной раз утопая в грязи. Ким был молод! Ким был человечен! Ким был великолепен! Он был бы своим человеком везде, во всякой стране. Мы с ним болтали, шутили и смеялись весь день и полночи. И я действительно выучил язык. Я имел к этому особые способности. Даже Ким удивился, как быстро я овладел его наречием. И я научился корейской точке зрения, корейскому юмору; узнал слабые места корейцев, их щепетильность. Ким научил меня песням цветов, песням любовным и застольным. Одна из последних была его собственного сочинения, и я привожу здесь ее конец в своем переводе. В юности Ким и Пак дали зарок воздерживаться от напитков, но их клятва вскоре была нарушена. В старости Ким и Пак поют:

Нет, нет, прочь!.. Налей еще!
Я хочу еще вина!
Ну-ка, стой-ка, старина!
Где вина мне продадут?

Там, где персики цветут, в саду?
Ну прощай, а я туда иду.

Хендрик Хэмел, изворотливый пройдоха, всячески поощрял мои усилия, которые принесли благосклонность Кима не только мне, но через меня — и Хендрику Хэмелу, и всей нашей компании. Я упоминаю здесь о Хендрике Хэмеле как о моем советчике, потому что он сыграл большую роль в том, что произошло в Кейдзе, помогая мне завоевать благосклонность Юн Сана, сердце госпожи Ом и милость императора. У меня была воля, и выдержка, и упорство, и даже немного находчивости, но гораздо большей находчивостью обладал Хендрик Хэмел, в чем я открыто признаюсь.

Так продвигались мы к Кейдзе, от одного обнесенного стеной города к другому, через снежные горные страны, прорезанные возделанными плодородными долинами. И каждый вечер, на склоне дня, один за другим на вершинах гор вспыхивали сигнальные огни. И всегда Ким внимательно вглядывался в эти ночные сигналы. Со всех побережий Чосона, как сказал мне Ким, эти цепи сигнальных огней тянулись к Кейдзе, чтобы принести весть императору. Одна вспыш-

ка означала, что в провинции все спокойно; две — значит, бунт или набег врагов. Но мы всегда видели только одну вспышку. И все время, пока мы ехали, Вандервут тащился сзади, беспрестанно спрашивая: «Господи, что теперь будет?»

Кейдзе оказался большим городом, где все население, за исключением родовитой знати, было одето в неизменный белый цвет. По объяснению Кима, это было внешним признаком касты, служившим как бы предупреждением: с первого взгляда можно было судить о положении, занимаемом каждым человеком, смотря по степени чистоты его одежды. Очевидно, что кули, имеющий только ту одежду, которая есть на нем, должен быть очень грязным. Очевидно также, что человек в белоснежном платье должен иметь несколько смен одежды и нанимать прачку, чтобы добиться такой белизны. Что же касается знати, носившей бледные разноцветные шелка, то они были выше этого.

Мы провели в гостинице несколько дней, в течение которых мы чистили наши костюмы и латали их, поскольку они сильно истрепались во время кораблекрушения и путешествия; и вскоре нас призвали к императору. На большой открытой площади перед дворцовой стеной ле-

жали колоссальные каменные изваяния собак, больше похожих на черепах. Они лежали ничком на массивных каменных пьедесталах, вдвое превышавших человеческий рост. Дворцовые стены были огромны и сделаны из узорного камня. Так крепки были эти стены, что могли, наверное, выдержать обстрел самой большой пушки в течение года. Одни только ворота были величиной в добрый дворец и походили на высокую пагоду со ступенчатой крышей, причем каждая ступень была покрыта черепицей. Отряд рослых солдат стоял у ворот. Это были, как сказал мне Ким, «охотники за тиграми» из Пхеньяна, самые свирепые и страшные бойцы, которыми только мог похвастаться Чосон.

Но довольно! Одному описанию императорского дворца вполне можно было бы посвятить тысячу страниц моего повествования. Здесь же будет достаточно сказать, что, увидев его, мы увидели могущество в его материальном воплощении. Только древняя и высокоразвитая цивилизация могла породить эту обнесенную стеной, увенчанную бесчисленными гребнями крыш резиденцию королей.

Но не в зал для аудиенций привели нас, морских бродяг, а на праздничный пир. Он уже

заканчивался, и все присутствующие находились в весьма веселом настроении. Но каковы были гости! Высокие сановники, принцы крови, опоясанная шпагами знать, бледные священники, высшие офицеры с обветренными загорелыми лицами, придворные дамы, раскрашенные *кисан,* или танцовщицы, которые развлекали гостей, прислужницы, евнухи, лакеи и целые толпы дворцовых рабов.

Все, однако, расступились, когда император со свитой приблизился к нам, чтобы поближе рассмотреть. Это был веселый монарх, особенно для Азии. Ему было не более сорока лет, светлая, бледная его кожа никогда не знала солнца. Брюхо его отвисло, а ноги были слабыми и тонкими. Все-таки когда-то он был красивым мужчиной. Благородный лоб свидетельствовал об этом. Но глаза были тусклые, с набрякшими веками, а губы подергивались и дрожали из-за разных излишеств, которым он предавался. Эти излишества, как я узнал, вполне одобрял и даже разделял с ним Юн Сан, буддийский монах, о котором я расскажу после.

В нашей видавшей виды матросской одежде мы представляли собой забавное зрелище, и забавным было окончание нашего приема. Не-

обычный для туземцев, странный наш вид дал повод к смеху. Кисан окружили нас, сделав нас своими пленниками, и стали танцевать с каждым, с некоторыми — по две-три девушки. Они плясали с нами, как с дрессированными медведями, заставляя нас делать всякие трюки. Это было оскорбительно. Но что могли сделать бедные моряки? Что мог поделать старый Иоганес Мартенс со стаей смеющихся девушек, щиплющих его за нос, за руки, щекочущих его ребра так сильно, что он начал подпрыгивать? Чтобы избежать такого мученья, Ганс Эмден вышел на свободное пространство и пустился в пляс, неуклюже откалывая голландский танец до тех пор, пока весь двор не покатился со смеху.

Все это было особенно унизительным для меня, который привык быть равным Киму, быть его веселым товарищем в течение нескольких дней. Я не обращал внимания на смеющихся кисан. Я выпрямился, твердо упершись в пол ногами и скрестив руки: никто ни толчком, ни щипками не мог заставить меня сойти с места, так что меня оставили в покое, устремившись к более легкой добыче.

— Ради Бога, дружище, задай им, — пробормотал Хендрик Хэмел, который очутился возле меня,

отбиваясь от трех волочащих его назад кисан.

Он с трудом произнес эти слова, потому что каждый раз, когда он открывал рот, чтобы говорить, они набивали его сладостями.

— Спаси нас от этого дурачества, — настаивал он, приседая, чтобы увернуться от наполненных сладостями ладоней. — Мы должны иметь достоинство, понимаешь ты, достоинство. Это погубит нас. Они сделают из нас прирученных зверей, игрушку. Когда же мы им надоедим, они нас выбросят вон. Наведи порядок. Поколоти их. Убери их. Прикажи им уважать нас, уважать всех нас…

Последние слова были едва слышны, потому что в это время кисан набили ему рот так, что он стал бессловесным.

Как я говорил, у меня была воля и неустрашимость, и я ломал голову, думая, как бы вывернуться. Один из дворцовых евнухов, пощекотавший сзади мою шею пером, заставил меня вздрогнуть. Я уже привлек внимание своей невозмутимостью и неприступностью для атак кисан, так что многие глядели на нас с евнухом. Я не подал знака, не сделал ни одного движения, пока точно не соразмерил его. Затем, не повернув ни головы, ни тела, только одной рукой я отвесил ему удар наотмашь, который грянул как выстрел.

Костяшки пальцев как раз попали ему по щеке и скуле. Раздался треск, похожий на треск мачт под напором шторма… Он покатился кубарем и упал в толпу, отлетев на двенадцать шагов от меня.

Теперь уже не было смеха, а только крики удивления, бормотание и шепот: «У Ен Ик». Снова я скрестил руки и стоял с надменным видом, который старательно напускал на себя. Я верю, что я, Адам Стрэнг, имел склонность к актерскому мастерству. Чтобы судить об этом, взгляните на то, что произошло дальше. Все взгляды были теперь прикованы ко мне, и я гордо и высокомерно встречал их, заставляя всех опускать глаза или отворачиваться. Всех, кроме одной… Это были глаза молодой женщины, которая, как я определил по роскоши ее наряда и по свите из полудюжины женщин, вертевшихся за ее спиной, была знатной придворной дамой. И в самом деле, то была госпожа Ом, принцесса из дома Мин. Была ли она молода? Она была как раз моего возраста — тридцати лет и, несмотря на свою зрелость и красоту, была еще не замужем, как я узнал потом.

Она одна смотрела мне в глаза, не мигая, до тех пор пока я не отвернулся. То не был взгляд свысока, потому что в ее глазах не было ни вызова, ни враждебности, а только удивление. Я не собирал-

ся принять такое поражение от слабой женщины, и когда мои глаза скользнули по группе моих товарищей, которых все еще преследовали по пятам кисан, я нашел выход. Я захлопал в ладоши, как делают азиаты, когда отдают приказание.

— Немедленно прекратите! — крикнул я на их языке, используя форму обращения к подчиненным.

О, у меня была хорошая глотка и здоровая грудь, и я мог издать такой звериный рык, который едва не повреждал барабанные перепонки. Я ручаюсь, что никогда такое громкое приказание не потрясало священного воздуха императорского дворца.

Большой зал замолк в оцепенении. Перепуганные женщины сжались в кучку, прячась одна за другой. Кисан отпустили моряков и отступили прочь, трусливо хихикая. Только госпожа Ом не сделала ни знака, ни движения, продолжая смотреть своими широко раскрытыми глазами в мои глаза, которые вернулись к ней.

— Он говорит на нашем языке, — промолвил наконец император, и клянусь, что весь зал одновременно испустил вздох.

— Я родился с этим языком на устах, — ответил я необдуманно, хватаясь своей мореплаватель-

ской смекалкой за первую глупость, которая пришла мне в голову. — Я говорил на нем еще у груди матери. Я был чудом в моей стране. Мудрые мужи приходили издалека, чтобы посмотреть на меня и послушать меня. Но ни один человек не понимал слов, которые я говорил. Спустя много лет я забыл многие из них, но теперь, в Чосон, слова возвращаются ко мне обратно, как давно потерянные друзья.

Я, конечно, произвел впечатление. Император принял все на веру, и губы его дрожали, когда он спросил:

— Как ты это объясняешь?

— Случайностью, — ответил я, следуя извилистому пути, избранному моей прихотью. — С рождения боги не позаботились обо мне, и я был брошен в далекую страну и взращен чужеземным народом. Я же — кореец, и теперь наконец я вернулся на родину.

Мои слова вызвали возбужденные перешептывания и переговоры. Сам император обратился с расспросами к Киму.

— Он все время был таким, с нашим языком на устах, с того самого времени, как явился из-за моря, — солгал Ким, так как он был славный парень.

— Подайте же мне одежды янбана, как подобает мне, — перебил я, — и вы увидите.

И когда меня с почтением повели переодеваться, я обернулся к кисан:

— Оставьте моих рабов в покое. Они прибыли издалека и очень устали. Они все мои верные рабы.

В другой комнате Ким помог мне переодеться, отправив прочь лакеев, и быстрым и кратким был урок одевания, который он дал мне. Он знал не больше меня, что из этого выйдет, но он был славный парень.

Забавно то, что когда я вернулся назад и продолжал разглагольствовать на корейском языке, который, как я заявлял, давался мне теперь с трудом из-за долгого отсутствия практики, Хендрик Хэмел и остальные моряки, не имевшие способностей, чтобы выучить новое наречие, не понимали ни слова из того, что я говорил.

— Это все мои рабы, — сказал я, когда император спросил меня о моих товарищах. — Все за исключением этого старика, — и я указал на Иоганеса Мартенса, — сына свободного человека. — Я приказал приблизиться Хендрику Хэмелу. — Вот этот, — хвастал я, — родился в доме моего отца, от раба, который тоже родился там. Он очень

близок мне. Мы одного возраста, родились в один и тот же день, и в этот самый день мой отец отдал мне его.

Впоследствии Хендрик Хэмел очень рассердился, когда понял, что я о нем рассказывал, и когда я ему во всем признался, он сильно упрекал меня.

— Масло уже налито в огонь, Хендрик, — сказал я. — Все, что я сделал, было следствием моей глупости и необходимости сказать что-нибудь. Но дело сделано. Ни ты, ни я не можем извлечь масло. Поэтому мы должны играть наши роли, и как можно лучше.

Брат императора, Тай Бун, был дурак из дураков, и когда пришла ночь, он пригласил меня на попойку. Император был в восторге и приказал дюжине знатных олухов сопровождать его на оргию. Женщинам приказали удалиться, а мы присоединились к императору. Я взял Кима с собой, но отослал Хендрика Хэмела и остальных моряков, хоть он и хмурился грозно, предварительно потребовав и получив помещение во дворце вместо гостиницы.

На другой день весь дворец только и делал, что болтал о пиршестве, потому что я перепил Тай Буна и всех его придворных, уложив их на циновки, а сам без всякой помощи дошел до

своей кровати. Никогда в дни превратностей, которые наступили после, Тай Бун ни на минуту не усомнился в моем корейском происхождении. Только кореец, по его мнению, мог обладать такой крепкой головой.

Дворец был целым городом, и нам отвели помещение, бывшее чем-то вроде летнего дома, который стоял совсем отдельно. Конечно, мои покои были самыми роскошными, а Хендрик Хэмел и Мартенс со всеми остальными ворчащими моряками должны были довольствоваться тем, что им досталось.

Меня позвали к Юн Сану, буддийскому монаху, о котором я упоминал. Это была наша первая встреча. Он отправил прочь даже Кима, и мы сидели одни на толстых циновках в затемненном помещении. Господи, Господи, каким недюжинным умом обладал Юн Сан! Он старался проникнуть в мою душу. Он знал о других странах и городах то, что никто в Чосоне и не мечтал знать. Поверил ли он мне? Я не мог догадаться, потому что лицо его было так же непроницаемо, как бронзовый шар.

Что за мысли были у Юн Сана, знал только Юн Сан. Но в нем, в этом бедно одетом, худощавом монахе я чувствовал власть: похоже, именно он

управлял дворцом и всей страной. Я чувствовал также по направлению разговора, что он нуждается во мне.

Меня пригласила госпожа Ом, и, последовав за евнухом с гладким лицом и кошачьей походкой, я прошел через притихший дверец, окольным путем, в ее покои.

Голова моя кружилась. Морской бродяга, каким я был, не умел себя держать с женщинами, а я чувствовал, что в ее приглашении было нечто большее, чем праздное любопытство. Я слышал много историй о любви простолюдинов и королев и был в недоумении — не суждено ли мне доказать, что такие россказни правдивы.

Госпожа Ом не теряла времени даром. Кругом нее толпились ее женщины, но она обращала на их присутствие столько же внимания, столько возница на своих лошадей. Я сел возле нее на одну из толстых циновок, которые превращали ее комнату в ложе, и мне были поданы вино и сладости на крошечных, не выше фута, столиках, инкрустированных жемчугами.

Господи, Господи, я мог лишь смотреть в ее глаза! Но подождите. Не сделайте ошибочного заключения. Госпожа Ом не была глупа. Я уже сказал, что она была моей ровесницей. Ей было

тридцать лет, и она несла всю тяжесть этого возраста. Она знала, чего хочет, как знала, чего не хочет. И вот поэтому-то она не вышла замуж, хотя все давление, которое только может оказать азиатский двор, было пущено в ход для того, чтобы заставить ее выйти замуж за Чон Мон Дю, ее младшего двоюродного брата из великой династии Мин. Он был не дурак и так жадно стремился к трону, что беспокоил Юн Сана, который силился сохранить за собой всю власть и удержать во дворце и стране равновесие сил. Таким образом, Юн Сан, бывший в тайном союзе с госпожой Ом, спас ее от ее кузена, помогая ей подрезать его крылья. Но довольно об этой интриге. Я гораздо позже узнал о ней из слухов и сплетен, но главным образом от самой госпожи Ом.

Госпожа Ом была исключительной женщиной. Такие, как она, рождаются редко, едва две в столетие на всем земном шаре. Она не знала оков законов или условностей. У нее была собственная воля, а сердце чисто женское. Она была красавица, да, красавица, по принятым в любой части света понятиям. Ее большие черные глаза не были по-азиатски раскосыми. Они были удлиненными, черными, посаженными правильно, со слегка поднятыми уголками, в чем как раз и

была вся их пикантность.

Я сказал, что она не была глупа. Запомните это. Очутившись в таком необычном положении — морской бродяга в покоях принцессы, влюбленный и трепещущий, — я ломал свою голову, крепкую голову моряка, как выйти с честью из затруднения. И в эту первую нашу встречу я снова стал говорить о том, что было известно уже всему дворцу, то есть что я был настоящим корейцем и что во мне текла кровь древней династии Коре.

— Оставь, — сказала она, ударив меня по губам своим павлиньим веером. — Брось свои детские сказки. Знай, что со мной тебе будет лучше и ты сможешь подняться выше любого принца Коре. Ты…

Она сделала паузу, и я ждал, наблюдая, как в ее глазах растет решимость.

— Ты мужчина, — закончила она. — Даже во сне не мечтала я никогда, что есть на белом свете такой мужчина, как ты.

Господи! Господи! Что мог сделать бедный моряк? Этот замечательный моряк, я признаюсь, покраснел, несмотря на весь свой морской загар, но тут глаза госпожи Ом стали озерами-близнецами, вызывающе прекрасными и лукавыми, и мои руки потянулись, чтобы обнять ее. Она

засмеялась дразнящим и манящим смехом и хлопнула в ладоши, позвав своих прислужниц. И я понял, что свидание окончено на этот раз. И я понял также, что будут другие свидания, что должны быть другие свидания.

Когда я вернулся к Хэмелу, у меня кружилась голова.

— Женщина, — промолвил он после долгого раздумья. Он посмотрел на меня и вздохнул от зависти, в этом я не мог ошибиться. — Это все твои мышцы, Адам Стрэнг, твоя бычья шея и желтые волосы. Ладно, это игра, дружище. Играй, и все будет хорошо для нас. Играй, а я буду тебя учить как.

Я встал на дыбы. Да, я был морской бродяга, но я был и мужчина. И ни одному мужчине я не хотел позволить давать мне наставления, как завоевать женщину. Хендрик Хэмел мог быть в свое время владельцем старого «Спарвера», разбираться в мореходстве и вести корабль по звездам, мог быть великим книжником, но здесь я не хотел признавать его превосходства.

Его тонкие губы растянулись в усмешке, и он спросил:

— Как тебе понравилась госпожа Ом?

— Очень хороша, даже более чем хороша, если

хочешь это знать.

— Тогда стань ее любовником, — распорядился он. — И в один прекрасный день мы раздобудем корабль и сбежим из этой проклятой страны. Я отдам половину всех шелков Индии за тарелку христианской еды.

Он пристально посмотрел на меня.

— Как ты думаешь, получится у тебя это? — спросил он. Я посмотрел на него вызывающе. Он улыбнулся, удовлетворенный.

— Только не торопись слишком, — посоветовал он. — Поспешишь — людей насмешишь. Назначь себе цену. Будь скуп на благосклонность. Заставь ее дорого оценить твою бычью шею и золотые волосы, которых у тебя, слава Богу, достаточно. А ведь это с точки зрения женщины стоит больше, чем мозги дюжины философов.

Следующие дни были странными, головокружительными. Мои аудиенции у императора, оргии с Тай Буном, беседы с Юн Саном и часы, проведенные с госпожой Ом… Кроме того, по приказанию Хэмела я целыми днями просиживал у Кима, изучая все мелочи дворцового этикета, историю и религию Кореи, манеру вежливого разговора, язык знати и язык простолюдинов. Никогда ни одному морскому волку не приходилось

так много учиться. Я был марионеткой. Марионеткой Юн Сана, которому я был зачем-то нужен, марионеткой Хэмела, замыслившего такую сложную и глубокую интригу, что без него я бы в ней утонул. Только с госпожой Ом я был мужчиной, а не марионеткой… и однако… и однако, когда я оглядываюсь назад и обдумываю прошлое, у меня возникают сомнения. Я думаю, что госпожа Ом тоже добивалась своего, желая меня всем своим сердцем. Однако тут ее желания совпали с моими, потому что и она скоро стала моей страстью, и так неудержима была эта страсть, что ни ее воля, ни воля Хендрика Хэмела или Юн Сана не могли заставить меня выпустить ее из рук.

Как бы то ни было, тем временем я был вовлечен в дворцовую интригу, смысла которой сам не мог понять. Я мог уловить только ее направление, не больше — против Чон Мон Дю, знатного кузена госпожи Ом. Я не забивал себе этим голову, предоставив инициативу Хендрику Хэмелу. Ему я доносил каждую мелочь, которая случалась, когда его не было со мной, а он, сидя целыми часами во мраке с нахмуренным лбом, как терпеливый паук, распутывал узлы и ткал заново паутину. Он настоял на том, чтобы сопровождать меня повсюду в качестве телохранителя, и только Юн

Сан иногда отсылал его. Конечно, я не позволял ему присутствовать на свиданиях с госпожой Ом, но в общих чертах рассказывал ему все, что там происходило, за исключением того, что не было его делом.

Я думаю, что Хэмел был рад оставаться в тени и играть тайную роль. Он был очень хладнокровен и рассчитал все так, что рисковал только я. Если я преуспею, то преуспеет и он. Если же я провалюсь и погибну, он может улизнуть, как хорек. Я уверен, что он рассуждал именно так, и все-таки в конце концов это его не спасло, как вы увидите.

— Поддержи меня, — сказал я Киму, — и что бы ты ни пожелал, будет твое. Чего ты хочешь?

— Я хотел бы командовать пхеньянскими Охотниками за тиграми, стать начальником дворцовой стражи, — ответил он.

— Подожди немного, — сказал я. — Ты будешь ими командовать. Я это обещаю.

Каким образом я выполню свое обещание, — это не интересовало меня. Но тот, кто не имеет ничего, может раздавать царства, и я, не имевший ничего, обещал Киму сделать его капитаном дворцовой стражи. Самое интересное, что я исполнил свое обещание. Ким стал командовать Охотниками за тиграми, хотя это привело его к

печальному финалу.

Хитрости и интриги я предоставил Хэмелу и Юн Сану, которые были политиками. Я же был просто мужчина и любовник, и моя жизнь была гораздо веселее. Представьте себе хорошо сложенного, жизнерадостного, беззаботного моряка, не желающего знать ничего о прошлом и о будущем, обедающего с императором и вдобавок — любовника принцессы. И на моей стороне были такие головы, как Хэмел и Юн Сан, которые составляли планы и исполняли их за меня.

Не однажды Юн Сан почти угадывал чужой разум за моими действиями и словами, но когда он пробовал прощупать Хэмела, тот изображал тупого раба, в тысячу раз меньше интересующегося делами государства и политикой, чем моим здоровьем и удобствами. И он многословно выражал свое беспокойство по поводу моих пьяных состязаний с Тай Буном. Я знаю, что госпожа Ом догадывалась, в чем дело, но держала это при себе; не моей души желала она, а, как говорил Хэмел, мою бычью шею и золотые волосы.

Я не буду рассказывать подробно о том, что происходило между нами, хотя госпожа Ом в настоящее время превратилась уже в прах. Но ее нельзя забыть, потому что когда мужчина и

женщина стремятся друг к другу, головы могут падать с плеч и королевства рушиться, а они все-таки будут вместе.

Наконец стали поговаривать о нашем браке. Сначала тихонько, совсем тихонько, как сплетничают во дворце в темных углах евнухи и служанки. Но сплетни кухонных поварят часто доползают до трона. Скоро поднялась настоящая кутерьма.

Поскольку невозможно, чтобы принцесса вышла замуж за морского бродягу, хотя бы даже претендующего на благородное древнее происхождение, но не имеющего ни власти, ни должности, ни других видимых признаков высшего класса, то был издан императорский декрет, который публично признавал меня принцем. Я был провозглашен губернатором семи провинций.

Господи! Господи! Простой морской волк отбыл на север по дороге Мандаринов в сопровождении пятисот солдат и свиты, следующей за мной! Я стал губернатором семи провинций, командующим пятидесятитысячным войском. Я волен был подарить жизнь, смерть и мучения. Я имел казначейство и казначея, не говоря о целом полке писарей. Мне служила также тысяча сборщиков

податей, которая выжимала последние медяки из трудящегося народа.

Семь провинций лежали на северных границах страны. Дальше начиналась страна, теперь называемая Маньчжурией, но у нас известная как страна Хонду, что означает «Красные Головы». Ее жители совершали дикие набеги, при случае переходя через Ялу в огромном количестве, и опустошали Чосон, как саранча. Говорили, они были людоедами. Я же знал по опыту, что они были свирепыми воинами, практически непобедимыми.

То был трудный год, полный хлопот. В то время как Юн Сан и госпожа Ом в Кейдзе добивались полной опалы для Чон Мон Дю, я создавал себе репутацию. Конечно, на самом деле за моей спиной стоял Хендрик Хэмел, а я был только подставным лицом, великолепной ширмой. Действуя через меня, Хендрик Хэмел обучил наших солдат строю и тактике, а также познакомил их с некоторыми боевыми приемами Красных Голов. Эта славная война длилась год, и кончилась она миром на северных границах, и на берегах Ялу не осталось Красных Голов, разве только мертвые.

Но вернусь к Кейдзе и госпоже Ом. Господи! Господи! Какая она была женщина! В течение

сорока лет она была моей женой. Я знаю, никто не посмел восстать против нашего брака. Чон Мон Дю, почти лишенный влияния, попавший в опалу, удалился, надувшись, куда-то далеко на северо-восточное побережье. Юн Сан получил абсолютную власть. Ночью одиночные маяки своими вспышками слали весть о мире через всю страну. Ноги императора становились все более слабыми, и глаза его гноились от излишеств и дьявольских забав, изобретенных для него Юн Саном. Мы с госпожой Ом осуществили желание наших сердец. Ким командовал дворцовой стражей. Квон Юн Дина, провинциального губернатора, который надел на нас доски и избил, когда мы потерпели здесь крушение, я лишил власти и изгнал его, чтобы он даже не смел появляться в пределах стен Кейдзе.

Да, а Иоганес Мартенс? Дисциплина въедается в кожу матроса, и, несмотря на мое новое величие, я никогда не забывал, что он был моим капитаном в дни, когда мы искали новую Индию на «Спарвере». В соответствии с моей легендой, он был единственным свободным человеком в моей свите. Остальные моряки, которые считались моими рабами, не могли добиться никакого положения в государстве. Но Иоганес мог и добивался.

Старая, хитрая лиса. Я совершенно не угадал его намерения, когда он попросил меня сделать его губернатором жалкой маленькой провинции Кендю. Кендю не была богата ни пастбищами, ни рыболовным промыслом. Подати платились с трудом, и место губернатора было здесь лишь почетным званием. Эта провинция представляла собой настоящее кладбище, потому что в горах здесь находились усыпальницы древних королей Силла. Лучше быть губернатором Кендю, чем слугой Адама Стрэнга, вот что, как мне казалось, было у него в голове. Никогда не думал я также, что он взял с собой четырех моряков по какой-то иной причине, а не из страха перед одиночеством.

Великолепны были два последующих года. Я управлял моими семью провинциями при помощи разорившихся янбанов, которых подобрал для меня Юн Сан. От меня лишь требовалось время от времени торжественно объезжать свои владения в сопровождении свиты и госпожи Ом. У госпожи Ом был летний дворец на южном побережье, который мы часто посещали. Там мы устраивали различные состязания. Я стал покровителем искусства борьбы и воскресил искусство стрельбы из лука. Также мы занимались охотой на тигров

в северных горах.

Однако Хэмел, так долго вынашивавший свои планы, был готов к действию. Его аппетиты росли. Для него Корея и стала той Индией, которую он искал. Он мало рассказывал мне о своих замыслах, но когда начал интригу, которая должна была сделать меня адмиралом корейского флота джонок, то стал подозрительно часто осведомляться о местонахождении императорской казны. И тогда я сообразил, что к чему.

Теперь я не мог покинуть Чосон без госпожи Ом. Когда я предложил ей бежать со мной, она сказала, пылко обняв меня, что я ее повелитель и куда бы я ни отправился, она последует за мной. Как вы увидите, это была правда, полная правда — то, что она произнесла.

Ошибкой Юн Сана стало то, что он оставил Чон Мон Дю в живых. Впрочем, нет, это не было ошибкой Юн Сана. Он просто не посмел поступить иначе. Оставаясь в немилости при дворе, Чон Мон Дю был тем не менее слишком популярен у провинциального духовенства. Юн Сан был вынужден оставить ему жизнь, и Чон Мон Дю, угрюмый отшельник на северо-восточном побережье, на самом деле не оставался бездеятельным. Его соглядатаи, по большей части

буддийские монахи, находились повсюду, ездили по всей стране, заставляя даже самых мелких провинциальных чиновников присягнуть на верность и преданность ему. Нужно было обладать холодным терпением азиата, чтобы задумать и исполнить такой жестокий и сложный заговор. Мощь дворцовой партии Чон Мон Дю выросла так, что Юн Сан даже вообразить себе не мог. Чон Мон Дю подкупил дворцовую стражу — Охотников за тиграми, начальником над которыми был Ким. И в то время как Юн Сан медлил в нерешительности, а я сам предавался различным увеселениям и наслаждался любовью госпожи Ом, в то время как Хендрик Хэмел окончательно выработал план ограбления императорского казначейства и когда Иоганес Мартенс придумывал собственные — вулкан заговора Чон Мон Дю даже не дымился.

Господи! Господи! Но каково было его извержение!.. Приходилось драться голыми руками, спасая свою шею. А были шеи, которые не спаслись. Чон Мон Дю слегка поторопился с осуществлением заговора. Но на самом деле Иоганес Мартенс ускорил катастрофу, и то, что он сделал, было весьма благоприятно для Чон Мон Дю и послужило ему на пользу.

Итак, слушайте. Народ Чосона фанатично почитает своих предков, а этот старый алчный морской разбойник не придумал ничего другого, как совершить набег на усыпальницы, в которых покоились в золотых гробах похороненные в древности короли древней Силлы. Дело было сделано ночью, после чего они помчались по направлению к побережью. Но на следующее утро опустился густой туман, и они не нашли дорогу к ожидавшей их джонке, которую Иоганес Мартенс тайно снарядил. Он и другие матросы были схвачены благодаря некоему местному чиновнику, одному из приверженцев Чон Мон Дю. Только Герман Тромп удрал в тумане и смог, намного позднее, рассказать мне об этом происшествии.

Этой ночью, несмотря на то что новость о святотатстве распространилась по стране и половина северных провинций взбунтовалась, Кейдзе и двор спали в неведении. По приказанию Чон Мон Дю сигнальные огни свидетельствовали о мире. И так они сигналили еще несколько ночей, в то время как днем и ночью гонцы Чон Мон Дю загоняли лошадей на всех дорогах Чосона. Мне удалось увидеть его гонца, прибывшего в Кейдзе. В сумерках, когда я проезжал через большие ворота столицы, я увидел павшую изнуренную

лошадь и истощенного путника, едва стоящего на ногах. И мне пришло в голову, что этот человек принес с собой в Кейдзе мою судьбу.

Его известие вызвало переворот. Я возвратился во дворец только в полночь, когда все было уже кончено. В девять часов вечера бунтовщики захватили императора в его собственных покоях. Они заставили его призвать немедленно правителей всех провинций, и когда они явились, их зарезали одного за другим на его глазах. Тем временем взбунтовались и Охотники за тиграми.

Юн Сан и Хендрик Хэмел были избиты рукоятями мечей и арестованы. Семь других моряков удрали из дворца вместе с госпожой Ом. У них не было возможности прихватить Кима, который сражался со своими собственными подчиненными. Они швырнули его наземь и стали топтать его ногами. К несчастью, он не умер от этого.

Как шквал ветра летней ночью, переворот отшумел и затих. Теперь Чон Мон Дю был у власти. Император утверждал все, чего он хотел. Повздыхав о святотатстве с королевскими гробницами, Чосон успокоился. Повсюду свергли губернаторов и заменили теми, кто получил назначение от Чон Мон Дю, но династия не была уничтожена.

Ну а что же случилось с нами? Иоганеса Мар-

тенса и его матросов после суда долго возили по стране, чтобы чернь плевала в них, а потом их зарыли по шею на площади перед дворцовыми воротами. Их не лишали воды, чтобы они жили долго, вдыхая пары горячих изысканных блюд, которые ставили перед ними и меняли ежечасно. Говорят, что старый Иоганес Мартенс жил дольше всех, целых пятнадцать дней.

Ким умер медленной и ужасной смертью — ему переломали все кости, одну за другой, и длилось это очень долго. Хэмел, в котором Чон Мон Дю угадал моего вдохновителя, был приговорен к казни веслом, то есть был быстро забит до смерти под восторженные крики жителей Кейдзе. Юн Сану позволили умереть достойно. Он играл в шахматы с тюремщиком, когда пришел гонец императора или, вернее, гонец Чон Мон Дю, с чашкой яда.

— Подожди минуту, — сказал Юн Сан. — Плохо тебя воспитали, если ты прерываешь шахматную партию. Я выпью яд, когда закончу ее. — Гонцу пришлось ждать, когда Юн Сан выиграет партию, и только тогда он осушил чашку.

Азиату, чтобы не впасть в тоску, необходима месть, упорная, как жизнь. Вот это-то и сделал со мной и с госпожой Ом Чон Мон Дю. Он не уничто-

жил нас и даже не заключил в тюрьму. Госпожу Ом он лишил всех титулов и владений. По всей стране, даже в самых маленьких деревушках, был провозглашен императорский декрет, объявлявший меня принцем Коре и неприкосновенным, так что ни один человек не имел права убить меня. Сверх того было объявлено, что восемь выживших матросов также являются неприкосновенными. Но при этом никто не должен был оказывать им помощь. Они превратились в изгнанников, нищих на больших дорогах. И мы с госпожой Ом тоже стали нищими бродягами.

Сорок долгих лет преследовала нас бессмертная ненависть Чон Мон Дю. К несчастью, ему была дарована долгая жизнь, так же, как и нам, — на горе. Я говорил, что госпожа Ом была исключительной женщиной. Я могу повторять это без конца, потому что у меня не хватает слов, чтобы дать ей справедливую оценку. Где-то я слышал, что одна важная дама сказала однажды своему возлюбленному: «Мне довольно шалаша и корки хлеба с тобою»... Действительно, именно так госпожа Ом говорила мне. Больше, чем говорила, она жила со мной, когда у нас и корки хлеба иной раз не было, и только небо было нашим кровом.

Я предпринимал попытки заработать себе на

жизнь, но каждый раз Чон Мон Дю препятствовал мне. В Сондо я стал возчиком дров и делил с госпожой Ом лачугу, где ночевать было все-таки намного лучше, чем на открытой дороге в злую зимнюю стужу. Но люди Чон Мон Дю нашли меня, избили, посадили в доски, а затем выбросили на большую дорогу. Стояла та ужасная зима, когда бедный Вандервут замерз на улицах Кейдзе.

В Пхеньяне я стал водовозом, так как этот старый город, чьи стены были древними даже во время Давида, считался лодкой, и поэтому вырыть колодцы внутри стен значило потопить город. Таким образом весь день многие тысячи кули со взваленными на плечи кувшинами воды шагали туда и обратно через шлюзные ворота. Я стал одним из них и работал, пока Чон Мон Дю не нашел меня и там, и я был снова избит, посажен в доски и брошен на большую дорогу.

Всегда повторялось одно и то же. В далеком Ыдзю я стал мясником, убивая собак на глазах покупателей, рубил туши и развешивал их для продажи. Я дубил кожи в нечистотах у ног прохожих, расстилая шкуры ободранной стороной кверху в уличной грязи. Но Чон Мон Дю отыскал меня и здесь.

Я был помощником красильщика в Пхеньяне,

золотоискателем на приисках Канбуна, сучил веревки и бечеву в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Пхэдоке. Я работал, как каторжный, на затопленных водой рисовых полях за плату меньшую, чем плата кули.

Но не было ни такого времени, ни места, куда бы не достала длинная рука Чон Мон Дю, мстительно толкавшая меня снова на нищенский путь. Мы с госпожой Ом два года искали и нашли корень дикого горного женьшеня, который был такой редкостью и настолько ценился врачами, что мы могли бы прожить целый год в комфорте на деньги, вырученные от продажи одного этого корня. Но когда я попытался это сделать, меня схватили, корень конфисковали, и я был избит и засажен в доски на более долгий срок, чем обычно.

Всюду бродячие члены великого цеха разносчиков доносили о моих странствиях и действиях Чон Мон Дю в Кейдзе. Только дважды за все время, последовавшее за моим падением, встретил я Чон Мон Дю лицом к лицу. Первый раз — в ночь дикого зимнего шторма в высоких горах Кануон. За несколько заплесневелых медяков я купил для нас с госпожой Ом тесный угол в огромной, холодной и грязной общей комнате гостиницы.

Мы как раз собрались приняться за наш скудный ужин, состоящий из рагу из лошадиных костей, сваренных с диким чесноком и кусками протухшей старой говядины, как вдруг на дворе послышался звон бронзовых колокольчиков и топот копыт. Двери открылись, и вошел Чон Мон Дю, олицетворение довольства, процветания и власти, отряхивая снег со своих бесценных монгольских мехов. Для него и для дюжины его слуг тотчас же очистили место, чтобы они могли расположиться удобно и не в тесноте. И вот вдруг его взгляд упал на госпожу Ом и на меня.

— Вышвырните этих бродяг, — приказал он.

И его конюхи хлестнули нас своими кнутами и выгнали нас в бурю. Но была и другая встреча через много лет, как вы увидите.

У нас не было возможности убежать. Мне было запрещено находиться на территории северных провинций. Мне было запрещено даже ступать ногой на сампан, лодку, которая могла служить также и жилищем. Глашатаи донесли этот приказ Чон Мон Дю в каждую деревню, до каждой живой души в Чосоне. Я был меченым.

Господи! Господи!.. Чосон, я знаю каждую твою дорогу и горную тропинку, и твои обнесенные стеной города, и самую последнюю из деревушек.

Ибо сорок лет я скитался и голодал на твоих дорогах, и госпожа Ом скиталась и голодала со мной. Чего только мы не ели в крайней нужде! Объедки собачьего мяса, гнилые и негодные для продажи, брошенные нам в насмешку мясниками, *минари* — корни лотоса, собранные в стоячих тинистых прудах; мы воровали *кимчи,* негодную даже для желудков крестьян, запах которой был слышен за целую милю. Да, я воровал кости дворняжек, подбирал с проезжих дорог зерна риса, таскал у пони их дымящийся бобовый суп в морозные ночи.

Удивительно, что я не умер. Меня держали две вещи: то, что госпожа Ом со мной, и странная вера, что придет время, когда мои пальцы крепко сомкнутся на горле Чон Мон Дю.

Стремясь уйти подальше от городских ворот Кейдзе, где нас мог легко найти Чон Мон Дю, мы круглый год странствовали по Чосону и вскоре изучили каждый дюйм этой страны. Наша история и наша внешность были так же широко известны, как велика была сама страна. Не было живой души, которая бы не знала о нас и о нашем наказании. Нам встречались кули и разносчики, которые выкрикивали оскорбления госпоже Ом, чтобы затем почувствовать всю тяжесть моих кулаков на своих лицах. Были старухи в далеких

горных деревушках, которые смотрели на нищую рядом со мной, на бывшую госпожу Ом, и вздыхали, качая головами, в то время как глаза их застилались слезами. Были молодые женщины, которые с интересом разглядывали мои широкие плечи, синие глаза и длинные золотистые волосы, того, который был когда-то принцем и правителем семи провинций. И были шумные толпы детей, которые следовали за нами по пятам и забрасывали нас грязью.

За Ялу лежала полоса пустынной земли в сорок миль шириной, представлявшая собой северную границу и простирающаяся от моря к морю. На самом деле эта земля была опустошена намеренно, поскольку такова была изоляционистская политика Чосона. На этой сорокамильной полосе все деревни и города были уничтожены. Теперь это была ничья страна, наводненная дикими зверями, и ее объезжали конные отряды Охотников за тиграми, делом которых было убивать всякое человеческое существо, какое они найдут. Бежать этим путем мы не могли, как не могли бежать и через море.

С течением времени семеро моих бывших товарищей-моряков стали чаще посещать Фузан. Он лежит на юго-восточном берегу, где климат

мягче. Но, помимо этого, он был ближайшим к Японии портом. Пролив, такой узкий, что, казалось, противоположный берег виден невооруженным глазом, был нашей единственной надеждой убежать в Японию, куда, как мы знали, заходят иногда корабли из Европы. Как живо я помню этих семерых стареющих мужчин на утесах Фузана, стремящихся всей душой к морю, по которому они никогда не смогут плыть.

Иногда были видны японские джонки, но никогда не возвышалась над горизонтом моря знакомая стеньга европейского корабля. Годы шли, старели и семеро морских волков, и я сам, и госпожа Ом, и все чаще и чаще направлялись мы к Фузану. И с течением лет нас становилось все меньше: то один, то другой не являлся на наше обычное место. Ганс Эмден умер первым. Якоб Бринкер, который был его спутником, принес нам эту весть. Якоб Бринкер стал последним из семи, и ему было почти 90 лет, когда он умер, пережив Тромпа двумя годами. Я хорошо помню эту пару незадолго до их смерти, дряхлых и слабых, в нищенских лохмотьях, с нищенской сумой. Греясь на солнышке на утесах, бок о бок, они рассказывали старые истории и посмеивались по-детски пронзительно. И Тромп рассказывал

снова и снова о том, как Иоганес Мартенс с матросами ограбил королевские усыпальницы в горах Тэбон, где покойные монархи лежали, набальзамированные, меж двух набальзамированных же рабынь в золотых гробах. И как эти царственные мертвецы рассыпались в прах, когда матросы, потея и чертыхаясь, перетаскивали гробы на джонки.

Грабеж есть грабеж, но старый Иоганес Мартенс удрал бы через Желтое море со своей добычей, если бы не туман, который погубил его на следующее утро. Этот проклятый туман! О нем была сложена песня, которую я слышал во всех концах Чосона до самого дня моей смерти и которую я возненавидел. Вот две строки из нее.

Густой туман с Запада
Дрожит над вершинами Виина.

В течение сорока лет я был нищим в Чосоне. Настал день, когда из четырнадцати человек, потерпевших крушение у его берегов, остался только я один. Госпожа Ом была таким же неукротимым существом, и мы состарились вместе. Под конец она превратилась в маленькую, тощую, беззубую старушку, но всегда оставалась исключительной женщиной и несла мое сердце в своем

до конца. Для старика семидесяти лет я все еще был очень силен. Мое лицо увяло, золотые волосы превратились в седые, широкие плечи поникли, и все-таки сила морского волка, жившая в мышцах, не оставила меня.

Поэтому я смог сделать то, о чем сейчас расскажу. Это произошло весенним утром на утесах Фузана, где мы с госпожой Ом, утомленные дорогой, грелись на солнце. Мы сидели в нищенских отрепьях, смиренные, в пыли, и я от души смеялся какой-то веселой шутке, которую прошамкала госпожа Ом, когда чья-то тень упала на нас. Это были роскошные носилки Чон Мон Дю, которые несли восемь кули и сопровождали всадники, впереди и сзади них, а по бокам бежали телохранители.

Два императора, гражданская война, голод и двенадцать дворцовых переворотов случились за это время, а Чон Мон Дю обладал той же властью в Кейдзе. Он сделал знак рукой, чтобы носилки остановили. Он хотел посмотреть на нас, тех, кого он преследовал так долго.

— Сейчас, о мой повелитель, — прошептала мне госпожа Ом, а затем, завывая, стала просить у Чон Мон Дю милостыню, делая вид, что не узнает его.

И я понял ее мысль. Не делились ли мы ею в

течение сорока лет? И ее час наконец настал. Поэтому я тоже притворился, что не узнал моего врага. Прикинувшись дряхлым стариком, я тоже пополз к носилкам, умоляя о милосердии и сострадании.

Телохранители хотели меня отогнать, но старчески дрожащим голосом Чон Мон Дю остановил их. Он оперся на трясущийся локоть одной руки, а другой отдернул в сторону шелковые занавески. Его увядшее старое лицо осветилось восторгом, когда он выпучил на нас глаза.

— О, мой повелитель, — простонала мне госпожа Ом, и я понял, что вся ее многотерпеливая любовь и вера в мою смелость вылились в этот возглас.

И красный гнев проснулся во мне, заявляя о моем желании быть свободным. Неудивительно, что я весь затрепетал от сдерживаемой ярости. Но, к счастью, это сочли признаком слабости моего возраста. Я же приподнял нищенскую суму, завыл еще горестнее и опустил глаза, чтобы скрыть синий огонь, который, как я знал, был в них, и рассчитать расстояние и силу прыжка.

Затем в моих глазах вспыхнуло пламя. Раздался треск перекладин, занавеси разорвались, послышались крики телохранителей, когда мои

пальцы сомкнулись на горле Чон Мон Дю. Носилки перевернулись, и я едва разбирал, где были его ноги, где голова, но мои кулаки ни на минуту не разжимались.

В этом хаосе из подушек, одеял и занавесей мало ударов телохранителей попадало на меня. Но скоро пришли на помощь всадники, и их кнуты обрушились на мою голову, множество рук вцепилось в меня. Я был оглушен, но не терял сознания и блаженствовал, чувствуя, как мои старые пальцы погружаются в эту тощую и высохшую старческую шею, которую я так долго искал. Удары продолжали сыпаться на мою голову, в ней проносились головокружительные мысли, и я сравнивал себя самого с бульдогом, плотно сжимающим челюсти. Я знал, что он наконец умрет, еще до наступления сумерек, как знал и то, что я погружусь в небытие на утесах Фузана у Желтого моря.

Глава XVI

Думая обо мне, начальник тюрьмы Азертон, должно быть, испытывал все, что угодно, кроме гордости. Я научил его, что значит дух, унизил его высотой моего собственного духа, который восставал неуязвимым, торжествующим над всеми пытками. Я сижу здесь, в Фолсеме, в отделении для убийц, ожидая смертной казни; начальник тюрьмы Азертон все еще держится за свое место и царит в Сен-Квентине над всеми несчастными, заключенными в его стенах, и все-таки в глубине души он знает, что я выше его.

Напрасно старался Азертон сломить мой дух. И нет никакого сомнения в том, что он был бы рад, если бы я умер в смирительной рубашке. Таким образом, пытки инквизиции продолжались. Как он мне сказал и как он мне повторял непрестанно, вопрос стоял так: динамит или крышка.

Капитан Джеми был ветераном тюремного насилия, и однако пришло время, когда он отступил перед моей стойкостью, которая произвела то же впечатление и на остальных моих мучителей. Он пришел в такое отчаяние, что осмелился поспорить с начальником тюрьмы и умыл руки в

этом деле. С этого дня и до конца моих мучений он никогда не заходил в одиночку.

Да, и пришло время, когда начальник тюрьмы Азертон ужаснулся, хотя он все еще упорствовал, стараясь добиться у меня признания, где спрятан несуществующий динамит. К тому же Джек Оппенхеймер нанес ему сокрушительный удар. Оппенгеймер был бесстрашен и говорил что хотел. Он прошел, не дав себя сломить, через весь ад тюрьмы и благодаря своей сильной воле смеялся тюремщикам прямо в глаза. Моррелл простучал мне полный отчет об этом инциденте. Я был без сознания в смирительной рубашке, когда это произошло.

— Начальник, — сказал ему Оппенхеймер, — вы откусили больше, чем можете проглотить. Речь ведь идет не о том, чтобы убить Стэндинга. Надо убить трех человек, потому что, будьте уверены, если вы его убьете, раньше или позже мы с Морреллом заговорим, и то, что вы сделали, станет известным всей Калифорнии. Вам надо сделать выбор. Вы должны или оставить Стэндинга в покое, или убить всех троих. Со Стэндингом у вас нашла коса на камень, так же будет со мной и с Морреллом. Вы презренный трус, и у вас хребет без костей, вам не хватает мужества, чтобы ис-

полнять ту грязную работу мясника, на которую вас наняли.

Оппенхеймер получил за это сто часов в смирительной рубашке, и, когда его развязали, он плюнул в лицо Азертону, за что получил еще сто часов. Когда он был расшнурован в этот раз, Азертон постарался не присутствовать в его камере. Что он был потрясен словами Оппенхеймера, в этом нет сомнения.

Но кто был настоящим сатаной, так это доктор Джексон. Для него я был интересным медицинским случаем. И он всегда порывался узнать, как много я смогу перенести, не сломившись.

— Он запросто может выдержать двадцать дней за один присест, — хвастался он начальнику тюрьмы в моем присутствии.

— Вы меня недооцениваете, — перебил я. — Я могу выдержать сорок дней. Да что там, я могу выдержать сто, только если вы лично наденете на меня рубаху. — А вспомнив, как терпеливо я ждал, будучи морским бродягой, целых сорок лет, пока мои руки не вцепились в горло Чон Мон Дю, я прибавил: — Вы — тюремные дворняжки, вы не знаете, что такое человек. Вы думаете, что человек создан по вашему трусливому подобию. Запомните, я человек. Вы — бессильные, я

ваш господин. Вы не можете вырвать у меня ни одного стона. Вы считаете это замечательным только потому, что знаете, как легко закричали бы вы сами.

О, я оскорблял их, называя жабьим отродьем, прихлебателями сатаны, колодезной тиной, потому что был над ними и вне их. Они были рабы, я же — свободный дух. Только мое тело лежало запертым в одиночной камере. Я же не был заключен. Я победил тело, и простор времени лежал передо мной, и я мог странствовать в нем, пока бедное тело, которое даже не страдало, было стянуто смирительной рубашкой, погруженное во временную смерть.

Я рассказал о многих своих приключениях обоим товарищам. Моррелл верил, потому что он сам вкусил временную смерть. Но Оппенхеймер, восхищаясь моими рассказами, оставался до конца скептиком. Наивно, а иногда действительно с чувством, он высказывал свое сожаление о том, что я посвятил свою жизнь агрономии вместо писания фантастических романов.

— Но, дружище, — спорил я с ним, — что могу я знать о Чосоне? Я только в состоянии отождествить ее с тем, что в наши дни называется Кореей, и это все. Например, откуда бы я мог

узнать что-нибудь о *кимчи*? А между тем я знаю, что это такое. Это род квашеной капусты. Когда она портится, запах от нее слышен даже на небе. Когда я был Адамом Стрэнгом, я ел *кимчи* тысячу раз. Я ел хорошую *кимчи,* скверную *кимчи* и гнилую *кимчи*. Я знал, что лучшую *кимчи* делают женщины из Возана. Ну, откуда же я знаю это? Это не вмещается в мой разум, разум Даррела Стэндинга. Но это входит в пределы понимания Адама Стрэнга, который через череду рождений и смертей завещал мне, Даррелу Стэндингу, этот опыт вместе с остальным моим опытом о множестве других жизней. Видишь ли, Джек, так же, как человек рождается и растет, так же развивается и дух.

— Ай, брось, — быстро и коротко стучал он мне в ответ своими сильными кулаками, удары которых я так хорошо знал. — Слушай, что скажет тебе дядюшка. Я — Джек Оппенхеймер и был всегда Джеком Оппенхеймером. Никого другого нет в моем существе. Все то, что я знаю, я знаю как Джек Оппенхеймер. Ну, и что именно? Вот, например, что такое *кимчи. Кимчи* — это род квашеной капусты, ее делают в стране, которую называют Чосон. Возанские женщины готовят наилучший *кимчи*, а когда *кимчи* портится, запах его слы-

шен на небе. Запомни это, Эд. Подожди, сейчас я припру профессора к стене. Теперь, профессор, откуда я получил все эти сведения о *кимчи*? Это не входило в содержание моего разума.

— Вот именно, — ликовал я. — Ты получил их от меня.

— Ладно, старина, тогда кто же вложил это в твой разум?

— Адам Стрэнг.

— Но Адам Стрэнг — это пустое сновидение. Ты прочел об этом где-нибудь.

— Никогда, — утверждал я. — То немногое, что я читал о Корее, это военные сводки во время Русско-японской войны.

— Разве ты помнишь все, что читал? — допрашивал меня Оппенхеймер.

— Нет.

— Кое-что ты наверняка забыл?

— Да, но…

— Довольно, спасибо, — перебил он, как делает адвокат, внезапно прерывающий перекрестный допрос, после того как ему удалось добиться какого-нибудь рокового признания.

Было немыслимо убедить Джека Оппенхеймера в моей искренности. Он настаивал, что я выдумывал то, что он назвал «романом с про-

должением». Когда меня освобождали из рубахи, начинались бесконечные расспросы и просьбы рассказать еще несколько глав.

— Теперь, профессор, оставь эту высокую материю, — перебивал он мой метафизический спор с Эдом Моррелом, — и расскажи нам больше о кисан и о морских сражениях. Расскажи еще, раз уж к слову пришлось, что случилось с госпожой Ом, когда ее муж задушил этого старого негодяя и сам был убит.

Я уже не раз говорил, что форма погибает. Позвольте мне повторить. Форма погибает. У материи нет памяти. Только дух помнит, как в данном случае — в тюремных камерах, спустя столетия; воспоминание о госпоже Ом и о Чон Мон Дю настойчиво держалось в моем разуме, а через него передавалось Джеку Оппенхеймеру, а затем снова в мой разум, на наречии и жаргоне Запада. А теперь я передал это твоему разуму, читатель. Постарайся вычеркнуть это из него. Ты не сможешь. То, что я рассказал тебе, на всю жизнь останется в твоей памяти. Дух? Нет ничего постоянного, кроме духа. Материя изменяется, кристаллизуется и меняется снова, а форма никогда не повторяется. Форма распадается на вечные ничто, к которым уже нет возврата. Форма появ-

ляется и исчезает, как исчезла физическая форма госпожи Ом и Чон Мон Дю. Но память о них остается и останется навсегда, пока продолжает существовать дух; а дух неразрушим.

— Одно ясно, как божий день, — сделал критическое заключение Джек Оппенхеймер о моих приключениях в теле Адама Стрэнга. — Ты посещал разные увеселительные заведения в китайском квартале чаще, чем это полагается уважаемому профессору университета. Скверное общество, знаешь ли, — оно, похоже, и привело тебя сюда.

Прежде чем я вернусь к своим приключениям, я должен рассказать один замечательный инцидент, случившийся в одиночке: он замечателен, так как показывает удивительные умственные способности этого продукта сточных каналов — Джека Оппенхеймера — с одной стороны, а с другой — является сам по себе убедительным доказательством истинности моих опытов во время спячки в смирительной рубашке.

— Скажи, профессор, — простучал мне однажды Оппенхеймер, — когда ты рассказывал сказки об Адаме Стрэнге, я помню, ты упоминал об игре в шахматы с этим проспиртованным братом императора. Ну-с, похожа ли эта игра в шахматы

на нашу?

Конечно, я должен был ответить, что не знаю, что не помню деталей, вернувшись в нормальное состояние. И конечно, он добродушно смеялся над тем, что он называл моими дурачествами. Все-таки я мог отчетливо припомнить, что в бытность мою Адамом Стрэнгом я часто играл в шахматы. Смущался же я потому, что по возвращении в сознание в тюрьме несущественные и запутанные подробности блекли в моей памяти.

Надо помнить, что для удобства слушателей я составлял из своих отрывочных и повторяющихся опытов в смирительной рубашке связные и последовательные рассказы. Я никогда не знал наперед — куда занесет меня мое путешествие. Например, я двадцать раз возвращался к Джесси Фэнчеру в круг фургонов на Горных Лугах. За десять дней, которые я провел подряд в рубахе, я уходил дальше и дальше, от одной жизни к другой, и часто перескакивал через целые серии жизней, которые я переживал в другие времена, уходил назад в доисторическое время и снова оттуда к эпохе возникновения цивилизации.

Поэтому я решил в следующее мое возвращение к жизни Адама Стрэнга, если только оно случится, немедленно сконцентрировать созна-

ние на тех эпизодах, которые касались шахмат. И как назло, мне пришлось целый месяц слушать издевательские речи Оппенхеймера, пока это случилось. И тогда, как только меня освободили и кровообращение возобновилось, я поднялся, чтобы простучать ему известие.

Потом я научил Оппенхеймера шахматам, в которые играл Адам Стрэнг в Чосоне несколько столетий тому назад. Они отличались от западной игры, хотя по существу были теми же самыми, имея общее происхождение — по всей вероятности, индийское. Вместо наших шестидесяти четырех клеток у них было восемьдесят одна. У наших шахмат по восемь пешек на стороне, у них по девять, и хотя они имели те же ограничения, что и наши, но принцип ходов был другой.

В чосонской игре используется двадцать фигур вместо наших шестнадцати, и они расставлены в три ряда, а не в два. Таким образом, девять пешек находятся в первом ряду, в среднем ряду находятся две фигуры, похожие на наши ладьи, а в последнем ряду посредине стоит король, прикрытый с каждой стороны «серебряной монетой», «золотой монетой», «валетом» и «копьеносцем». Надо отметить, что в чосонской игре нет королев. Дальнейшее радикальное различие состоит в

том, что взятая фигура или пешка не снимается с шахматной доски, а становится собственностью противника, и с этого момента он ходит ею.

Итак, я научил Оппенхеймера этой игре — более трудной, чем наши шахматы, с чем вы согласитесь, если примете во внимание взятие в плен пешек и других фигур. Как известно, тюрьмы не отапливаются. Ведь было бы безнравственным облегчать каторжнику страдания, вызываемые стихией. И на протяжении долгих дней стужи в эту и в следующую зимы мы с Оппенхеймером напрочь забывали о холоде, будучи всецело поглощены чосонскими шахматами.

Но не было возможности убедить его в том, что я и правда пронес эту игру в Сен-Квентин через столетия. Он настаивал, что я читал о ней где-нибудь и, хотя и забыл прочитанное, его содержание осталось тем не менее в моем разуме, для того чтобы затем быть перенесенным в какое-нибудь сновидение. Таким образом, он применял ко мне положения и термины психологии.

— Что мешало тебе придумать это здесь, в одиночке? — было его последней гипотезой. — Разве Эд не выдумал разговор через стенку? И не усовершенствовали ли его мы с тобой? Я поймал тебя, а? Что, не так? Возьми патент на изобретение!

Когда я служил ночным гонцом, какой-то парень придумал дурацкую шутку под названием «Свиньи в клевере» и заработал на этом миллионы.

— Не дадут мне патент, — отвечал я. — Нет сомнения, что азиаты играли в эту игру тысячу лет назад. Поверишь ли ты, что я этого не выдумал?

— Тогда ты об этом читал или видел, как китайцы играют в каком-нибудь веселом заведении, которое ты посещал, — было его последним словом.

Но все-таки последнее слово осталось за мной. У нас есть или, вернее, был один убийца, японец, которого казнили на прошлой неделе. Я разговаривал с ним об этом, и он признал, что те шахматы, в которые играл Адам Стрэнг и о которых я рассказывал Оппенхеймеру, похожи на японскую игру. Они были больше похожи на их игру, чем на какую-либо из западных игр.

Глава XVII

Вспомни, читатель, я рассказывал тебе вначале, как в детстве, на ферме в Миннесоте, смотрел на снимки Святой земли, узнавал разные места и отмечал изменения, происшедшие в них. Вспомни также, что я описывал как очевидец сцену исцеления прокаженных и сказал миссионеру, что в то время я был высоким мужчиной с большим мечом, наблюдавшим за происходящим сидя на коне.

Это случай из моего детства — просто отражение былой славы. Не в полном забвении явился я, маленький Даррел Стэндинг, на белый свет. Но воспоминания о других временах и местах, которые скользили по поверхности моего детского сознания, скоро потускнели и ослабли. В самом деле, как это бывает со всеми детьми, тени домашней тюрьмы сгустились надо мной, и я больше не вспоминал свое великое прошлое. У каждого человека, рожденного женщиной, есть, как у меня, великое прошлое. Очень немногие из них имеют счастье познать годы одиночного заключения и смирительной рубашки. Мне в этом отношении повезло. Иначе я не был бы в

состоянии помнить и вспоминать, и среди прочего то время, когда я сидел верхом на лошади и смотрел на исцеление прокаженных.

Меня звали Рагнар Лодброг, и я в самом деле был очень высок. Я был на целых полголовы выше любого солдата моего легиона. Но командовать легионом я стал позже, после моего путешествия из Александрии в Иерусалим. То была бурная жизнь… Ее не опишешь и в сотне томов. Поэтому я должен рассказать о ней вкратце.

Я помню все ясно и отчетливо, кроме самого начала. Я совсем не знал своей матери. Мне говорили, что я был рожден во время бури пленницей на палубе корабля, в Северном море, после морского сражения и разгрома прибрежной крепости. Я никогда не слышал имени своей матери. Она умерла в разгар бури. Она была родом из северной Дании, как говорил мне старый Лингард.

Крепко запечатлелся в памяти ребенка рассказ Лингарда о том, что произошло сразу же после моего рождения на палубе корабля. Лингард, слишком старый, чтобы сидеть на веслах, был одновременно хирургом, гробовщиком и повивальной бабкой заключенных на корабле пленников. Так я был принят им среди шторма, и пена соленого моря омыла мое тело.

Мне было всего несколько часов от роду, когда Тостиг Лодброг впервые поднял на меня глаза. Ему принадлежал главный корабль и еще семь других кораблей, которые совершили набег, убежали от погони и одержали победу над штормом. Тостига Лодброга звали еще Муспел, что означало Пылающий, потому что он часто загорался гневом. Он был храбр, но и жесток был он, и сердце в его широкой груди не было склонно к прощению.

Вот к нему-то по качающейся палубе и отнес меня старый Лингард, когда закончился шторм. Мне было едва несколько часов от роду, и я был завернут голым в волчью шкуру, покрытую коркой соли. Родился я преждевременно и был очень маленьким.

— Хо, хо, карлик! — закричал Тостиг, опуская наполовину опустошенный жбан с медом, чтобы подивиться на меня.

День был холодным, но, говорят, он сгреб меня с волчьей шкуры и, схватив меня за ногу большим и указательным пальцами, выставил на добычу ветру.

— Таракан, — гоготал он, — рак, морская вошь. — И он сдавливал меня своими огромными пальцами, каждый из которых, как утверждал

Лингард, был толще моей ноги.

Но ему пришел в голову другой каприз.

— Парень хочет пить! Пусть пьет!.. Пить!..

И, говоря это, он втолкнул меня головой вниз в жбан, наполовину наполненный медом. И я, конечно, утонул бы в этом напитке для мужей, я, который не знал материнской груди за то короткое время, что успел прожить, — не будь старого Лингарда. Но когда старик меня вытащил из меда, Тостиг Лодброг в бешенстве сбил его с ног. Мы покатились по палубе, и здоровенные охотничьи псы, только что взятые в плен в бою с северными датчанами, бросились на нас.

— Хо, хо, — рычал Тостиг Лодброг, когда меня, старика и волчью шкуру терзали собаки.

Но Лингард поднялся на ноги и спас меня, оставив псам волчью шкуру.

Тостиг Лодброг допил мед и посмотрел на меня, между тем как Лингард молчал, отлично понимая, что не стоит просить милосердия там, где его быть не может.

— Мальчик с пальчик! — сказал Тостиг. — Клянусь Одином, женщины северной Дании — жалкая порода. Они рожают карликов, а не людей. На что может пригодиться такая штучка? Из него никогда не выйдет мужчина. Послушай

меня, Лингард, вырасти мне из него кравчего для Бруннанбура. И поглядывай, чтобы собаки по ошибке не слизнули его со стола вместо объедков мяса.

Я не знал женской ласки. Старый Лингард был акушеркой и нянькой, а колыбелью мне стала качающаяся палуба. Я слышал только лязг оружия и топот сражающихся людей или звуки бури. Как я смог выжить, знает один только Бог. Наверное, я родился железным, так как пережил все и опроверг пророчество Тостига о том, что я вырасту карликом. Я перерос все кубки и кувшины с крышками, и недолго удавалось ему погружать меня в свой жбан с медом. Последнее было его любимой забавой. Таков был его суровый юмор, выходка, которая, по его мнению, была замечательно остроумна.

В моих первых воспоминаниях были корабли Тостига Лодброга, его воины и пиршественная зала в Бруннанбуре. Поскольку меня сделали кравчим, то я помню также и то, как, переваливаясь, я шел с человеческим черепом, наполненным вином, к главному месту за столом, где Тостиг бушевал так, что от его крика дрожали стропила. Они все были сумасшедшими, невменяемыми, но это казалось нормальной жизнью мне, который

ничего другого не знал. То были люди, которые легко приходили в ярость и легко дрались. Их мысли были грубы, как грубы были их еда и питье. И я вырос похожим на них. Каким другим мог я вырасти, когда я подавал напитки ревущим пьяницам и скальдам, которые прерывали пир схватками, сметали скамейки, срывали занавеси, похищенные с южных берегов, и быстро устилали пиршественный зал трупами.

О, и я тоже приходил в бешенство, хорошо обученный в такой школе. Мне едва исполнилось восемь лет, когда я показал свои зубы во время дружеской попойки Тостига с ярлом ютов Агардом, который приплыл к нам со своими людьми на трех длинных кораблях. Я стоял за спиной Тостига Лодброга, держа череп, в котором дымилось горячее вино, насыщенное пряностями. Я ждал, когда Тостиг Лодброг закончит поносить северных датчан. Это обычно продолжалось долго, и я ждал, как вдруг на него нашло особенное бешенство и он стал крыть на чем свет стоит их женщин. Это заставило меня вспомнить мою мать — северную датчанку, и я почувствовал, как вспыхнула в моих глазах ярость, и я ударил Лодброга черепом по голове: пролившееся на него вино ослепило и обожгло его. А когда он

стал кружиться на месте, не видя меня и пытаясь нащупать меня в воздухе своими огромными ручищами, я бросился к нему и трижды ударил его кинжалом в живот, бедро и в зад, потому что не мог достать этого великана выше.

Ярл Агард обнажил свою саблю, и его спутники присоединились к нему, но Лодброг воскликнул:

— Медвежонок! Медвежонок! Во имя Одина, он достоин честного боя!

И под гулкой кровлей Бруннанбура этот мальчишка из северной Дании начал битву с могучим Лодброгом. И когда, уже задыхавшийся, я был отброшен одним ударом и отлетел на половину зала, задевая по дороге горшки и кувшины, Лодброг выкрикнул свой приказ:

— Покончите с ним! Бросьте его собакам!

Но ярл не пожелал этого и, хлопнув Лодброга по плечу, попросил меня в подарок как доказательство дружбы.

И вот, когда фьорд освободился ото льда, я поехал на юг на корабле ярла Агарда. Я стал его оруженосцем и кравчим, и с тех пор меня звали Рагнаром Лодброгом. Владения Агарда соседствовали с фризами и были унылой низменной землей туманов и болот. Я пробыл с ним три года, до самой его смерти, всегда находясь позади него,

во время охоты по топям за волками или на попойке в большой зале, где часто присутствовала его молодая жена Эльгива со своими служанками. Я участвовал с Агардом в морских набегах на юг, на те берега, которые теперь называются берегами Франции, и там я узнал, что в еще более южных странах бывает очень тепло, и женщины и климат там мягче.

Но мы привезли обратно тяжело раненного Агарда, умиравшего медленной смертью. Мы сожгли его тело на большом костре и вместе с ним — Эльгиву, которая пела погребальную песнь, и на ней был золотой широкий пояс. И с ней была сожжена многочисленная домашняя челядь в золотых ошейниках, девять рабынь и восемь рабов-англов благородного происхождения. Сожжены были живьем все его соколы и два сокольничих.

Но меня, кравчего Рагнара Лодброга, не сожгли. Мне исполнилось одиннадцать лет, я был неустрашим и никогда не носил на теле тканой одежды. И когда пламя взвилось, Эльгива запела свою предсмертную песню, а рабы завыли, не желая умирать, я сорвал оковы, прыгнул и добежал до болот, все еще с золотым ошейником рабства на шее. Так странствовал я, спасаясь от

охотничьих собак, выпущенных для того, чтобы растерзать меня.

В болотах жили одичавшие люди: беглые рабы и изгнанники, на которых охотились ради забавы, как на волков.

В течение трех лет я жил под открытым небом, становясь жестоким, как мороз в этих местах, и украл бы женщину у ютов, если бы, к несчастью, в это время фризы не настигли меня после двух дней погони. Они сняли с меня золотой ошейник и обменяли на двух охотничьих псов сакса Эдви, который надел на меня железный ошейник и потом подарил меня с пятью другими рабами Этелю, восточному англу. Я стал рабом, потом воином, но однажды мы заблудились во время одного неудачного набега за пределами наших земель. Так я попал к гуннам и стал у них свинопасом. Затем я удрал на юг, в большие леса, и там был принят тевтонами как свободный человек. Тевтоны были многочисленны, но селились они небольшими племенами и постепенно отступали на юг под напором гуннов.

Но с юга в большие леса пришли римляне, все, как один, великие воины, которые оттеснили нас назад к гуннам. Нас сдавили так, что нам некуда было податься, и мы показали римлянам, что

значит битва; по правде говоря, и они научили нас этому не хуже.

Я часто вспоминал солнце южной страны, которую я мельком видел с судов Агарда, и оказалось, не зря — после того как тевтоны отступили на юг, меня взяли в плен римляне и снова привезли к морю, которого я не видел с тех пор, как расстался с восточными англами. Я снова стал рабом, гребцом на галере, и таким рабом я наконец попал в Рим.

Долго рассказывать, как я стал свободным римским гражданином, потом солдатом и как, в возрасте тридцати лет, я отправился в Александрию, а из Александрии в Иерусалим. А все то, что я поведал вам сейчас, начиная с крещения в медовом жбане Тостига Лодброга, я рассказал для того, чтобы вы поняли, каков был тот человек, который въехал в город через Яффские ворота, привлекая к себе все взгляды.

И неудивительно, что они глазели! Эти римляне и иудеи были мелким народом, тонкокостным и со слабыми мускулами, и такого белокурого человека, как я, они никогда не видели. Вдоль всех узких улиц народ расступался передо мной и останавливался, вперив широко открытый взор в этого белокурого человека с севера или из бог

знает какой далекой страны, о которой им ничего не было известно.

Собственно говоря, все войска Пилата являлись вспомогательными. Горсточка легионеров охраняла дворец, и со мной еще приехали двадцать человек. Я считаю, что во вспомогательных войсках много хороших солдат, но по-настоящему положиться можно было только на легионеров. Поистине, они были лучшими бойцами, потому что всегда были готовы к бою, тогда как мы, северные варвары, храбро сражались только в минуты великого гнева. Римляне же были стойкими и дисциплинированными.

В ночь моего приезда я встретил в доме Пилата женщину, пользовавшуюся немалым влиянием при дворе Ирода Антипы, подругу жены Пилата. Я буду называть ее Мириам, потому что так звал я ее, полюбив. Если бы описать прелесть женщины было только трудно, то я бы взялся описать Мириам. Но как описать словами душевные переживания? Очарование женщины нельзя выразить словами.

Мириам была величественной женщиной. Я употребляю это слово обдуманно. У нее было изящное тело; она выделялась среди иудейских женщин благодаря своей статности и красоте.

Аристократка по происхождению, она являлась аристократкой и по природе. Грациозная, великодушная, умная, остроумная и главное — женственная. Как вы увидите, именно ее женственность и погубила под конец и меня, и ее. Брюнетка с овальным лицом и оливковым цветом кожи, она имела иссиня-черные волосы и глаза — черные, как колодцы. Внешне мы представляли собой полные противоположности.

Наши желания совпали сразу. Я не спорил сам с собой, не ждал доказательств в нерешительности. Она стала моей с того мига, как я на нее взглянул. И по тем же признакам она знала, что из всех мужчин именно я принадлежу ей. Я шагнул к ней. Она наполовину поднялась со своего ложа, как бы потянувшись ко мне. И затем мы устремили друг на друга наши голубые и черные глаза, пока жена Пилата, худощавая, нервная и уже пожилая женщина, не залилась смехом. И когда я поклонился, приветствуя жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил на Мириам значительный взгляд, как бы говоря: «Разве это не то, что я обещал?» А он ведь знал о моем приезде от Сульпиция Квирина, сирийского легата. Да мы были знакомы с Пилатом и прежде, еще до того, как он отправился служить прокуратором

на семитский вулкан Иерусалима.

Много разговаривали мы этой ночью, особенно Пилат, который подробно описывал положение в стране и который, казалось, чувствовал себя одиноким, желая поделиться с кем-нибудь своими опасениями и даже попросить совета. Пилат представлял собою тип солидного римлянина, с достаточным воображением для того, чтобы разумно проводить железную политику Рима и чтобы не раздражаться без нужды при сопротивлении.

Но этой ночью мне было ясно, что он утомлен. Иудеи действовали ему на нервы. Притом же они отличались хитростью. Римляне подходили ко всему честным прямым путем. Иудеи никогда не приближались к чему-нибудь прямо, кроме тех случаев, когда отступали, гонимые силой. Предоставленные самим себе, они всегда приближались к цели окольными путями. Гнев Пилата был вызван, по его словам, тем фактом, что иудеи плели интриги, стараясь заставить его, а через него и Рим, впутаться в их религиозные свары. Как мне было хорошо известно, Рим не вмешивался в вопросы веры покоренных им народов, но иудеи всегда придавали политический характер событиям, не имеющим никакого отношения к

политике.

Красноречие Пилата возросло, когда он коснулся различных сект и постоянных восстаний и мятежей фанатиков.

— Лодброг, — сказал он. — Никогда нельзя сказать, какое маленькое летнее облачко у этих людей превратится в громовую бурю, завывающую и гудящую в ушах. Я здесь для того, чтобы поддерживать порядок и спокойствие. Но вопреки мне они превратили город в осиное гнездо. Лучше бы я управлял скифами или дикими британцами, чем этим народом, который никогда не знает меры в вопросе о Боге. Как раз теперь на севере появился человек — рыбак, ставший проповедником и творящий чудеса, весть о котором, весьма возможно, скоро разнесется по всей стране и о котором я получу запрос из Рима.

Это было первый раз, когда я услышал о человеке, называемом Иисусом, и в то время не обратил на это внимания. Я вспомнил об этом только тогда, когда маленькое летнее облачко превратилось в готовую разразиться грозовую тучу.

— Я получил донесение о нем, — продолжал Пилат. — Он не политик, в этом нет сомнения, но сто́ит Кайафе, а за его спиной Анне, захотеть сделать из этого рыбака политическую занозу, как

Рим будет ею уколот, а я смещен с должности.

— Про этого Кайафу я слышал, что он первосвященник, а кто же такой Анна? — спросил я.

— Он и есть настоящий первосвященник, ловкая лисица, — объяснил Пилат. — Кайафа был назначен Гратом, но Кайафа — лишь тень и игрушка Анны.

— Они ни за что не могли простить тебе этого пустяка, истории со щитами, — поддразнила Мириам.

Тогда, как человек, которого задели за больное место, Пилат принялся рассказывать этот эпизод, который казался не больше, чем пустяком вначале, но который чуть не уничтожил его. Ничего не подозревая, он прибил перед своим дворцом два щита с посвятительными надписями. Из-за этого над его головой разразилась буря. Иудеи написали жалобу Тиберию, который согласился с ними и сделал Пилату выговор.

Я был рад, когда немного позже смог поговорить о Мириам. Жена Пилата улучила удобную минуту, чтобы рассказать мне о ней. Она была старинного царского рода. Ее сестра была женой Филиппа, тетрарха Гавланитиды и Батанеи. Филипп же был братом Ирода Антипы, тетрарха Галилеи и Переи, и оба они были сыновьями

Ирода, прозванного иудеями «Великим». Как я понял, Мириам была как у себя дома при дворах обоих тетрархов, так как являлась их родственницей. Еще девочкой ее помолвили с Архелаем, в то время, когда он был этнархом Иерусалима. У нее было собственное состояние, которым она самостоятельно распоряжалась, так что этот брак не был вынужденным. Сверх того, она имела собственную волю, и ее, без сомнения, было не так легко удовлетворить в таком вопросе, как выбор супруга.

Очевидно, в этой стране религией был пропитан сам воздух, потому что сейчас же мы с Мириам заговорили на эту тему. Правда, что иудеи в те дни не могли обходиться без религии, как мы без борьбы и пиров. Во все время моего пребывания в этой стране не было момента, чтобы мой разум не был занят бесконечными спорами о жизни и смерти, законе и Боге. А Пилат не верил ни в Бога, ни в черта, ни во что иное. Смерть в его глазах была мраком беспробудного сна, и все же в течение тех лет, что он провел в Иерусалиме, он всегда был обеспокоен исступлением фанатиков и заботами о разных религиозных вопросах. Во время поездки в Идумею меня сопровождал конюх, жалкое существо,

который так и не научился седлать лошадей, но все-таки мог говорить и притом с самым ученым видом, без передышки, от наступления ночи до восхода солнца, о крючкотворных разногласиях всех раввинов, начиная с Шемаи и до Гамалиеля.

Но вернусь к Мириам.

— Ты веришь, что ты бессмертен, — вскоре вызвала она меня на спор. — Тогда почему же ты боишься говорить об этом?

— Зачем обременять свой мозг доказательством очевидности, — возразил я.

— Но ты уверен? — настаивала она. — Расскажи мне об этом. На что похоже оно, ваше бессмертие?

И когда я рассказал ей о рождении великана Имира из снежных хлопьев, о Торе и Одине, и о нашей Вальгалле, она захлопала в ладоши и воскликнула, сверкая глазами:

— О, варвар! Большое дитя. Золотоволосый великан, дитя мороза! Ты веришь детским сказкам. Но твой дух, который не может умереть, куда пойдет он, когда твое тело умрет?

— Как я сказал, в Вальгаллу, — ответил я. — И мое тело будет там же.

— И будет есть, пить, драться?..

— И любить, — прибавил я. — На небе у нас обя-

зательно будут женщины. Иначе на что же рай?

— Не нравится мне ваш рай, — сказала она. — Это место для сумасшедших, для животных, место морозов, бури и ярости.

— А ваш рай? — спросил я. — Там всегда бесконечное лето, зреют плоды, цветут цветы, зеленеют травы. — Я покачал головой и проворчал: — Не нравится мне ваш рай. Это грустное место, тихое место для хилых существ, для евнухов и ожиревших, плаксивых подобий человека.

Мои замечания, должно быть, очаровали ее, потому что ее глаза продолжали сверкать, а я был почти уверен, что она старается меня раззадорить.

— Мой рай, — сказала она, — благословенная обитель.

— Вальгалла — благословенное жилище, — защищался я. — Потому что, смотрите, кому нужны цветы там, где всегда есть цветы? На моей родине после окончания холодной зимы, когда солнце гонит прочь долгую ночь, первые проблески света на тающем льду — радость, и мы смотрим и не можем насмотреться на них. А огонь! — восклицал я. — Великий, прекрасный огонь! Хорош ваш рай, где человек не сможет надлежащим образом оценить пылающий огонь под прочной крышей,

когда на дворе бушует снег и ветер.

— Простой вы народ, — ответила мне она. — Вы строите дома на снегу и называете это раем. В моем раю не надо убегать от ветра и снега.

— Нет, — возразил я. — Мы строим дома, чтобы выходить из них на мороз и бурю и чтобы возвращаться туда с мороза и бури. Предназначение человека — борьба с морозом и бурей. А хижину и огонь он добывает себе в борьбе. Я знаю это. Однажды три года подряд я ни разу не видел ни хижины, ни огня. Мне было пятнадцать лет, и я стал мужчиной еще до того, как надел впервые тканую одежду. Я родился в бурю, после битвы, и пеленками мне служила волчья шкура. Взгляни на меня и узнай, какие мужчины живут в Вальгалле.

И она взглянула на меня — с восхищением — и воскликнула:

— Ты — золотоволосый великан! — Затем прибавила задумчиво: — Мне почти жалко, что такие мужчины не могут жить в моем раю.

— Наш мир устроен справедливо, — утешал я ее. — Рай на самом деле не один. По-моему, каждый попадает в рай, который отвечает желаниям его сердца. Прекрасная страна в самом деле лежит там, за гробом. Я не сомневаюсь, что оставлю

наши пиршественные залы и совершу набег на ваш солнечный и цветущий берег и выкраду тебя оттуда. Так была украдена моя мать.

И, сделав паузу, я посмотрел на нее, а она на меня, и взор ее был смел. И кровь моя заструилась огнем по жилам. Клянусь Одином, это была женщина!

Что могло бы произойти, я не знаю, потому что Пилат, который прекратил разговор с Амбивием и некоторое время посмеивался про себя, прервал молчание.

— Раввин, раввин из Тевтобурга! — насмешливо вскричал он. — Новый проповедник и новое учение пришли в Иерусалим. Теперь здесь станет больше несогласий, и мятежей, и побиваний каменьями пророков. Боги, спасите нас, это сумасшедший дом! Лодброг, не ждал этого от тебя. Вот ты в сердцах ораторствовал так яростно, точно сумасшедший, из-за пустяка — из-за того, что должно с нами случиться после смерти. Человеку дана только одна жизнь, Лодброг. Это упрощает дело.

— Продолжай, Мириам, продолжай! — воскликнула его жена.

Она вся застыла во время спора, сжав руки, и у меня промелькнула мысль, что она уже зара-

жена религиозным безумием Иерусалима. Во всяком случае, как я узнал в последующие дни, она слишком много интересовалась подобными вопросами. Она была худощавой женщиной, словно изнуренной лихорадкой. Она была настолько хрупкой, что мне казалось, ее ладони совершенно прозрачны. Хорошая женщина, но в высшей степени нервная и временами слишком много фантазирующая о духах, чудесах и предзнаменованиях. У нее была склонность к видениям, она слышала таинственные голоса. Что касается меня, я терпеть не мог таких слабостей. Но все-таки она была добрая женщина, очень доброжелательная.

Я приехал сюда, чтобы исполнить поручение Тиберия, и, к несчастью, редко видел Мириам. Когда я вернулся от Ирода Антипы, она отправилась в Батанею, ко двору Филиппа, где жила ее сестра. Снова я поехал в Иерусалим и, хотя у меня не было никакой надобности встречаться с Филиппом, человеком слабым, но преданным воле Рима, я направился в Батанею в надежде увидеться с Мириам. Затем последовало мое путешествие в Идумею. Также я ездил в Сирию по приказу Сульпиция Квирина, которому как императорскому легату было любопытно выслу-

шать из первых рук доклад о положении дел в Иерусалиме. Таким образом, путешествуя много и повсюду, я имел возможность наблюдать за странными повадками иудеев, которые были просто помешаны на религии. Это было их особенностью. Они не желали предоставить эти вопросы священникам, они все сами превращались в священников и проповедников всюду, где только находили слушателей. А слушателей они находили сколько угодно.

Они оставляли свои занятия для того, чтобы странствовать, как нищие, ссорясь и споря с раввинами и талмудистами в синагогах и на церковных папертях. В Галилее, в области, пользующейся дурной славой, жителей которых считали тупицами, я наткнулся на след человека по имени Иисус. Кажется, он был плотником, а после этого рыбаком, и его собратья рыбаки перестали закидывать сети и последовали за ним бродить по стране. Немногие смотрели на него как на пророка, большинство же утверждало, что он безумный. Мой злополучный конюх, претендующий сам на то, что в знании Талмуда ему нет равных, насмехался над Иисусом, называя его королем нищих, а его доктрину — заблуждением.

По моим наблюдениям, здесь каждый человек

называл другого безумным. По правде говоря, по моему мнению, они все были сумасшедшие. Это было их общим бичом. Они изгоняли дьяволов магическими чарами, исцеляли болезни наложением рук, пили смертельные яды, оставаясь невредимыми, и безнаказанно играли с ядовитыми змеями или только претендовали на это. Они бежали в пустыни, чтобы умирать там с голоду. Завывающие проповедники порождали новые доктрины, собирая толпы вокруг себя, образуя новые секты, которые вскоре раскалывались и образовывали еще больше сект.

— Клянусь Одином, — сказал я Пилату, — капля нашего мороза и снега освежила бы их разум. Этот климат слишком мягок. Вместо того чтобы строить хижины и охотиться за мясом, они вечно создают новые учения.

— И изменяют природу Бога, — подтвердил Пилат угрюмо. — Проклятые учения.

— То же говорю и я, — согласился я. — И если только я уеду из этой сумасшедшей страны с нетронутыми мозгами, я лопну от злости, если какой-нибудь человек посмеет упомянуть о том, что случится после того, как я умру.

Никогда не видал я таких беспокойных людей. Все под солнцем было в их глазах благочестивым

или неблагочестивым. Мастера вести споры о всяких тонкостях веры, они были не в силах постичь римскую идею государства. Все политические вопросы превращались в религиозные, все религиозные — в политические. Таким образом, каждому прокуратору было чем заняться. Римские орлы, римские статуи, даже щиты Пилата с посвятительными надписями — все являлось умышленным оскорблением их религии.

Перепись населения, проводимая Римом, представлялась им ужасным делом. Но все же ее надо было провести, так как она служила базой для обложения податями. Однако возникала новая беда: обложение податями было преступлением против их закона и Бога. О, этот закон! То был не римский закон. Это был их закон, который они называли божеским. Среди них были фанатики-зелоты, которые убивали тех, кто нарушал этот закон. А для прокуратора наказать фанатика, пойманного с окровавленными руками, значило вызвать бунт или восстание.

Все у этого странного народа делалось во имя Бога. Среди них были такие, которых римляне называли «чудотворцами». Они творили чудеса, чтобы доказать свои учения. Мне же всегда казалось бессмысленным доказывать правиль-

ность таблицы умножения, превращая палку в змею или даже в двух змей. А именно это делали чудотворцы, всегда вызывая волнение простого народа.

Боже мой, сколько тут было сект! Фарисеи, ессеи, саддукеи — целый легион. Как только появлялась новая секта, сейчас же она превращалась в политическую.

В Иерусалиме, где я разъезжал в последнее время, легко можно было заметить возрастающее недовольство иудеев. Они собирались в гудящие толпы. Некоторые провозглашали конец мира. Другим было достаточно и неизбежного разрушения Храма. Но были и такие революционеры, которые объявляли, что власти Рима скоро придет конец и что будет основано новое иудейское царство.

Как я заметил, Пилат тоже был весьма обеспокоен. Было очевидно, что иудеи причиняют ему немало забот и затруднений. Но должен сказать, что, как вы увидите, он ответил на их хитрость равной хитростью. И зная его, я ни капли не сомневался в том, что он может привести в смущение многих спорщиков в синагогах.

— Только пол-легиона римлян, — с сожалением говорил он мне, — и я схватил бы Иерусалим за

горло, а затем был бы отозван для наказания, я полагаю.

Как и я, он не питал большого доверия к вспомогательным войскам, а мы имели только жалкую горсть легионеров.

Я поселился во дворце и, к моей великой радости, нашел там Мириам. Но я не был удовлетворен, так как разговор у нас шел только о положении в стране. Для этого были причины, ведь город жужжал, как встревоженный осиный улей. Приближался праздник Пасхи — религиозное дело, конечно. Поэтому тысячи людей устремились из деревень, чтобы, согласно обычаю, праздновать Пасху в Иерусалиме. Эти новоприбывшие, разумеется, представляли из себя легко возбудимую толпу, иначе бы они не решились на такое паломничество. Иерусалим был переполнен ими, так что многие расположились вне стен города. Что же касается меня, я не мог разобрать, насколько недовольство масс было вызвано учением бродячего рыбака и насколько — ненавистью к Риму.

— Иисус здесь ни при чем или почти ни при чем, — ответил на мой вопрос Пилат. — Спроси Кайафу и Анну, какова причина. Они знают, в чем тут дело. Они поощряют недовольство, для

чего — кто может сказать, разве только для того, чтобы причинить мне неприятности.

— Да, несомненно, что ответственны Кайафа и Анна, — сказала Мириам, — но ты, Понтий Пилат, ты только римлянин, и ты не понимаешь. Если бы ты был иудеем, ты бы постиг, что происходящее очень серьезно, и это не простые распри сектантов или стремление бунтовщиков насолить тебе и Риму. Первосвященники и фарисеи, каждый еврей любого класса и состояния, Филипп, Антипа, я сама — все мы боремся за свою жизнь… Этот рыбак, может быть, и безумен, но в таком случае есть хитрость в его безумии. Он проповедует учение бедным. Он угрожает нашему закону, а наш закон — это наша жизнь, как вы в этом уже убедились. Мы ревниво оберегаем наш закон, он для нас — как воздух для тела, и вы тоже постарались бы оторвать от горла руки, которые вас душат. Или Кайафа и Анна и все те, кто держится за закон, или рыбак. Они должны уничтожить его, иначе он уничтожит их.

— Не странно ли, что он такой простой человек, простой рыбак, — промолвила жена Пилата. — Каким должен быть человек, обладающий подобной властью? Я бы хотела увидеть его. Я бы хотела собственными глазами увидеть такого

замечательного человека.

Пилат нахмурил брови при этих словах, и стало ясно, что к терзавшим его заботам добавилась еще одна — болезненное душевное состояние его жены.

— Если ты хочешь видеть его, беги в вертепы города, — презрительно засмеялась Мириам. — Там ты найдешь его, потягивающего вино в обществе непотребных женщин. Никогда еще не являлся в Иерусалим столь странный пророк.

— Что за беда в этом, — спросил я, невольно принимая сторону рыбака. — Не упивался ли я вином, не предавался ли оргиям в провинциях? Мужчина есть мужчина, и его манера жить — манера мужская. Или и я — сумасшедший, что я, однако, отрицаю.

Мириам покачала головой, сказав:

— Он не безумный, хуже этого — он опасен. Он разрушит все, что установлено. Он — революционер. Он разрушит то немногое, что осталось от иудейского государства и Храма.

Тогда Пилат покачал головой.

— Он не политик. Мне донесли о нем. Он ясновидец. Он не подстрекает к мятежу. Он одобряет даже римские налоги.

— Ты еще не понял, — настаивала Мириам. —

Это не входит в его расчеты, но результаты, к которым приведут его планы, если осуществятся, сделают его революционером. Я сомневаюсь, чтобы он предвидел результат. Но все-таки он опасен, как чума, и, как чума, должен быть уничтожен.

— Судя по тому, что я о нем слышал, — сказал я, — он добросердечный, простой человек, без злых намерений.

К слову я рассказал об исцелении десяти прокаженных, чему я был свидетелем в Самарии на моем пути в Иерихон.

Жена Пилата пришла в восторг от того, что я рассказал. Вдруг до наших ушей донеслись шум и крики уличной толпы: мы поняли, что это солдаты очищали улицы.

— И ты веришь в это чудо, Лодброг? — спросил Пилат. — Ты веришь, что от сияния глаз гнойные язвы прокаженных заживают?

— Я видел их исцеленными, — ответил я. — Я последовал за ними, чтобы удостовериться. На них не было проказы.

— Но видел ли ты их больными перед исцелением? — настаивал Пилат.

Я покачал головой.

— Мне только говорили это, — согласился я. —

Когда я их увидел после, у них был вид людей, которые прежде были прокаженными. Они были ошеломлены. Там был один, который сидел и все время осматривал свое тело и глядел на свою гладкую кожу, как бы не будучи в состоянии поверить своим глазам. Он молчал и не смотрел ни на что, кроме своей кожи, когда я заговорил с ним. Он был совершенно ошеломлен. Он сидел там на солнце и все глядел на свою кожу.

Пилат пренебрежительно улыбнулся, и я заметил, что в спокойной улыбке на лице у Мириам было то же пренебрежение. А жена Пилата сидела неподвижно, едва дыша, с широкими и невидящими глазами.

Но вмешался Амбивий:

— Кайафа уверяет — он сказал мне это вчера, — что рыбак обещает свести Бога с небес на землю и создать здесь новое царство, которым будет править Бог.

— Что означает конец власти римлян, — перебил я.

— Этим Кайафа и Анна и хотят напугать Рим, — объяснила Мириам. — Это неправда. Это ложь, которую они придумали.

Пилат кивнул головой и спросил:

— Но ведь в ваших старых книгах есть подобное

пророчество? Вот его-то здешние священники и выдают за намерения этого рыбака.

Она подтвердила это и привела цитаты. Я рассказываю этот эпизод, чтобы показать, как глубоко Пилат изучил народ, который он с таким трудом держал в повиновении.

— Я слышала только, — продолжала Мириам, — что Иисус предсказывает конец света и начало царства Божьего, не здесь, а на небесах.

— Да, это так, — сказал Пилат. — Иисус считает римские налоги справедливыми. Он утверждает, что Рим должен править, пока не кончится всякая власть, пока не наступит конец света. Я прекрасно вижу, какую игру Анна ведет со мной.

— Некоторые из его последователей, — вмешался Амбивий, — провозглашают его самого Богом.

— Мне ничего не доносили об этом, — сказал Пилат.

— Почему нет? — вздохнула его жена. — Почему нет? Боги спускались прежде на землю.

— Видите ли, — сказал Пилат, — я знаю из достоверного источника, что Иисус сотворил какое-то чудо, благодаря которому множество людей наелись несколькими хлебами и рыбами. Из-за этого тупицы галилеяне захотели сделать его царем. Хотели это сделать против его воли.

Прячась от них, он убежал в горы. В этом нет безумия. Он слишком мудр, чтоб принять ту судьбу, которую они хотели бы ему навязать.

— Все-таки именно в этом состоит интрига Анны против тебя, — возразила Мириам. — Они заявляют, что он хочет стать царем Иудеи, а это оскорбление римской власти, и поэтому Рим должен разделаться с ним.

Пилат пожал плечами.

— Скорее он царь нищих или царь мечтателей. Он не глуп. Он мечтатель, но не мечтает о мирской власти. Желаю ему удачи в ином мире, потому что он вне юрисдикции Рима.

— Он утверждает, что собственность — грех. На это упирают фарисеи, — заговорил Амбивий.

Пилат расхохотался от души.

— Это царь нищих, и его нищие подданные все же уважают собственность, — объяснил он. — В самом деле, посмотрите, еще недавно у них даже был казначей. Его звали Иуда. И говорят, он частенько запускал руку в общий кошелек, который ему доверили.

— Некоторые заявляют также, что Иисус — сын Давида, — сказала Мириам. — Но это абсурд. Никто в Назарете не верит этому. Видите ли, вся его семья вместе с замужними сестрами живет здесь

и известна каждому из нас. Это простые люди, совсем из простонародья.

— Я бы хотел, чтобы доклад обо всех этих сложных вопросах, который я должен послать Тиберию, был столь же прост, — проворчал Пилат. — А пока что этот рыбак пришел в Иерусалим, город набит паломниками, готовыми к восстанию, а Анна заваривает кашу.

— И он добьется своего, — промолвила Мириам. — Он будет загребать жар твоими руками.

— Как это? — спросил Пилат.

— Он заставит тебя казнить этого рыбака.

Пилат упрямо покачал головой, но его жена воскликнула:

— Нет, нет, это было бы позорной несправедливостью! Человек этот не сделал ничего дурного. Он не совершил преступления против Рима.

Она умоляюще смотрела на Пилата, который продолжал качать головой.

— Пусть они сами рубят головы, как это сделал Антипа, — проворчал он. — Дело не в рыбаке, но я не хочу служить орудием для их планов. Если они должны его уничтожить, пусть уничтожают. Это их дело.

— Но ты не допустишь этого! — вскричала жена Пилата.

— Нелегко мне будет объяснить Тиберию мое вмешательство, — ответил он.

— Как бы там ни было, — сказала Мириам, — тебе все равно придется писать объяснения в Рим, потому что Иисус уже пришел в Иерусалим и многие из его рыбаков вместе с ним.

Пилат не скрыл раздражения, вызванного этим известием.

— Меня не интересуют его перемещения, — произнес он. — Надеюсь никогда его не встретить.

— Анна найдет его и приведет к твоим воротам, — сказала Мириам.

Пилат пожал плечами, и на этом кончился разговор. Жена Пилата, нервная и усталая, позвала Мириам на свою половину, так что мне не оставалось ничего иного, как пойти к себе и задремать под гул города сумасшедших.

События быстро развивались. Наутро раскаленный город вспыхнул. В полдень, когда я выехал с небольшим отрядом своих людей, улицы были переполнены, и с большей неохотой, чем всегда, народ расступался передо мной. Если бы взгляды могли убивать, я был бы мертвым в этот день. Не стесняясь, они плевали мне вслед, и всюду раздавались яростные вопли.

Я был не столько предметом удивления, сколь-

ко ненависти, потому что носил ненавистные доспехи Рима. В другом городе я отдал бы приказ моим солдатам обрушить на спины этих помешанных фанатиков удары мечей плашмя. Но это был Иерусалим, бьющийся в горячке, и народ, неспособный отделить в мыслях идею о государстве от идеи о Боге.

Анна, саддукей, хорошо знал свое дело. Не важно, что думали он и синедрион о действительном положении вещей; но было ясно, что чернь сумели убедить в причастности Рима ко всему этому.

Я случайно встретил в толпе Мириам. Она шла пешком в сопровождении одной только служанки. Это было не самое подходящее время для прогулок по улице со всей свитой и в богатом облачении, какие подобали ее положению, поскольку она приходилась свояченицей Антипе, к которому немногие питали любовь. Поэтому она оделась скромно, закрыла лицо, чтобы не отличаться от женщин низкого сословия. Но она не могла скрыть от моих глаз свою стройную фигуру, манеры и походку.

Немногими словами смогли мы обменяться, потому что улица была полна народа, а вскоре моих верховых оттеснила толпа. Мириам укрылась за выступом ограды.

— Поймали они рыбака? — спросил я.

— Нет, но он как раз за этой стеной. Он въехал в Иерусалим верхом на осле, и множество людей бежали позади него и впереди его, и какие-то несчастные глупцы приветствовали его как царя Израиля. Это, наконец, послужит предлогом, с помощью которого Анна принудит Пилата действовать. На деле, хотя он еще не задержан, приговор уже подписан. Этот рыбак — конченый человек.

— Но Пилат не арестует его, — протестовал я.

Мириам покачала головой.

— Анна приложит к этому старания. Они приведут его в синедрион. И приговором будет смерть. Они побьют его камнями.

— Но синедрион не имеет права казнить, — возражал я.

— Иисус не римлянин, — ответила она. — Он — иудей. По закону Талмуда он заслужил смерть, потому что богохульствовал.

Я снова покачал головой:

— Синедрион не имеет права.

— Тогда Анна принудит Пилата распять его, — улыбнулась она. — Во всяком случае, это будет хорошо.

Толпа рванулась, увлекая наших лошадей, и

мы невольно прижались коленями друг к другу. Какой-то фанатик упал, и я почувствовал, что моя лошадь встала на дыбы, споткнувшись об него; раздались вопли и брань, перешедшие в угрожающий рев. Но я повернул голову и обратился к Мириам:

— Вы жестоки к человеку, который, как вы сами сказали, безобиден.

— Я жестока к тому злу, которое случится, если он останется в живых, — ответила она.

Я едва уловил ее слова, потому что какой-то человек прыгнул, схватился за мою уздечку и за мою ногу, пытаясь стащить меня с лошади. Наклонившись вперед, я ударил его открытой ладонью по лицу. Моя ладонь покрыла половину его лица, и я вложил в этот удар весь свой вес. Жители Иерусалима не привыкли к побоям, и я часто удивлялся потом, что не сломал парню шею.

Я увидел Мириам только на следующий день. Я встретил ее во дворце Пилата. Она была, как во сне. Ее глаза едва видели меня. С трудом дошло до ее сознания, что перед ней я. Такая она была странная, в таком оцепенении, так далеко смотрел ее взгляд, что я вспомнил прокаженных, исцеленных в Самарии.

Усилием воли она стала собой, но только внешне. В ее глазах была весть, которую нельзя было прочитать. Никогда раньше не видел я у женщины таких глаз.

Она прошла бы, не поздоровавшись со мной, если бы я не встал у нее на дороге, лицом к лицу. Она остановилась и механически пробормотала слова приветствия, но все это время она грезила не обо мне, и в ее глазах до сих пор пылало величие того, что ей довелось созерцать.

— Я видела его, Лодброг, — прошептала она. — Я видела его.

— Дай Бог, чтобы на него не повлияла так плохо встреча с тобой, как на тебя встреча с ним, кто бы он ни был, — засмеялся я.

Она не обратила внимания на мою неуместную шутку, и ее глаза были все так же полны ее видением. Она хотела пройти мимо меня, но я снова преградил ей дорогу.

— О ком ты говоришь? — спросил я. — Кто-то воскрес из мертвых и зажег твои глаза столь странным светом?

— Это тот, кто воскрешает других, — ответила она. — Правда, я верю, что он, этот Иисус, вернул к жизни умершего. Он Князь Света, сын Божий. Я видела его. Да, я верю, что он — сын Бога.

Немного мог я понять из ее слов, кроме того, что она встретила этого бродячего рыбака и была захвачена его безумием. Несомненно, эта Мириам была не та Мириам, которая клеймила его, называя чумой, и требовала, чтобы он был уничтожен, как чума.

— Он околдовал тебя! — раздраженно вскричал я.

Глаза ее увлажнились, взгляд стал еще более глубок, и она кивнула.

— Последуй за ним, — насмехался я. — Без сомнения, ты наденешь корону, когда он обретет свое царство.

Она утвердительно кивнула головой, и мне хотелось ударить ее по лицу. Я отступил в сторону, и, медленно уходя, она бормотала:

— Его царство не здесь. Он сын Давида. Он сын Бога. Он то, что он говорит, и он то, что говорят о нем, когда пытаются передать словами его неизреченную доброту и его истинное величие.

— Это мудрый человек с Востока, — рассуждал Пилат, когда я увидел его. — Он мыслитель, этот неученый рыбак. Я глубже разобрался в нем. Я получил свежие донесения. Он не нуждается в чудесах. Он более искушен в споре, чем его противники. Они расставили капканы, а он по-

смеялся над ними. Вот, послушай-ка.

И он рассказал мне, как Иисус смутил тех, кто хотел смутить его, когда ему привели на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии.

— И налоги! — ликовал Пилат. — Кесарево — кесарю, а Богово — Богу, был его ответ. Это подстроил Анна, и Анна был посрамлен. Наконец здесь появился иудей, который понял нашу римскую концепцию государства.

Вскоре появилась жена Пилата. Взглянув в ее глаза — после того как я видел глаза Мириам, — я понял в тот же момент, что эта взвинченная, растерянная женщина тоже видела рыбака.

— В нем есть божественное, — пробормотала она мне. — Чувствуется, что Бог пребывает в нем.

— Бог ли он? — спросил я учтиво, так как должен был что-нибудь сказать. Она покачала головой.

— Не знаю. Он не сказал. Но одно я знаю: такими бывают только Боги.

«Покоритель женщин», — составил я мнение, покинув жену Пилата, блуждающую в грезах и видениях.

Что произошло в последующие дни, известно каждому из тех, кто читает эту книгу. И именно

в те дни я узнал, что этот Иисус покорял также и мужчин. Он покорил Пилата. Он покорил меня.

После того как Анна послал Иисуса к Кайафе, а синедрион, собравшийся в доме Кайафы, приговорил Иисуса к смерти, его в сопровождении завывающей черни привели к Пилату для казни.

Но, в интересах своих и Рима, Пилату не хотелось его казнить. Пилату не было дела до рыбака, но его волновал порядок и мир. Чего стоила для Пилата одна человеческая жизнь, много человеческих жизней? И все же, когда хмурый Пилат вышел встретить чернь, которая вела рыбака, он немедленно попал под власть чар этого человека.

Я присутствовал при этом. Я знал, что Пилат увидел его в первый раз. Пилат был поначалу раздражен и готов дать команду солдатам, чтобы они очистили двор от беснующейся толпы. Но как только Пилат остановил взгляд на рыбаке, он был сражен мгновенно, он сразу почувствовал интерес. Он протестовал против приговора, требовал, чтобы рыбака судили бы по их законам, так как он был иудей, а не римлянин. Никогда еще иудеи не уважали так римские законы! Они выкрикивали, что если они, при владычестве Рима, сами казнят человека, то совершат преступление. И

однако Антипа ведь обезглавил Иоанна и не имел неприятностей из-за этого.

Пилат оставил их на дворе под открытым небом и повел одного Иисуса в зал суда. Что там произошло, я не знаю, кроме того, что когда Пилат вышел оттуда, он совершенно изменился. Если прежде он был против этой казни, не желая быть игрушкой в руках Анны, то теперь он был против казни из-за самого рыбака. Его усилия были направлены на то, чтобы спасти рыбака. А в это время толпа кричала: «Распни его! Распни его!»

Ты, читатель, знаешь, что Пилат искренне старался. Знаешь, как он пытался одурачить толпу, высмеивая Иисуса как безвредного безумца, а после предложил дать ему свободу согласно обычаю отпускать во время Пасхи одного из заключенных. И ты знаешь, как послушная искусным нашептываниям первосвященников толпа стала требовать освобождения убийцы Варравы.

Напрасно Пилат боролся против судьбы, когда его прижали первосвященники. Зубоскальством и шутками он надеялся превратить случившееся в фарс. Смеясь, он называл Иисуса «царем иудейским» и приказывал бичевать его. Он надеялся на то, что все кончится смехом и в смехе все позабудется.

Я очень рад, что ни один римский легионер не принял участия в том, что последовало. Это солдаты вспомогательных войск надели на Иисуса корону и плащ, вложили скипетр в его руки и приветствовали его, упав на колени, как царя Иудеи. Это была напрасная комедия, имевшая целью умиротворить толпу. И я, наблюдая все это, постиг силу чар Иисуса. Несмотря на жестокие издевательства, он был величествен. И на меня снизошел покой. Это его собственное спокойствие передалось мне. Происходящее более не волновало меня, я был всем доволен и не сомневался ни в чем. Это должно было случиться. Все было хорошо. Спокойствие Иисуса среди поношения и страданий стало моим спокойствием. У меня не возникла мысль, что его надо спасать.

Пилат еще боролся. Возбуждение толпы нарастало. Она жаждала крови, настаивая на распятии. Снова Пилат вернулся в зал суда.

Но теперь бушевал уже весь город. Наши войска вне дворца были сметены огромной толпой. Начался бунт, который в мгновение ока мог превратиться в гражданскую войну. Мои собственные двадцать легионеров находились у меня под рукой и в полной готовности. Они любили фанатиков-иудеев не больше, чем я, и были бы

рады моему приказу очистить двор при помощи обнаженных мечей.

Я видел, что Пилат колеблется. Его взгляд то и дело обращался ко мне, как будто он был готов подать мне знак, чтобы я бросился на толпу. И я шагнул вперед. Я был готов прыгнуть, чтобы исполнить наполовину высказанное желание Пилата, — очистить двор от этих жалких подонков, прогнав их силой.

Но не колебания Пилата заставили меня принять решение. Это был сам Иисус, который решил за меня и за Пилата. Иисус посмотрел на меня и приказал мне. Я говорю вам, этот рыбак, этот странствующий проповедник приказывал мне. Он не произнес ни слова. И все же он приказывал мне, и его приказания нельзя было ослушаться, как зова трубы. И я сдержался, потому что кем был я, чтобы противоречить воле и намерениям такого великого, спокойного и кроткого человека, каким был он? И, замерев на месте, я ощущал всю силу его чар, все то в нем, что покорило Мириам и жену Пилата, что покорило самого Пилата.

Вы знаете, что было дальше. Пилат умыл руки в крови Иисуса, и на головы самих бунтовщиков пала его кровь. Пилат дал приказ распять его. Чернь была довольна, а с чернью и Кайафа, Анна

и синедрион. Не Пилат, не Тиберий, не римские легионеры распяли Иисуса.

Да, и Пилат позволил себе последнюю насмешку над этим народом, который он ненавидел. Он прикрепил к кресту Иисуса табличку с надписью на еврейском, греческом и латинском языках, которая гласила: «Царь Иудейский». Напрасно священники выражали недовольство. Ведь этим предлогом они воспользовались, чтобы принудить Пилата казнить Иисуса; и этот предлог, оскорбительный для иудейской расы, подчеркнул Пилат. Пилат казнил отвлеченную идею, которая никогда не существовала в действительности. Отвлеченной идеей были обман и ложь, измышленные в головах священников. Ни они, ни Пилат не верили в нее. Иисус отрицал ее. Она воплощалась в словах «Царь Иудейский».

Буря во дворе суда утихла. Возбуждение медленно остывало. Мятеж был предупрежден. Священники остались довольны, чернь успокоилась, а мы с Пилатом были утомлены и исполнены отвращения ко всему этому делу. И все-таки и над ним и надо мной немедленно разразилась буря. До того как увели Иисуса, одна из служанок Мириам позвала меня к ней, и я увидел, что Пилату тоже передали приглашение через служанку его

жены, и он последовал ему, как и я.

— О, Лодброг, — встретила меня Мириам, — я слышала!

Мы были одни, и она прижалась ко мне, ища поддержки и силы в моих объятиях.

— Пилат сдался. Он собирается распять Его. Но еще есть время. Твои солдаты готовы. Поезжай с ними. С Иисусом сейчас только центурион и горстка солдат. Они еще не двинулись в путь. Как только они двинутся, последуй за ними. Они не должны достигнуть Голгофы. Но подожди все же, пока они не окажутся вне городских стен. Тогда отмени приказание. Дай ему лучшую верховую лошадь. Остальное легко. Скачи с ним в Сирию или в Идумею, или куда угодно, но так далеко, чтобы он был спасен.

Сказав это, она обвила руками мою шею, и ее лицо оказалось рядом с моим так соблазнительно близко, причем глаза ее были торжественны и много обещали.

Не мудрено, что я не торопился отвечать. В тот момент в моей голове не было других мыслей, кроме одной. После той страшной драмы, которая только что разыгралась передо мной, теперь на меня свалилась новая напасть. Я понял ее. Дело было ясно. Великая женщина будет моей, если…

если я изменю Риму. Потому что Пилат являлся наместником, и его приказ был волей Рима.

Как я говорил, Мириам была женщиной до мозга костей, и именно это в конце концов разлучило нас. Всегда она была столь рассудительной, трезвомыслящей, уверенной в самой себе и во мне, что я забыл или, скорее, снова получил вечный урок, который мне приходилось учить во всех жизнях: о том, что женщина всегда есть женщина, что в великие, решительные минуты она не размышляет, а чувствует, что она подчиняется велениям сердца, а не разума.

Мириам не поняла моего молчания, потому что, прильнув ко мне, она прошептала:

— Возьми двух лучших лошадей, Лодброг, я поеду на другой… с тобой… с вами, прочь, на край света, куда бы ты не отправился.

Это была царственная взятка, взамен от меня требовали совершить низкий и презренный поступок. Я еще ничего не говорил. Но не потому, что был смущен или имел какие-либо сомнения. Я был просто опечален, сильно и внезапно опечален, ибо знал, что держу в руках то, что никогда не буду больше держать.

— Только один человек в Иерусалиме может спасти Иисуса, — настаивала она, — и этот чело-

век — ты, Лодброг.

Так как я не сразу ответил, она потрясла меня за плечи, как бы желая вывести меня из оцепенения. Она трясла меня, пока не зазвенели мои доспехи.

— Говори, Лодброг, говори же, — приказала она. — Ты силен и не знаешь страха. Ты — настоящий мужчина. Я знаю, ты презираешь чернь, которая хочет уничтожить его. Ты, ты один можешь его спасти. Тебе достаточно только сказать слово, и все будет сделано, и я буду тебя любить, всегда любить за то, что ты сделал.

— Я — римлянин, — ответил я тихо, твердо зная, что этими словами я отнимаю у нее всякую надежду.

— Ты раб Тиберия, собака Рима! — вспыхнула она. — Но ты ничем не обязан Риму, потому что ты не римлянин по рождению. Вы, белые великаны Севера, — вы не римляне.

— Римляне — наши старшие братья, для нас, юношей с Севера, — ответил я. — А кроме того, я ношу доспехи Рима и ем его хлеб. — И я прибавил нежно: — Но к чему весь этот шум и гнев из-за одной человеческой жизни? Все люди должны умереть: просто и легко умереть. Сегодня или через сто лет — это не важно. Мы знаем, что это в

конце концов случится со всеми нами.

Она задрожала в моих объятиях, горя страстным желанием спасти его.

— Ты не понимаешь, Лодброг. Это не простой человек. Говорю тебе, он выше всех остальных людей…

Я держал ее крепко и знал, что отказываюсь от прекрасной женщины, говоря:

— Я — мужчина, ты — женщина. Наша жизнь проходит в этом мире. Все, что касается других миров, — безумие. Предоставь мечтателям идти по пути их грез. Предоставь им то, чего они желают больше всего, больше мяса и вина, больше песен и битв, даже больше любви. Но мы с тобой пребываем здесь, среди очарования и радости, которые мы нашли друг в друге. И без того достаточно скоро наступит мрак, и ты отправишься на свои солнечные и цветущие берега, а я — к шумному столу Вальгаллы.

— Нет, нет, — вскричала она, почти вырвавшись из моих объятий. — Ты не понял. Все величие, вся доброта, все божественное заключается в этом человеке, который больше, чем человек. И он должен умереть позорной смертью: только рабы и воры умирают так! Он же не раб и не вор. Он бессмертен.

— Ты сказала, что он бессмертен, — спорил я. — В таком случае, смерть сегодня на Голгофе не сократит его бессмертия ни на волос, ни на мгновение времени.

— О, — крикнула она, — ты не поймешь. Ты только огромный кусок мяса!

— Не предсказано ли в древние времена это событие? — спросил я, потому что я научился у иудеев тому, что называл изворотливостью мышления.

— Да, да, — согласилась она. — Предсказание о Мессии. Это Мессия.

— Как же в таком случае, — спросил я, — я могу спорить с пророками? Делать из Мессии — лжемессию? Неужели пророчество твоего народа такой пустяк, что я, глупый иностранец, белокурый северянин в римских доспехах, могу изменять прорицания и мешать исполнению того, что хотел Бог и предсказывали мудрецы?

— Ты не понимаешь, — повторяла она.

— Я понимаю слишком хорошо, — ответил я. — Разве я более велик, чем боги, что могу действовать вопреки их воле? Я — человек. Я тоже преклоняюсь перед богами, пред всеми богами, потому что я верю во всех богов, иначе бы откуда они взялись?

Она вырвалась из моих жаждущих объятий, так что мои руки повисли в воздухе, и мы отступили далеко друг от друга, слушая шум толпы на улице, когда солдаты повели по ним Иисуса. И на сердце моем лежала печаль из-за того, что такая великая женщина была так безрассудна. Она хотела спасти Бога. Она хотела стать выше Бога.

— Ты не любишь меня, — сказала она медленно, и медленно в ее глазах росло обещание, слишком большое и глубокое, чтобы его можно было выразить в словах.

— Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, — был мой ответ. — Я горд своей любовью к тебе, ибо знаю, что достоин своей любви к тебе и всей любви, которую ты можешь мне дать. Но Рим — мой приемный отец, и если я изменю ему, моя любовь к тебе будет немногого стоить.

Рев толпы, следовавшей за Иисусом и солдатами, замер в отдалении. И когда стихли все звуки, Мириам повернулась, чтобы уйти, не одарив меня ни словом, ни взглядом.

Я познал в последний раз прилив сумасшедшего желания. Я прыгнул и схватил ее. Я хотел взять ее к себе на седло и умчаться с ней и моими людьми в Сирию, подальше от этого проклятого города

безумия. Она сопротивлялась, я удерживал ее. Она била меня по лицу, но я продолжал держать ее, потому что ее удары были мне сладки. И вдруг она перестала сопротивляться. Она стала холодна и неподвижна, и я понял, что в том существе, которое я обнимал, не было влечения ко мне. Для меня она умерла. Медленно я выпустил ее. Медленно она повернулась и пошла. Как будто не замечая меня, она пересекла комнату в полной тишине; не оборачиваясь, раздвинула занавес и удалилась.

Я, Рагнар Лодброг, так и не научился читать и писать. Но в свое время я слышал красноречивых людей и прекрасные рассказы. Как я вижу теперь, я не научился ни красноречию иудеев, постигших суть своего закона, ни римлян, изучавших философию, свою и греческую. Поэтому я изложил здесь все просто и прямо, как может говорить человек, жизненный путь которого начался на корабле Тостига Лодброга, под кровлей Бруннанбура, затем вел через весь свет к Иерусалиму и обратно. И так же прямо и просто, по возвращении в Сирию, доложил я Сульпицию Квирину о различных событиях, происходивших в Иерусалиме.

Глава XVIII

Приостановка жизнедеятельности — не редкость не только в растительном мире и в низших формах животной жизни, оно свойственно и весьма развитому и сложному организму самого человека. Каталепсия — всегда каталепсия, независимо от того, чем она вызвана. С незапамятных времен индийские факиры умеют по своей воле впадать в это состояние. Это старый фокус факиров — хоронить себя заживо. Иногда люди, впавшие в подобный транс, вводили в заблуждение врачей, которые принимали их за умерших и давали приказание зарыть их при жизни в могилу.

Так как мои опыты в смирительной рубашке продолжались, я часто раздумывал об этой проблеме приостановки жизнедеятельности. Я вспомнил, что читал о крестьянах дальнего севера Сибири, которые обычно проводили долгую зиму в спячке, совсем как медведи и другие дикие звери. Ученые обнаружили, что в течение этих периодов «долгого сна» дыхание и пищеварение у них фактически приостанавливались и сердце билось так слабо, что услышать его стук мог толь-

ко специалист.

Когда организм находится в этом состоянии, ему не нужны воздух и пища. Отчасти на этом соображении был основан мой вызов начальнику тюрьмы Азертону и доктору Джексону. Именно в силу этого я решился спровоцировать их на то, чтобы они дали мне сто дней смирительной рубахи. А они не посмели принять мой вызов. Тем не менее я обходился без воды так же хорошо, как и без пищи на протяжении десяти дней шнурования. Я находил нестерпимо неприятным насильственное возвращение из мира грез к гнетущему настоящему при помощи подлого тюремного врача, подносящего воду к моим губам. Поэтому я предупредил доктора Джексона, что, во-первых, я собираюсь обходиться без воды во время пребывания в рубахе, и во-вторых, что я буду противиться всякой попытке принудить меня пить.

Конечно, не обошлось без некоторой борьбы; но вскоре доктор Джексон сдался. С того момента Даррел Стэндинг пребывал в смирительной рубашке всего несколько секунд. Немедленно после того, как меня зашнуровывали, я призывал временную смерть. Практика сделала это простым и легким делом. Я приостанавливал свою жизне-

деятельность и сознание так быстро, что избегал действительно ужасного страдания, являющегося следствием прекращения циркуляции крови. Очень быстро наступал мрак. А затем первым, что появлялось в моем сознании, сознании Даррела Стэндинга, был снова свет, склоненные надо мной лица и понимание того, что десять дней пролетели во мгновение ока.

Но что за чудо и великолепие — эти десять дней, проведенных мною в других местах! Путешествия через длинные цепи существований! Долгий мрак, неверный свет, разгорающийся все ярче, и прежние мои «я», которые проступали в этом свете!

Много размышлял я об отношении этих других воплощений моего «я» ко мне самому и об отношении всего моего опыта к современной эволюционной теории. Я могу уверенно сказать, что мой опыт вполне согласуется с нашими выводами об эволюции.

Я, как и всякий человек, все время нахожусь в процессе развития. Я появился не тогда, когда родился, и даже не тогда, когда был зачат. Я рос и развивался в течение неисчислимых тысячелетий. Весь опыт всех этих жизней и бесчисленных других жизней образовал сущность духа того,

что представляю собою я. Понимаете ли? Все это — материя, из которой я состою. Материя не помнит, но дух — это память. Я — такой дух, состоящий из воспоминаний о моих бесконечных перевоплощениях.

Откуда вселилось в меня, Даррела Стэндинга, это биение красного гнева, которое испортило мою жизнь и привело меня в камеру осужденных? Конечно, оно не возникло тогда, когда был зачат младенец, которому суждено было стать Даррелом Стэндингом. Этот древний красный гнев гораздо старше моей матери, гораздо старше, чем самая первая мать человека.

Я весь состою из своего прошлого, с чем согласится каждый последователь закона Менделя. Все мои предшествовавшие «я» говорят во мне, имеют свое эхо и воздействуют на меня. В моем образе действий, в пылу страсти, проблеске мысли звучит и чувствуется тень, бесконечно малая тень и слабый отзвук длинного ряда других «я», которые предшествовали мне и участвовали в создании моей личности.

Сущность жизни пластична. В то же время эта сущность никогда не забывает. Отлейте ее в любую форму, старые воспоминания останутся. Все породы лошадей, начиная от тяжеловозов до

шотландских пони, произошли от первых диких лошадей, приручённых первобытным человеком. И все-таки до настоящего времени человек не отучил лошадь лягаться. А я, состоящий из элементов тех первых укротителей лошадей, не освободился от их красного гнева.

Я человек, рожденный женщиной. Мои дни кратки, но сущность моя неразрушима. И я буду рождаться снова. О, я буду рожден еще неисчислимое множество раз; и все-таки тупые олухи, окружающие меня, думают, что, стянув веревку вокруг моей шеи, они прекратят мое существование.

Да, я буду повешен… скоро. Сейчас конец июня. Через некоторое время они будут пытаться обмануть меня. Они потащат меня из этой камеры в ванну согласно тюремному распорядку, по которому ванна полагается еженедельно. Но меня не приведут обратно в эту камеру. Мне дадут чистое белье и отправят в камеру смертников. Ночью и днем, бодрствующий или сонный, я буду находиться под стражей. Мне не позволят даже спрятать голову под одеяло из страха, чтобы я не опередил государство, задушив себя сам.

Все время яркий свет будет направлен на меня. И когда это уже здорово надоест мне, они выведут

меня утром из камеры в рубашке без воротника и сбросят меня в люк. О, я знаю! Их веревка будет хорошо растянута! Уже несколько месяцев палач Фолсема подвешивает на ней тяжелые грузы, чтобы хорошенько растянуть ее.

Да, мне придется лететь далеко. У них есть хитрые расчетные таблицы, похожие на таблицы для исчисления процентов, которые показывают требуемое отношение веса жертвы к расстоянию, которое она должна пролететь. Я так исхудал, что им придется подобрать веревку подлиннее, чтобы сломать мне шею. Затем зрители снимут шляпы, и когда я закачаюсь, доктор приникнет ухом к моей груди, чтобы проследить за моим слабеющим сердцебиением, и наконец заявит, что я мертв.

Это забавно! Это смешная наглость людей-червяков, которые думают, что могут убить меня. Я не могу умереть. Я бессмертен, как и они бессмертны; разница в том, что я знаю это, а они нет.

Чушь! Я был однажды палачом. Я хорошо помню это. Я казнил мечом, а не веревкой. Меч — это честный способ, хотя все способы одинаково недействительны. В самом деле, как будто дух может быть разрублен мечом или задушен веревкой!

Глава XIX

Я считался самым неисправимым заключенным тюрьмы Сен-Квентин после Оппенхеймера и Моррелла, которые гнили со мной здесь во мраке целые годы. Конечно, под неисправимостью я понимаю выносливость. Ужасны были попытки сломать их тело и дух, но еще ужаснее были усилия, направленные против меня. Но я выдержал. «Динамит или крышка» — таков был ультиматум начальника тюрьмы Азертона. И в конце концов получилось ни то, ни другое. Я не мог создать динамит, а начальник тюрьмы Азертон не смог покончить со мной.

Причиной тому не выносливость моего тела, а выносливость духа. Причиной тому то, что в прежних существованиях мой дух получил стальную закалку благодаря суровым испытаниям. Одно испытание особенно долго было для меня чем-то вроде кошмара.

Оно не имело ни начала, ни конца. Я находился на скалистом, омываемом волнами островке, таком низком, что при буре соленая пена заливала его самые высокие места. Там лил дождь. Я жил в берлоге и много страдал, потому что у меня не

было огня, и я питался сырым мясом.

Я постоянно страдал. То было продолжением какого-то переживания, начала которого я не мог выяснить. И поскольку, погружаясь во временную смерть, я был не в состоянии определять направление своих путешествий, то часто я переживал это особенно ненавистное существование. Единственные радостные мгновения были у меня тогда, когда сияло солнце; тогда я грелся на скалах и оттаивал от того почти вечного холода, от которого все время мучился.

Моим единственным развлечением было весло и большой складной карманный нож. На это весло я потратил много времени, вырезая маленькие буквы и делая зарубки, отмечая ими каждую прошедшую неделю. На нем было много зарубок. Я точил нож о плоский кусок скалы, и ни один парикмахер не заботится так о своей лучшей бритве, как заботился я об этом ноже. Никогда ни один скупец не ценил так свои сокровища, как я ценил мой нож. Он был столь же драгоценен, как и моя жизнь. В самом деле, это была моя жизнь.

После многих возвращений на этот островок я наконец сумел четко прочесть и запомнить надпись, вырезанную на весле. Сначала я мог удержать в своем сознании только отрывки.

Потом это стало легче, оставалось лишь собрать вместе отдельные части. И наконец я сложил ее всю целиком. Вот она:

«Тот, в чьи руки попадет это весло, пусть знает следующее: Дэниэл Фосс, уроженец Элктона, что в Мериленде, Соединенные Штаты Америки, отплывший из порта Филадельфия в 1809 году на двухмачтовом судне «Негоциант», направлявшемся к островам Дружбы, был выброшен в феврале следующего года на этот пустынный остров, где он соорудил себе хижину и жил долгие годы, питаясь тюленями, — он, последний оставшийся в живых из судовой команды вышеупомянутого брига, который наткнулся на айсберг и пошел ко дну 25 ноября 1809 года».

Таким было содержание надписи. С ее помощью я кое-что узнал о самом себе. Один досадный пункт, однако, мне не удалось выяснить. Находился ли этот остров далеко на крайнем юге Тихого океана или на крайнем юге Атлантического? Я недостаточно знаю пути плавания парусных судов, чтобы сказать с уверенностью, должен ли был «Негоциант» идти к островам Дружбы мимо мыса Горн или мимо мыса Доброй Надежды. Признаюсь в собственном невежестве — до тех пор, пока меня не посадили в Фолсем, я

не знал, в каком океане лежат острова Дружбы. Убийца-японец, о котором я упоминал прежде, был парусным мастером у Артура Севаля, и он сказал мне, что вероятный курс плавания должен был пролегать через мыс Доброй Надежды. Если это так, то с помощью даты отплытия из Филадельфии и даты кораблекрушения легко можно определить океан. К несчастью, известен только год отплытия, 1809, но не число и месяц. Крушение могло произойти как в одном океане, так и в другом.

Только однажды получил я некоторое указание на период, предшествовавший времени, проведенному на острове. Он начинается с момента столкновения брига с айсбергом, и я должен рассказать о нем для того, по крайней мере, чтобы дать отчет о моем удивительном хладнокровии и обдуманном поведении. Такое поведение в то время, как вы это увидите, и дало мне возможность остаться в живых одному из всего экипажа.

Я спал на скамье в передней части корабля и был разбужен ужасным треском. Шестеро других матросов моей вахты, дремавшие внизу, тоже проснулись и упали на пол все одновременно. Мы поняли, что случилось. Все остальные, не теряя ни минуты, устремились, полуодетые, на палубу.

Но я знал, на что можно рассчитывать, и не последовал за ними. Я знал, что если мы спасемся, то только с помощью баркаса. Ни один человек не сможет плавать в таком холодном море. И ни один человек, легко одетый, не проживет долго в открытой лодке. И я знал, сколько времени требуется, чтобы спустить на воду баркас.

Поэтому при свете мигающей масляной лампы, под шум, раздававшийся с палубы, и крики: «Он тонет!» — я принялся вытряхивать свой сундук, ища подходящую одежду. И поскольку я понимал, что вещи им больше не понадобятся, я опустошил сундуки моих товарищей. Действуя быстро, но хладнокровно, я не брал ничего, кроме самых теплых и плотных вещей. Я надел четыре самые лучшие шерстяные рубашки, три пары брюк и три пары толстых шерстяных чулок. И такими большими стали мои ноги, так много я на них надел, что не мог натянуть на них свои хорошие сапоги. Вместо этого я всунул ноги в новые сапоги Никласа Уилтона, которые были больше и даже крепче моих. Кроме того, я надел матросскую куртку Джереми Нейлера поверх своей, а на них — толстую парусиновую зюйдвестку Сета Ричардса, которую, как я помнил, он промаслил незадолго перед тем.

Две пары тяжелых рукавиц, шарф Джона Робертса, связанный для него матерью, и бобровая шапка Джозефа Дэвью с отворотами, надвинутыми на шею и уши, поверх моей собственной, дополнили мою экипировку. Крики о том, что бриг тонет, усилились, но я подождал еще минутку, чтобы наполнить карманы всем тем табаком, какой только мог разыскать. Затем я взобрался на палубу — и как раз вовремя.

Месяц, сияющий сквозь расколотую тучу, освещал мрачную картину. Повсюду лежали обломки такелажа, и повсюду были льдины. Паруса, веревки и реи грот-мачты, которая еще держалась, были окаймлены ледяными сосульками; и тогда вдруг на меня нашло чувство облегчения, что мне никогда больше не придется тащить и натягивать жесткие канаты и рубить лед, чтобы замерзшие веревки могли пройти через замерзшие шкивы. Ветер, почти шторм, резко рассекал воздух, что было признаком близости айсбергов, а на большие волны было даже холодно смотреть при лунном свете.

Баркас был спущен с левой стороны судна, и я увидел людей, с трудом таскавших бочки с провизией по обледеневшей палубе, а затем бросающих их, чтобы поскорее отплыть. Напрасно

капитан Николл боролся с ними. Набежавшая с наветренной стороны волна разрешила вопрос, смыв людей с палубы за борт. Я дотронулся до плеча капитана и, держась за него, прокричал ему в ухо, что если он спустится в лодку и не позволит людям отчалить, я возьму на себя заботу о провизии.

Во всяком случае, у меня было мало времени: едва я успел при помощи второго штурмана, Эйрона Нортрапа, спустить вниз с полдюжины бочонков и ящиков, как все закричали с баркаса, что они отчаливают. Они были правы. Прямо на нас с наветренной стороны неслась громадная ледяная гора, в то время как с противоположной стороны, у самого судна была другая, на которую мы наткнулись.

Быстро спрыгнул Эйрон Нортрап. Я повременил минутку, даже когда лодка уже тронулась, чтобы выбрать место в ее середине, где люди сидели теснее, так что их тела могли смягчить мое падение: я не собирался отправляться в такое рискованное путешествие на баркасе со сломанными костями. Стараясь не мешать матросам за веслами, я перебежал на корму, к месту для офицеров. Конечно, я имел веские основания для того. На офицерском месте было удобнее, чем на узком носу. И затем,

лучше было находиться ближе к корме, на случай беспорядков, которые следовало ожидать при подобных обстоятельствах.

Здесь сидели штурман Уолтер Джек, врач Арнольд Бентам, Эйрон Нортрап и капитан Николл, который был за рулевого. Доктор наклонился над Нортрапом, который лежал и стонал на дне лодки. Ему не посчастливилось при плохо продуманном прыжке: он сломал правую ногу в колене.

Впрочем, было не до него тогда, потому что мы боролись с бушующим морем, находясь между двумя айсбергами, которые плыли навстречу друг другу. Никласу Уилтону, загребному, не хватало места, так что я подвинул бочонки и, став на колени напротив него, стал налегать всей тяжестью моего тела на его весло. Впереди я мог видеть Джона Робертса, склонившегося над веслом. Привалившись к его плечам сзади, Артур Хаскинс и юнга Бенни Хардуотер помогали ему грести.

Это была тяжелая работа, и мы отплыли на сто ярдов, когда я оглянулся и увидел безвременный конец «Негоцианта». Он был, как тисками, сжат двумя льдинами, словно засахаренный чернослив в пальцах ребенка. Из-за завывания ветра и

рева воды мы ничего не слышали, хотя треск толстых ребер брига и палубных балок должен был быть достаточно сильным, чтобы всполошить село в тихую ночь.

И вот словно бы бесшумно борта брига сблизились, палуба треснула и вспучилась, остатки судна пошли ко дну и исчезли, а на том месте, где оно только что было, столкнулись два айсберга. Мне было жаль, что стихия разрушила корабль, долго бывший нашим убежищем от непогоды, но в то же время я очень радовался мысли о том, как мне уютно в моих четырех рубахах и трех куртках.

Все-таки это была суровая ночь, даже для меня. Я был одет теплее всех в лодке. Что другие должны были выстрадать — я даже не мог об этом думать. Мы боялись, что снова встретимся с айсбергами в темноте, и вычерпывали воду, держа нос баркаса против волны. И все время, то одной рукавицей, то другой, я растирал нос, чтобы он не обморозился. И одновременно, вспоминая о своей семье в Элктоне, я молился Богу.

Утром мы стали выяснять наше положение. Начать с того, что все моряки, кроме двух или трех, пострадали от мороза. Эйрон Нортрап не мог двигаться, потому что его сломанная нога

очень болела. По мнению врача, обе его ноги были безнадежно обморожены.

Баркас сидел в воде глубоко, потому что на нем находилась вся команда судна, двадцать один человек, двое из которых — юнги. Бенни Хардуотеру едва исполнилось тринадцать лет, а Лишу Дикери, семья которого жила по соседству с моей в Элктоне, только что минуло шестнадцать. Наша провизия состояла из трехсот фунтов говядины и двухсот фунтов свинины. Полдесятка буханок хлеба с просоленным мякишем, которые принес повар, не шли в счет. Затем у нас были три маленьких бочонка воды и одна маленькая бочка пива.

Капитан Николл откровенно признался, что не знает, куда нам плыть в этом неведомом океане, чтобы достичь ближайшей обитаемой земли. Единственное, что нам оставалось делать, — попытаться добраться до широт с более теплым климатом, как мы и поступили, укрепив наш маленький парус и направляясь по свежему ветру к северо-востоку.

Распределение продовольствия сводилось к простой арифметике. Мы не считали Эйрона Нортрапа, так как знали, что он скоро умрет. Употребляя по фунту в день на человека, мы

можем растянуть наши пятьсот фунтов на 25 дней; если по полфунта — провизии хватит на пятьдесят дней. Итак, мы решили употреблять по полфунта. Я делил и выдавал мясо на глазах у капитана, и исполнял это довольно честно, Бог свидетель, хотя некоторые ворчали поначалу. Время от времени я также делился табаком, которым набил многочисленные карманы, и только сожалел об этом; особенно когда видел, что его дают людям, которые, как я был уверен, протянут максимум один день или, в лучшем случае, два или три дня.

Потому что скоро люди начали умирать в открытой лодке. Этими преждевременными смертями мы были обязаны не голоду, а смертельному холоду, от которого никто не был защищен. Только самые выносливые и удачливые могли выжить. Я был крепкого телосложения и очень удачлив, поскольку был тепло одет и не сломал ноги, как Эйрон Нортрап. Но даже несмотря на это он был настолько крепок и силен, что прожил несколько дней, хотя раньше всех отморозил конечности. Первым умер Ванс Хатауэй. На рассвете мы нашли его на носу, он весь скорчился и совершенно окоченел. Юнга Лиш Дикери умер следом за ним. Другой юнга, Бенни Хардуотер,

прожил десять или двенадцать дней.

Так холодно было в лодке, что наши вода и пиво совсем замерзли, нелегко было отбивать куски складным ножом. Эти куски мы брали в рот и сосали до тех пор, пока они не таяли. Когда бушевал снежный шторм, у нас бывало сколько угодно влаги. Но мало проку было от нее для нас, потому что у тех, кто ел снег, воспалялась слизистая оболочка рта, которая затем совершенно высыхала и пылала огнем. И такую жажду было не утолить, потому что снег или лед просто усиливали воспаление. Я думаю, что это главным образом и послужило причиной смерти Лиша Дикери. Он был без сознания и бредил целых двадцать четыре часа перед смертью. Он умер, умоляя дать ему воды, и однако умирал он не из-за недостатка воды. Я старался устоять, по мере возможности, против искушения сосать лед, удовлетворяясь щепоткой табака за щекой, и благополучно избежал этой напасти.

Мы снимали всю одежду с наших покойников. Без покровов явились они в свет и без покровов уходили они за борт баркаса, в глубь студеного океана.

Одежду разыгрывали по жребию. Делалось это по распоряжению капитана Николла, чтобы

избежать ссор.

Обстоятельства не позволяли давать волю своим чувствам. Не было среди нас ни одного, кто не испытывал бы тайной радости при каждой смерти. Во время жеребьевок больше всех везло Айзрелу Стикни, так что под конец, когда он умер, от него остался целый склад одежд, который дал новую отсрочку живущим.

Мы продолжали плыть к северо-востоку, под свежим западным ветром, но наши поиски теплой погоды оставались тщетными. Все время струи воды замерзали на дне лодки, а я по-прежнему строгал пиво с помощи ножа Нортрапа. Я берег мой собственный нож. Он был из хорошей стали, с острым лезвием и отлично закален, и я не хотел портить его таким путем.

Со временем, когда половина нашей компании оказалась за бортом, лодка сидела уже не так глубоко и нам стало легче управлять ею. Стало просторнее, так что можно было удобно растянуться.

Источником постоянного ропота служила пища. Капитан, штурман, врач и я, переговорив об этом, решили не увеличивать ежедневную полуфунтовую порцию мяса. Шесть матросов, от имени которых выступил Тобиас Сноу, настаива-

ли, что, раз половина из нас умерла, значит, наш запас удвоился и что отныне ежедневная порция должна быть увеличена до фунта. Мы указывали в ответ, что наши шансы выжить удвоятся, если мы удовлетворимся полуфунтовым пайком.

Правда, восьми унций солонины было недостаточно для того, чтобы существовать и переносить суровый мороз. Мы были совсем слабы и из-за своей слабости легко замерзали. Наши носы и щеки совсем посинели, наполовину отмороженные. Невозможно было согреться, хотя теперь у нас было вдвое больше одежды, чем в начале нашего плавания.

Через пять недель после гибели «Негоцианта» разразился бунт из-за пищи. Я спал в это время, дело было ночью, когда капитан Николл поймал Джеда Хэтчинса за кражей свинины из бочонка. Что его надоумили на это остальные пять матросов, мы поняли из их поступков. Как только Джед Хэтчинс был пойман, все они вшестером бросились на нас с ножами. Это была горячая рукопашная при тусклом свете звезд, и слава Богу, что лодка не перевернулась. Я мог быть благодарен своим многочисленным рубашкам и пальто, которые послужили мне броней. Ножи едва касались кожи благодаря толщине одежды,

хотя я был оцарапан до крови приблизительно в десятке мест.

Другие были так же защищены, и схватка закончилась бы ничем, не ухватись штурман Уолтер Джек, весьма сильный мужчина, за идею выбросить мятежников за борт, чтобы кончить дело. К нему присоединились капитан Николл, врач и я, и тут же пятеро из шести очутились в воде, цепляясь за шкафут. Капитан Николл и врач возились посреди лодки с шестым, Джереми Нейлором, пытаясь выбросить его из лодки, тогда как штурман бил по пальцам хватавшихся за борт утопающих — и таким образом не давал им спастись. В ту минуту мне было нечего делать, и я мог видеть трагическую кончину штурмана: когда он поднял багор, чтобы ударить по пальцам Сета Ричардса, последний нырнул глубоко в воду и затем после огромного прыжка наполовину перегнулся через борт, схватил штурмана и, упав назад в воду, увлек его за собою. Без сомнения, он уже не отпустил свою добычу, и они утонули вместе.

Итак, из всего экипажа нашего судна остались только мы трое: капитан Николл, Арнольд Бентам, врач, и я. Семеро умерли мгновенно из-за попытки Джеда Хэтчинса украсть пищу. Я же

ужасно жалел, что столько хорошей теплой одежды погибло без пользы в море. Не один из нас мог бы с благодарностью надеть на себя еще что-нибудь.

Капитан и врач были хорошими и честными людьми. Довольно часто, когда двое других спали, бодрствовавший и правивший рулем мог стащить мясо. Но этого никогда не случалось. Мы вполне доверяли друг другу и предпочли бы умереть, чем обмануть это доверие.

Мы продолжали довольствоваться полуфунтом мяса в день, и пользовались всякий раз благоприятным ветерком, чтобы двигаться к северу. Только 14 января, то есть спустя семь недель после кораблекрушения, мы оказались в более теплом климате. Даже и там не было по-настоящему тепло. Просто не так чудовищно холодно.

Здесь свежий западный ветер изменил нам, и мы качались на одном месте в течение нескольких дней. Большею частью стоял штиль или дул легкий встречный ветер, хотя иногда порывы ветра не прекращались в продолжение нескольких часов. Поскольку мы были очень слабы, а лодка очень велика, не могло быть и речи о том, чтобы грести. Мы могли только экономить нашу провизию и ждать, чтобы Бог стал к нам милосерднее.

Все трое мы были верующими христианами и совершали молитву каждый день перед тем, как делить пищу. Да и каждый из нас молился про себя часто и долго.

К концу января нашей провизии почти не осталось. Свинины уже не было, и мы использовали бочонок из-под нее для сбора и хранения дождевой воды. Говядины было немного. И за все девять недель, проведенных нами в открытой лодке, мы не увидели ни одного паруса и не заметили ни одного островка земли. Капитан Николл откровенно признал, что после шестидесяти дней плавания он понятия не имеет, где мы находимся.

Двадцатого февраля был съеден последний кусок мяса. Я предпочитаю опустить подробности того, что случилось в ближайшие восемь дней. Я только опишу те происшествия, которые показали, какого рода людьми были мои товарищи. Мы так долго голодали, что у нас совершенно не осталось сил для того, чтобы бороться за жизнь, и когда провизия закончилась, мы оказались на грани скорой гибели.

Двадцать четвертого февраля мы стали спокойно обсуждать наше положение. Мы все трое были мужественными людьми, полными непре-

клонной воли к жизни, и никто из нас не хотел умирать. Ни один из нас не желал добровольно пожертвовать собой для двух других. Но мы сошлись на трех пунктах: мы должны раздобыть пищу; мы должны решить этот вопрос жребием, и мы бросим жребий на следующее утро, если только не будет ветра.

На следующее утро появился ветер, небольшой, но благоприятный, так что мы могли отметить продвижение вперед на два узла в нашем северном направлении. Утра двадцать шестого и двадцать седьмого февраля встретили нас подобным же ветром. Мы были ужасно слабы, держались нашего решения и продолжали плыть.

Однако утром двадцать восьмого февраля мы поняли, что пришло время. Баркас уныло скользил по гладкому, безветренному океану, и неподвижное тусклое небо не обещало ни малейшего ветерка. Я отрезал три лоскута одинакового размера от моей куртки. В одном из этих лоскутов была коричневая нитка. Кто его вытащит — тот погибнет. Затем я положил эти три жребия в мою шляпу, прикрыв ее шляпой капитана Николла.

Все было готово, но мы помешкали немного, совершая безмолвную молитву, потому что сознавали, что предоставили решение Богу. Я знал

цену себе и своей честности; но я также знал о честности и достоинствах моих товарищей, так что был в недоумении, как Бог сможет решить такой деликатный вопрос.

Капитан, как следовало ему по праву, вытащил жребий первым. Опустив руку в шляпу, он подождал еще несколько секунд, шепча последнюю молитву с закрытыми глазами. Он вытащил пустышку. Это было правильное, справедливое решение, — в чем я не мог не признаться самому себе, потому что я хорошо знал жизнь капитана Николла и то, каким он был честным, прямодушным и богобоязненным человеком.

Остались врач и я. Либо один, либо другой, и, согласно корабельной табели о рангах, ему надлежало тянуть второму. Снова мы стали молиться. Во время молитвы я силился вспомнить свою жизнь и беспристрастно подвести баланс моих добродетелей и пороков.

Я держал на коленях свою шляпу, покрытую шляпой капитана Николла. Врач сунул в нее руку и довольно долго шарил ею там, тогда как я задавал себе вопрос, можно ли на ощупь отличить коричневую нить от остальных.

Наконец он отдернул руку. Коричневая нитка оказалась в его лоскуте. Я тотчас же почувствовал

смирение и благодарность Богу за благословение, ниспосланное мне; и я решил исполнять еще добросовестнее все Его заповеди. В ближайшие минуты я не мог не почувствовать, что врач и капитан были ближе друг к другу по своему положению, чем ко мне, и что они были до известной степени разочарованы результатом. И вместе с этой мыслью росла уверенность, что они были настолько честными людьми, что это не помешает выполнению нашего плана.

Я был прав. Врач обнажил руку, раскрыл нож и приготовился вскрыть себе большую вену. Однако сперва он сказал несколько слов:

— Я из Норфолка, что в Виргинии, где, как я надеюсь, еще живут моя жена и трое детей. Единственное одолжение, о котором я прошу вас, — если Богу будет угодно помочь вам выпутаться из этого опасного положения и если вы будете настолько счастливы, что снова вернетесь на родину, сообщите моей несчастной семье о моей несчастной участи.

Затем он вежливо попросил у нас несколько минут, чтобы помолиться. Ни капитан Николл, ни я не могли произнести ни слова, и мы со слезами на глазах кивнули головой в знак согласия.

Без сомнения, Арнольд Бентам владел собою

лучше, чем мы. Мои мучения были ужасны, и я уверен, что капитан Николл страдал не меньше. Но что мы могли сделать? Решение Бога не могло быть несправедливым.

Но когда Арнольд Бентам закончил последние приготовления, я не сдержался и крикнул:

— Подождите! Мы, так много вытерпевшие, несомненно, сможем потерпеть еще немного. Сейчас полдень. Подождем до сумерек. Тогда, если ничего не случится такого, что изменит нашу ужасную судьбу, — тогда, Арнольд Бентам, вы сделаете то, о чем мы условились.

Он посмотрел на капитана Николла, ожидая его согласия на мое предложение, но капитан Николл смог только кивнуть головой. Он был не в силах вымолвить ни слова, но в его влажных и холодных голубых глазах была глубокая признательность, которую нельзя было истолковать неправильно.

Я не считал преступлением, что капитан Николл и я собирались воспользоваться смертью Арнольда Бентама, потому что мы так условились, и жеребьевка была проведена правильно. Я не мог верить, чтобы воля к жизни, которая руководила нами, была вложена в наши души кем-либо иным, кроме Бога. Это была воля Божья

— и мы, несчастные его творения, могли только слушаться и исполнять Его волю. И все-таки Бог добр. В своем милосердии Он спас нас от этого ужасного, хотя и справедливого поступка.

Не прошло и четверти часа, как сильный западный ветер, холодный и сырой, обжег наши щеки. Еще через пять минут наш парус надулся, а Арнольд Бентам сел за рулевое весло.

— Берегите оставшиеся силы, — сказал он. — Позвольте мне истратить мои последние, чтобы увеличить ваши шансы остаться в живых.

Итак, мы плыли под крепнущим ветром; капитан Николл и я растянулись на дне лодки и бредили от слабости, созерцая видения, возвращавшие нас к тому, что нам было дорого в этом мире.

Ветер все усиливался и начал дуть порывами большой силы. Густое облако, движущееся на небе, предвещало шторм. К полудню Арнольд Бентам потерял сознание у руля, и прежде, чем лодку успели захлестнуть бушующие волны, уже набегавшие на нее, капитан Николл и я налегли на весло со всей силой наших четырех ослабевших рук. Мы пришли к соглашению, и так же, как в силу своего положения он первым тянул жребий, так и теперь он первым взялся за руль.

Затем все трое сменяли друг друга каждые пятнадцать минут. Мы были очень слабы и не могли выдержать дольше.

После полудня началось опасное волнение. Не будь наше положение столь отчаянным, нам следовало повернуть нашу лодку, бросить плавучий якорь и лечь в дрейф.

И снова Арнольд Бентам, ради нас самих, умолял нас бросить плавучий якорь. Он знал, что мы боремся со стихией лишь для того, чтобы не приводить в исполнение приговор жребия. Он был благородным человеком. Столь же благороден был и капитан Николл, с его холодными, стальными глазами. И мог ли я быть менее благороден в таком благородном обществе? Я неустанно благодарил Бога в этот долгий, гибельный день за счастье знать двух таких людей. Бог и справедливость жили в них, и какова бы ни была моя несчастная судьба, я мог лишь чувствовать себя вполне вознагражденным такими товарищами. Как и они, я не хотел умирать, и все-таки не боялся смерти. Мимолетное сомнение в этих двух людях, посетившее меня ранее, уже давно рассеялось. Суровая школа и суровые люди, но они были благородными до конца.

Я первый увидел его. Арнольд Бентам, при-

мирившийся со смертью, и капитан Николл, близкий к тому, чтобы примириться с нею, лежали, скорчившись, на дне лодки, а я управлял ею, когда увидел его. Лодка, мчавшаяся вперед с натянутым парусом, поднялась вдруг на гребень волн, и прямо перед собой я увидел омываемый волнами скалистый островок. Я вскрикнул, и двое других, встав на колени, шатаясь и ища, на что опереться, стали пристально разглядывать то, что я обнаружил.

— Прямо к нему, Дэниэл, — пробормотал капитан свое приказание. — Здесь, должно быть, есть небольшая бухта. В этом наше единственное спасение.

Когда мы очутились у этого ужасного пустынного берега, к несчастью, не имеющего бухты, он сказал:

— Прямо на него, Дэниэл. Если мы теперь не доберемся до острова, то в другой раз и подавно не сможем этого сделать, мы слишком слабы… Против течения и в шторм мы бессильны…

Он был прав. Я выполнил его приказание. Он вытащил часы и посмотрел на них, когда я спросил, который час. Было пять часов. Он протянул руку Арнольду Бентаму, который слабо пожал ее, и оба посмотрели на меня, включая меня в свое

рукопожатие. Они прощались, я понял. В самом деле, какие шансы были у таких измученных существ, как мы, добраться живыми до высоких утесов за грядой этих омываемых прибоем скал?

В двадцати футах от берега лодка перестала слушаться руля. Через миг она перевернулась, и я оказался в соленой воде. Я больше никогда не видел моих товарищей. К счастью, меня спасло рулевое весло, которое я так и не выпустил, но особенно посчастливилось мне в том, что волна выбросила меня далеко на сушу, на маленький склон одного из утесов этого ужасного берега. Я не ушибся, я не был ранен. И с головой, кружащейся от слабости, я все же был в состоянии ползти и карабкаться дальше.

Я поднялся на ноги, сознавая себя спасенным и благодаря Бога, и шатался от слабости, когда стоял. Лодка была уже раздроблена на тысячу кусков. И хотя я не видел, но мог угадать, как жестоко были разбиты тела капитана Николла и Арнольда Бентама. Я увидел весло на пенистом гребне волн и, рискуя утонуть, стал вылавливать его. Затем я упал на колени, чувствуя, что теряю сознание. И все-таки, прежде чем упасть в обморок, следуя инстинкту моряка, я заставил себя проползти по ранящим тело камням как можно

дальше от волн, набегающих на берег.

Я был близок к смерти в эту ночь, пролежав почти все время в оцепенении, только изредка чувствуя мучительный холод и промозглую сырость. Утро принесло мне удивление и ужас. Ни деревца, ни былинки не росло на этом жалком выступе скалы, поднявшейся со дна океана. Это было лишь скопление скал шириной в четверть мили и длиной в полмили. Здесь совершенно нечего было есть. Меня мучила жажда, а пресной воды тут тоже не было. Напрасно я припадал открытым ртом к каждой выемке и впадине среди утесов. Брызги бушующих волн так окутали весь остров, что все впадины оказались наполненными соленой морской водой.

От лодки не оставалось ничего, ни единого куска, чтобы хотя бы напомнить мне о ее существовании. Я имел только одежду, которая была на мне, большой нож и весло, спасенное мной. Шторм ослаб, и весь тот день, шатаясь и падая, обдирая до крови руки и ноги, я тщетно искал воду.

В эту ночь, будучи ближе, чем когда-либо, к смерти, я укрылся от ветра за скалой. В довершение всего пошел сильный ливень. Я снял с себя несколько курток и расстелил их, чтобы они

вобрали в себя влагу, но когда я стал выжимать ее в свой рот, меня постигло страшное разочарование, потому что ткань насквозь пропиталась солью океана, в котором я чуть не утонул. Я лег на спину, открыв рот, чтобы поймать ртом хоть несколько капель дождя. Это было мучительно, но по крайней мере мое нёбо стало влажным, что спасло меня от сумасшествия.

На второй день я уже был совершенно болен. Я, после нескольких дней голода, вдруг чудовищно распух — отекли ноги, руки и все тело. Стоило лишь слегка надавить на кожу, и мои пальцы тонули на целый дюйм в ней, и углубления, сделанные таким образом, долго не исчезали. И все-таки я тяжело работал, чтобы исполнить волю Бога — и чтобы жить. Тщательно, голыми руками я очистил каждую впадину в скалах от соленой воды в надежде, что последующие дожди наполнят их водою, которую я смогу пить.

Моя печальная судьба и воспоминания о прежней счастливой жизни в Элктоне причиняли мне невообразимую душевную боль, так что в те дни я часто терял память на целые часы. Это было благом, потому что смягчало мои страдания, которые иначе убили бы меня.

Ночью меня разбудил шум дождя, и я стал

ползать от впадины к впадине, ловя дождевые капли или слизывая их со скал. Они были солоноватыми, но годными для питья. Этот дождь спас меня, потому что к утру я проснулся в поту и уже не бредил.

Затем появилось солнце, и впервые с тех пор как я попал на остров, я смог высушить большую часть моей одежды. Я выпил воды из подготовленных мной углублений и рассчитал, что в них, при бережливом расходовании, содержится запас на 10 дней. Изумительно, каким богачом я себя чувствовал с этим обильным запасом солоноватой воды! И ни один купец, чьи корабли благополучно вернулись в гавань, чьи амбары заставлены ларями до стропил, не мог себя чувствовать таким богатым, как я, когда нашел выброшенное на скалы тело тюленя, умершего уже несколько дней назад. Я не преминул сейчас же поблагодарить Бога, встав на колени, за это проявление Его безграничной доброты. Для меня было ясно: Бог не хотел, чтобы я умер.

Я понимал, каково состояние моего желудка, и ел умеренно, сознавая, что прожорливость, несомненно, убьет меня, если я не стану сдерживать себя. Никогда еще мои губы не касались ничего более вкусного, и я вполне могу признаться, что

проливал слезы радости, снова и снова созерцая этот разлагающийся остов.

Мое сердце опять сильно забилось надеждой. Я заботливо сохранил оставшиеся части тюленя. Я тщательно прикрыл свои цистерны в скалах плоскими камнями, чтобы от лучей солнца не испарилась драгоценная влага и чтобы порывы ветра и набеги волн не испортили мой запас соленой морской водой. Затем я собрал водоросли, высушил их на солнце, чтобы сделать себе постель на жестком утесе, где я устроил себе жилище. Мое платье было сухим — первый раз за эти дни, так что я заснул тяжелым сном истощенного и возвращающегося к жизни человека.

Когда я проснулся на следующий день, я стал другим. Отсутствие солнца не смутило меня, и я скоро узнал, что Бог не забыл обо мне, пока я спал, и приготовил для меня другие чудесные дары. Я протирал глаза и смотрел снова, не веря себе, потому что повсюду, где только мог видеть глаз, все прибрежные утесы были усеяны тюленями, тысячами тюленей, а в воде резвилось, оглушительно крича, еще множество их. Я понял, как только увидел это, что передо мной столько мяса, сколько хватило бы, чтобы прокормить экипаж двадцати кораблей.

Я сейчас же схватил весло, — так как на островке не было более подходящего оружия, — и осторожно приблизился ко всем этим запасам провианта. Я быстро сообразил, что эти морские создания не знакомы с человеком. Они не выказали признаков страха при моем приближении, и убивать их было просто детской забавой.

Когда я ударом весла по голове убил четырех, я внезапно сошел с ума. В самом деле, я потерял всякий разум, убивая, убивая и продолжая убивать. В течение двух часов я работал веслом неустанно, пока не свалился сам на землю. Сколько еще я мог прикончить их, не знаю, потому что в конце концов оставшиеся в живых тюлени, как по сигналу, бросились в воду и разом исчезли.

Я сосчитал, что убил больше двух сотен тюленей, и был испуган и потрясен безумием, охватившим меня. Мной овладел грех беспутной расточительности, и, надлежащим образом подкрепившись хорошей питательной пищей, я начал, как только мог, исправлять содеянное. Но сперва, прежде чем взяться за тяжелую работу, я снова благодарил Того, по чьему милосердию я был так чудесно спасен. После этого я работал до наступления темноты и даже после того как стемнело, обдирая кожу тюленей, разрезая мясо

на полосы и раскладывая их на утесах, чтобы высушить на солнце. Я нашел небольшие отложения соли в трещинах скал на подветренной стороне островка. Ею я посыпал мясо, чтобы сохранить его.

Так я работал четыре дня, и под конец был безумно горд перед Богом за то, что ни кусочка из всего этого количества мяса не было потеряно. Неустанная работа была полезна для моего организма, который быстро окреп благодаря этой здоровой пище, в которой я не ограничивал себя. Другое проявление милосердия Божия: ни разу за восемь лет, проведенных мною на этом бесплодном острове, не случилось такого длинного периода ясной погоды и неизменных солнечных дней, как тогда, после избиения тюленей.

Много месяцев прошло, пока тюлени снова посетили мой остров. Но до этого времени я занимался чем угодно, только не ленился. Я построил себе хижину из камней и примыкающую к ней кладовую для сушеного мяса. Я покрыл свой шалаш крышей из тюленьих шкур, так что он стал вдобавок водонепроницаемым. Никогда не переставал я удивляться, пока дождь барабанил по этой крыше, что меня, несчастного матроса, защищают от стихий шкуры, которые на Лондон-

ском меховом рынке стоят бешеных денег.

Скоро я понял, как важно вести каким-либо способом счет времени, без которого — я чувствовал — я утрачу всякое представление о днях недели, стану неспособен отличать один день от другого и не буду знать дня Рождества Господня.

Я старательно припомнил исчисление времени, производившееся на баркасе капитаном Николлом, и тщательно, проверяя снова и снова, чтобы не оставить ни тени сомнения, мысленно перебрал все дни и ночи, проведенные мною на острове. Затем, при помощи семи камней у моего шалаша, я составил еженедельный календарь. На одной стороне весла я вырезал маленькие зарубки, отмечая каждую неделю, а на другой стороне его я сделал зарубки для месяцев.

Поэтому я, как надлежит, соблюдал день Господень. Я не мог устроить настоящее богослужение и вместо этого вырезал на весле короткий гимн, соответствующий моему положению, который я никогда не забывал петь в воскресенье. Бог, в своем великом милосердии, не забыл меня, и я в течение этих восьми лет каждую подходящую минуту вспоминал о Боге.

Было удивительно, как много требовалось усилий в описанных мной условиях для того, чтобы

удовлетворять простые потребности человека в пище и крове. В самом деле, редко в течение первого года я сидел без дела. Моя хижина — простая каменная берлога, но потребовалось, однако, не менее шести недель, чтобы построить ее. Медленная сушка и бесконечное скобление тюленьих шкур, чтобы сделать их мягкими и гибкими настолько, что можно было соорудить из них какое-то подобие одежды, заняли мой досуг в течение долгих месяцев.

Затем стоял вопрос о снабжении водой. Временами налетали суровые бури, и брызги соленой морской пены делали сохраненную мной дождевую воду непригодной для питья, так что мне трудно жилось в ожидании новых дождей, таких, которые не сопровождались бы сильным ветром. Зная, что вода камень точит, я выбрал большой крепкий обломок скалы красивой формы и с помощью камней поменьше выдолбил в нем ямку; через пять недель упорной работы мне удалось изготовить кувшин, который, как я определил, мог вместить полтора галлона воды. Позже я таким же образом изготовил кувшин на четыре галлона. Это заняло у меня девять недель. Несколько маленьких кувшинов я сделал, работая над ними время от времени. Один из них,

который мог бы вместить восемь галлонов, дал трещину после того, как я потратил на него семь недель.

Но только на четвертый год моего пребывания на острове, когда я уже примирился с возможностью того, что проживу здесь до конца своей жизни, я сотворил шедевр. Я потратил на это восемь месяцев, но в итоге имел прочный сосуд, вмещавший свыше тридцати галлонов. Эти каменные сосуды так радовали меня, что временами я забывал даже о своем смирении и чрезмерно гордился ими. Действительно, мне они казались более изящными, чем самые драгоценные украшения какой-нибудь королевы. Я сделал также маленький каменный сосуд, емкостью не более четверти галлона, чтобы переливать воду из впадин в большие водохранилища. Если я скажу, что этот маленький сосуд весил 28 фунтов, читатель поймет, что один только сбор дождевой воды был нелегкой работой.

Таким образом, я сделал свою одинокую жизнь настолько удобной, насколько это было возможно. Я устроил себе уютное и безопасное жилище; что же касается провизии, то я имел всегда шестимесячный запас сушеного и просоленного, во избежание порчи, мяса. За эти простые ве-

щи, такие важные для поддержания жизни, которые едва можно было надеяться достать на пустынном острове, я был более чем благодарен Господу.

Хотя я был лишен человеческого общества, и даже собаки или кошки не было у меня, я примирился со своей судьбой гораздо покорнее, чем, вероятно, сделали бы это тысячи других людей.

Несмотря на мрачные перспективы, я не переставал надеяться на то, что Провидение, которое в страшный момент, когда голод грозил мне смертью и когда я мог легко быть поглощен пучиной моря, выбросило меня на эти голые скалы, в конце концов пришлет кого-нибудь, чтобы облегчить мою жизнь.

Лишенный общества своих ближних и жизненных удобств, я все же находил в своем беспомощном положении некоторые преимущества. Я легко стал владельцем целого острова, хотя и небольшого. По всей вероятности, никто никогда не явится оспаривать мои права, разве только земноводные из океана.

И все-таки человек — страшное и непостижимое создание. Я, который просил у милосердия Божия только чуть-чуть гнилого мяса, чтобы не умереть с голоду, и достаточного количества

не слишком соленой воды, — как только был благословлен изобилием пищи и питья, стал недоволен своим жребием. Мне уже требовался огонь, чтобы почувствовать вкус жареного мяса во рту. И постоянно я ловил себя на том, что тоскую по некоторым деликатесам, которые ежедневно подавались на стол дома, в Элктоне.

Я так же сильно страдал от отсутствия табака. Часто мой сон приносил мне одни лишь мучения, потому что во сне мои желания свободно проявлялись, так что тысячи раз я грезил о целых горах табака, даже складах табака, о корабельных грузах табака и целых плантациях его.

Но я наказывал себя за это. Я молился Богу неустанно, со смиренным сердцем, и очищал свою плоть неустанной работой. Не будучи в силах усовершенствовать свой разум, я решил улучшить свой пустынный остров. Я работал четыре месяца над постройкой каменной стены в 30 футов длиной и высотой в 12 футов. Она защищала хижину в период больших штормов, когда весь остров казался крошечной птичкой в пасти урагана. Время это не было потрачено зря. После этого я лежал в покое и уюте, когда в ста футах от меня остров хлестали сплошные потоки белой от пены воды.

На третий год я начал строить колонну из камней. Скорее это была четырехугольная пирамида, широкая у основания, постепенно сужавшаяся к верхушке. Я был вынужден строить таким образом, потому что на всем острове не было ни единого деревца, и не из чего было соорудить леса. Но лишь к концу пятого года пребывания на острове была готова моя пирамида. Она стояла на самой высокой точке острова. Теперь, когда я поясню, что она возвышалась на сорок футов над морем, достигая сорока футов, будет понятно, что я без каких бы то ни было орудий удвоил высоту островка.

За шесть лет я увеличил основание пирамиды, и восемнадцать месяцев спустя мой памятник на пятьдесят футов возвышался над островом. Я не собирался строить вавилонскую башню. Я преследовал две цели: создать пункт наблюдения, чтобы высматривать корабли в океане; и она же увеличивала вероятность того, что мой остров будет замечен блуждающим взглядом какого-нибудь моряка. И это поддерживало бодрость моего духа и тела.

В восемнадцатый день месяца июня, на шестом году моего пребывания на острове, я впервые увидел парус на горизонте. Но он прошел слишком

далеко от острова, чтобы заметить меня. Само появление этого паруса доставило мне скорее удовольствие, чем муку. Оно убедило меня в том факте, в котором я прежде до некоторой степени сомневался, а именно что в эти воды заходят иногда суда.

Между прочим, там, где тюлени выходили из моря, я соорудил глубокий коридор, ставший продолжением сближающихся друг с другом скал, так что получался своего рода мешок, служивший западней. Здесь я мог убивать заплывших ко мне тюленей, не пугая остальных и не давая возможности раненому или испуганному тюленю ускользнуть и встревожить всю стаю. На одну эту постройку я потратил семь месяцев.

На пятом году, еще до того как я убедился, что корабли иногда бороздят эти воды, я начал вырезать на моем весле сведения о наиболее замечательных событиях, происшедших со мной с тех пор, как я покинул спокойные берега Америки. Я старался сделать их как можно более разборчивыми и долговечными, так как буквы получались совсем крохотные. Шесть, а иногда и только пять букв успевал я вырезать за целый день, так тщательно я работал.

И на тот случай, если мне суждена горькая

участь и я никогда не вернусь к друзьям и семье в Элктон, я вырезал на широком конце весла историю моей печальной судьбы — ту надпись, содержание которой я уже привел в начале этого рассказа.

Я не жалел усилий на то, чтобы сберечь это весло, которое служило мне так хорошо в моем несчастном положении и которое теперь хранило историю моей собственной судьбы и судьбы моих товарищей. Я уже не рисковал бить им тюленей. Вместо него я вооружился каменной дубиной, в три фута длиной и соответствующего диаметра, обработка которой заняла ровно месяц. Для того же, чтобы предохранить весло от непогоды (потому что я употреблял его при слабых ветрах как флагшток на вершине пирамиды, на котором развевался флаг, сделанный мною из одной из моих драгоценных рубашек), я изготовил для него чехол из хорошо высушенных и выделанных тюленьих кож.

В марте шестого года моего заключения мне пришлось испытать один из самых ужасных штормов, которые по всей вероятности когда-либо приходилось видеть человеку. Он начался около девяти часов вечера, когда надвинулись черные тучи и подул свежий ветер с юго-за-

пада, и к одиннадцати превратился в ураган, сопровождающийся непрестанными громовыми раскатами и такими яркими молниями, каких я никогда до тех пор не видел.

Я опасался за целость моего острова. Волны гуляли по нему везде. Ветер и вода бушевали так, что я едва выжил, задыхаясь и не находя защиты от непогоды. Я не мог не понимать, что спас свою жизнь только своим трудолюбием, — воздвигнув пирамиду, я вдвое увеличил высоту острова и этим спас себя от потопа.

Все-таки утром у меня нашлись причины быть благодарным Господу. Весь мой запас дождевой воды был уничтожен соленой водой, кроме той, которая хранилась в большом чане, спрятанном у пирамиды. Я знал, что при строгой экономии мне хватит ее до следующего дождя, который рано или поздно все-таки выпадет. Моя хижина была совершенно разбита волнами, и от всего изобилия запасов тюленьего мяса осталась только небольшая часть, размякшая от воды. Тем не менее я был приятно поражен, обнаружив, что утесы усеяны какой-то рыбой, больше всего похожей на голавля. Я подобрал их не больше не меньше как 1219 штук, которые все выпотрошил и высушил на солнце, как треску. Эта желанная

перемена в пище не обошлась без последствий: я погрешил чревоугодием и всю следующую ночь был близок к смерти.

На седьмом году моего пребывания на острове, в том же самом месяце марте, разразилась такая же сильная буря. Вслед за тем, к моему удивлению, я нашел огромного мертвого кита, совсем свежего, выброшенного волнами на сушу. Представьте себе мою радость, когда во внутренностях его я нашел обыкновенный гарпун с несколькими саженями веревки, привязанной к нему.

Тогда снова воскресли мои надежды на то, что я наконец найду возможность покинуть пустынный остров. Без сомнения, эти воды посещали китоловы, и пока в моем сердце есть хоть какое-то мужество, я не должен терять надежды на спасение. Семь лет я питался тюленьим мясом, так что при виде такого изобилия совсем иной и питательной пищи я вновь стал жертвой своей слабости и съел такое количество, что опять был всю ночь близок к смерти. Однако мое нездоровье после этого и после поглощения рыбы не имело серьезных последствий, ибо вызвано оно было всего лишь отсутствием привычки к этой пище, ведь в мой желудок в течение многих лет попадало только тюленье мясо и ничего другого,

кроме тюленьего мяса.

Этот кит дал мне запас провизии на целый год. Я вытопил на солнце в выемках скал много жира, который, круто посоленный, был очень вкусным, и я макал в него куски тюленьего мяса во время обеда. Из лоскутков от моих драгоценных рубашек я мог даже соорудить себе светильник, пользуясь гарпуном вместо огнива и скалой вместо кремня, и таким образом я имел бы ночью свет. Но это было без нужды, и я вскоре оставил мысль об этом. Мне не нужен был искусственный свет, когда Бог покрывал землю тьмой, потому что я научился спать от заката до рассвета, зимой и летом.

Я, Даррел Стэндинг, не могу не прервать здесь рассказ о моем прежнем существовании для того, чтобы сделать свое собственное заключение. Если человеческая личность находится в постоянном изменении, представляет собою сумму всех предыдущих существований, собранных вместе, то как мог начальник тюрьмы Азертон сломить мой дух пытками одиночки? Я — жизнь, которая отстояла себя, организм, созданный веками прошлого, — и какого прошлого! Что значили десять дней и ночей в смирительной рубашке для меня, который был однажды Дэниэлом Фоссом и

восемь лет учился терпению в скалистой школе среди южного океана?

К концу восьмого года пребывания на острове, в сентябре месяце, когда я как раз лелеял горделивые планы увеличить высоту моей пирамиды до 60 футов, я, проснувшись однажды утром, увидел с удивлением корабль со спущенными стакселями; он был так близко, что мой крик наверняка донесся бы до него. Чтобы меня обнаружили, я махал в воздухе веслом, прыгал с утеса на утес и долго так бесновался, пока не увидел, что офицеры на шканцах смотрят на меня в подзорные трубы. Они ответили тем, что указали мне на самую западную оконечность острова, куда я поспешил и где я увидел их лодку с шестью матросами. Оказалось, как я узнал впоследствии, что именно моя пирамида привлекла их внимание, и они изменили курс, чтобы ближе рассмотреть это странное сооружение, высота которого превышала размеры острова, на котором оно стояло.

Но прибой оказался слишком сильным и не позволял лодке пристать к моим негостеприимным берегам. После различных безуспешных попыток они объяснили мне знаками, что должны возвратиться на корабль. Вообразите себе мое отчаяние, когда я понял, что не смогу покинуть

пустынный остров. Я схватил весло (которое я уже давно решил принести в дар филадельфийскому музею, если только останусь в живых) и с ним бросился, очертя голову, в кипящий прибой. Так благоприятствовала мне судьба, таковы были моя сила и ловкость, что я достиг лодки.

Не могу не рассказать здесь о любопытном инциденте. Тем временем корабль отнесло далеко в сторону, и мы потратили около часа на то, чтобы добраться до него. И я не устоял против своей привычки, которую не мог удовлетворить восемь долгих лет, и попросил у второго штурмана, управлявшего лодкой, немного табаку, чтобы пожевать его. Дав мне табак, штурман предложил мне также и свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком. Но через десять минут мне стало совсем плохо. Причина этого ясна. Мой организм совершенно отвык от табака, и я страдал от отравления им, как это бывает с мальчишками, когда они впервые пробуют курить. Снова я имел основание быть благодарным Богу, и с того дня и до дня моей смерти я никогда уже не употреблял и не желал употреблять эту гадкую траву.

Я, Даррел Стэндинг, должен теперь дополнить рассказ об этом моем существовании, которое

я вновь пережил в бессознательном состоянии, затянутый в смирительную рубашку в Сен-Квентине, удивительными подробностями. Я часто интересовался вопросом, действительно ли Дэниэл Фосс доставил свое весло с надписями в филадельфийский музей.

Узнику в одиночке очень трудно наладить контакты с внешним миром. Один раз с помощью сторожа, другой — через краткосрочного арестанта я пытался обратиться с соответствующим вопросом к директору музея. Хотя они дали мне самые торжественные клятвы исполнить мое поручение, но оба обманули меня. И только тогда, когда по странной прихоти судьбы Эда Моррелла освободили из одиночки и назначили главным старостой всей тюрьмы, я смог послать письмо. Я даю здесь ответ, присланный мне директором филадельфийского музея и потихоньку переданный мне Эдом Морреллом.

«Совершенно верно, в музее находится описанное вами весло. Но мало кто знает о нем, так как оно не выставлено в открытой экспозиции. В самом деле, я занимаю эту должность целых восемнадцать лет, а между тем сам не знал о его существовании. Но, заглянув в наши старые книги, я обнаружил, что такое весло было подарено

неким Дэниэлом Фоссом из Элктона, Мериленд, в 1821 году. Только после долгих поисков мы нашли весло в заброшенном верхнем чулане со всяким хламом. Зарубки и надпись вырезаны на весле совершенно так, как вы описываете. Наряду с этим у нас имеется брошюра, пожертвованная тогда же, автор которой — тот же Дэниэл Фосс; издана она в Бостоне фирмой Коверли в 1834 году. В этой брошюре Фосс рассказывает о восьми годах жизни на необитаемом острове. Ясно, что этот старый моряк очень нуждался — он продавал эту брошюру людям сострадательным. Мне очень интересно, как вы узнали об этом весле, о существовании которого не знали мы, работники музея. Верно ли мое предположение, что вы прочли рассказ об этом в дневнике, опубликованном впоследствии Дэниэлом Фоссом? Я буду рад, если вы сообщите мне это, а в настоящее время я принимаю меры для того, чтобы весло и брошюра были выставлены среди других экспонатов.

Искренне ваш, Хозиа Солсберти».

Глава XX

И вот пришло время, когда я посрамил начальника тюрьмы Азертона, заставив его сдаться без всяких условий, превратив его ультиматум «динамит или крышка» в пустую болтовню.

Он отказался от меня, как от человека, которого нельзя убить смирительной рубашкой. Он видел людей, умиравших через несколько часов, проведенных в ней. Он видел людей, умиравших через несколько дней этой пытки, хотя их расшнуровывали и отвозили в больницу прежде, чем они испускали последний вздох, и там они получали медицинское свидетельство о смерти от воспаления легких, базедовой болезни или от инфаркта.

Но меня Азертон убить не смог. Ему даже ни разу не пришлось отвозить мое изуродованное, умирающее тело в больницу. Но все-таки я должен сказать, что начальник тюрьмы Азертон очень старался и ни перед чем не останавливался. Однажды он надел на меня сразу две рубахи. Но это такое важное происшествие, что я должен о нем рассказать.

Случилось так, что одна из газет Сан-Франциско (ищущая, как всякая газета и как всякое

коммерческое предприятие, товар, который принесет ей прибыль) попыталась заинтересовать радикальную часть рабочего класса тюремной реформой. Поскольку профсоюзы тогда обладали большим влиянием, в результате этого политики, держащие нос по ветру, назначили сенатскую комиссию для обследования тюрем штата.

Эта сенатская комиссия *обследовала* (простите мне этот иронический курсив) Сен-Квентин и нашла, что на свете нет более образцового учреждения. Сами заключенные свидетельствовали об этом. Да ни один из них и не мог жаловаться. Им пришлось уже в прошлом узнать на опыте, что значат такие «обследования». Им было очень хорошо известно, что их бока и ребра весьма скоро заболят, сразу же после того как они дадут показания… если эти показания не понравятся тюремной администрации. О, поверь мне, читатель, так повелось с незапамятных времен. Еще в древнем Вавилоне, много тысяч лет тому назад, когда я томился в местной тюрьме, это уже было старой историей.

Как я сказал, абсолютно все заключенные свидетельствовали о гуманном правлении начальника тюрьмы Азертона. И в самом деле, так трогательны были показания о доброте на-

чальника, о хорошем качестве и разнообразии пищи, о мягкости надзирателей и общем удобстве, спокойствии и уюте тюремных камер, что оппозиционные газеты Сан-Франциско стали с воплями требовать большей суровости в управлении тюрьмами, чтобы честные, но ленивые граждане не стали совершать преступлений только ради того, чтобы попасть в тюрьму.

Сенатская комиссия нагрянула даже в одиночные камеры, где троим из нас было нечего приобретать и нечего терять. Джек Оппенхеймер плюнул им в лицо и послал всех членов комиссии и каждого в отдельности к черту. Эд Моррелл рассказал им, что за непотребное место представляла из себя тюрьма, оскорбив начальника тюрьмы прямо в лицо. Вследствие этого комиссия рекомендовала, чтобы Азертон подверг Моррелла тем старинным и вышедшим из употребления наказаниям, которые, должно быть, были изобретены предками Азертона специально для усмирения таких упрямых характеров, как этот.

Я постарался не оскорблять начальника тюрьмы. Я дал свои показания тонко, начав, как ученый, с мелких фактов, превращая свое изложение в художественное произведение, постепенно, шаг за шагом, пробуждая в моих чиновных посе-

тителях готовность внимательно слушать меня, не перебивая и не споря… Таким образом я смог рассказать все до конца.

Увы! Ни слова из моих разоблачений не вышло за пределы тюремных стен. Сенатская комиссия выдала великолепный аттестат начальнику тюрьмы Азертону и всему Сен-Квентину. Участвовавшая в крестовом походе газета уверила своих читателей из рабочего класса, что Сен-Квентин белее снега и что смирительная рубашка, хотя и остается все еще признанным законом методом наказания неисправимых, тем не менее, при гуманном и разумном управлении Азертона, в настоящее время не применяется ни при каких обстоятельствах.

И в то время как бедные дурни рабочие читали это и верили этому, а сенатская комиссия обедала и распивала вино вместе с начальником тюрьмы за счет государства и налогоплательщиков, Эд Моррелл, Джек Оппенхеймер и я лежали в рубахах, стянутые чуть-чуть потуже и мучительнее, чем когда бы то ни было прежде.

— Это смешно, — простучал мне Эд Моррелл носком сапога.

— Мне это уже начинает надоедать, — простучал Джек.

Что же касается меня, то я тоже простучал им что-то горькое и саркастическое, вспоминая тюрьмы древнего Вавилона. Я улыбнулся великой космической улыбкой и погрузился в величие «временной смерти», которая делала меня наследником всех веков и всадником во всеоружии, погоняющим время.

Да, дорогой брат, в то время как славословия в адрес Азертона появились в прессе, а почтенные сенаторы обедали и пили вино, мы, три мертвеца, вместе погребенные заживо, исходили потом в объятиях брезента.

И после обеда, согретый вином, начальник тюрьмы Азертон сам явился к нам посмотреть, как идут наши дела. Меня, как всегда, они нашли в спячке. Впервые доктор Джексон был обеспокоен. Я был возвращен к действительности из мрака бессознательного состояния с помощью нашатырного спирта. Я улыбнулся лицам, склонившимся надо мной.

— Притворство, — фыркнул Азертон, и я понял, что он изрядно пьян, таким красным было его лицо и так туго он ворочал языком.

Я облизал губы в знак того, что хочу воды, так как желал кое-что ему сказать.

— Вы осел, — наконец смог произнести я хо-

лодно и четко. — Вы — осел, трус, дворняжка, ничтожество, такое низкое, что даже жаль плевка для вас. В этом отношении Джек Оппенхеймер чересчур великодушен к вам. Что же касается меня, без стеснения скажу вам, что единственная причина, почему я не плюю в вас, это та, что я не могу так опуститься и так унизить свою слюну.

— Ты перешел границы моего терпения, — проревел он, — я убью тебя, Стэндинг!

— Вы пьяны, — возразил я. — И я вам посоветую — если уж вы сами не можете сообразить — не делайте этого при стольких свидетелях из числа ваших тюремных псов. Они вас выдадут в один прекрасный день, и вы потеряете свое место!

Но вино совсем свело его с ума.

— Наденьте на него вторую рубашку, — скомандовал он. — Ты обречен, Стэндинг. Но ты не умрешь в рубахе. Тебя потащат на кладбище из больницы.

На этот раз поверх первой рубашки была сзади надета вторая и затянута спереди.

— Господи, Господи, начальник, как же холодно, — зубоскалил я. — Очень холодно. Поэтому я, право, весьма благодарен, что вы одели меня в две рубахи. Мне теперь будет совсем хорошо.

— Туже! — крикнул он Элу Хэтчинсу, который

затягивал шнур. — Упрись ногой ему в брюхо. Сломай ему ребра.

Могу удостоверить, что Хэтчинс старался, как только мог.

— Попробуй-ка еще клеветать на меня, — неистовствовал Азертон, с краской гнева и вина, пылающей на его лице. — Видишь, что ты получил за свое вранье? Твой жребий брошен, Стэндинг. Это твой конец. Слышишь? Это твой конец.

— Окажите мне милость, начальник, — прошептал я еле слышно, ибо терял сознание. Я был почти в обмороке, так меня стянули. — Наденьте на меня три рубахи, — пытался я продолжать, в то время как тюремные стены колебались вокруг меня, а я напрягал всю свою волю, чтобы удержать сознание. — Еще одну рубаху… начальник… Мне… будет… гораздо… гораздо… теплее…

И мой шепот затих, потому что я погрузился во временную смерть.

Я никогда уже не был прежним человеком после этой «двойной» рубахи.

Никогда больше мой организм не мог уже питаться должным образом, независимо от того, какой была пища. Мои внутренности так изуродованы, что мне не хочется даже думать об этом.

Тупая боль в ребрах и желудке не покидает меня и сейчас, когда я пишу эти строки. Но бедный механизм, с которым так плохо обращались, все же сослужил свою службу. Он позволил мне дотянуть до настоящего времени и даже до того дня, когда они выведут меня в рубашке без воротника и обхватят мою шею хорошо натянутой веревкой.

Но «двойная» рубашка была последней соломинкой. Она сломила начальника тюрьмы. Он сдался при виде несомненного доказательства того, что меня невозможно убить. Я даже сказал ему однажды:

— Единственный способ, которым вы можете отделаться от меня, начальник, это пробраться сюда как-нибудь ночью с топором.

Джек Оппенхеймер тоже хорошо посмеялся над Азертоном. Он заявил ему:

— Я думаю, начальник, как же вам должно быть противно просыпаться каждое утро с самим собой на подушке.

А Эд Моррелл добавил:

— Ваша мать, наверное, очень любила детей, если вырастила вас, вместо того чтобы прикончить еще маленьким.

Я чувствовал себя весьма неприятно, когда

меня перестали затягивать в рубаху. Мне было грустно и не хватало этого мира грез. Но ненадолго. Я обнаружил, что могу приостановить жизнь усилием воли, стягивая при этом грудь и живот одеялом. Таким путем я вызвал физиологическое и психологическое состояние подобное тому, какое вызывала рубаха. Так, по собственному желанию и без прежних мучений я смог свободно блуждать среди других стран и времен.

Эд Моррелл верил всем моим рассказам, но Джек Оппенхеймер оставался скептиком до конца. На третий год моего пребывания в одиночке я побывал с визитом у Оппенхеймера. За все время мне удалось это сделать только один раз, причем совершенно непредумышленно и неожиданно.

Едва впав в бессознательное состояние, я сообразил, что попал в его камеру. Мое тело, я это знал, лежало в рубахе, в моей собственной камере. Хотя я прежде никогда его не видел, я знал, что этот человек был Джеком Оппенхеймером. Стояло лето, и он лежал голый на одеяле. Я был потрясен мертвенной бледностью его лица и его истощенным телом. Оно даже не было похоже на человеческое. Он представлял собой только тень человека, груду человеческих костей, еще както держащихся вместе, фактически лишенных

всякого мяса и покрытых похожей на пергамент кожей.

Только очутившись снова в своей камере и вернувшись в сознание, я смог переварить виденное и представить себе, что такими же, как Джек Оппенхеймер, были и Эд Моррелл, и я сам. И я не мог не содрогнуться, подумав, какой обширный дух жил в этих наших слабых и чахлых остовах, в телах трех неисправимых заключенных одиночки. Плоть — это ничего не стоящая, низменная вещь. Трава — это плоть, и плоть становится травой, но дух — остается и переживает все. Терпеть не могу пресловутых поклонников плоти. Знакомство с одиночкой в Сен-Квентине быстро заставило бы их должным образом оценить и почитать дух.

Но вернусь к моим впечатлениям в камере Оппенхеймера. Его тело было телом давно умершего человека, высохшего от сильной жары. Его кожа цветом напоминала сухую грязь. Его яркие желтовато-серые глаза, казалось, только одни жили на его лице. Они ни на секунду не оставались в покое. Он лежал на спине, и его глаза блуждали по сторонам, следя за полетом нескольких мух, которые кружились в сумраке над ним. Я отметил также шрам над его правым локтем и другой шрам на правой лодыжке.

Через некоторое время он зевнул, повернулся на бок и стал рассматривать ужасную рану ниже бедра. Он стал чистить и перевязывать ее несколько небрежно, как это делают в одиночке. Я понял, что эта рана получена в смирительной рубашке. На моем теле сейчас, когда я пишу эти строки, есть сотни таких ран.

Затем Оппенхеймер повернулся на спину, большим и указательным пальцем бережно взялся за один из передних верхних зубов — глазной зуб — и стал задумчиво шатать его взад и вперед. Снова он зевнул, вытянул руки, повернулся и постучал Эду Морреллу.

— Я думаю, ты уже проснулся, — стучал Оппенхеймер. — Как дела у профессора?

Я, разумеется, сразу расшифровал разговор.

Затем, издали и неясно, я смог услышать удары Моррелла, сообщавшего о том, что меня упрятали в рубашку час тому назад и что я, как обычно, уже не отзываюсь на перестукивание.

— Он славный парень, — простучал Оппенхеймер. — Я всегда относился подозрительно к образованным прохвостом, но ему книги не повредили ни капельки. Он настоящий молодчага. Что бы с ним ни делали, они не вырвут у него ни единого стона, не заставят согнуться за

тысячу лет!

Со всем этим Моррелл согласился, прибавив от себя другие похвалы. И я должен сказать, прежде чем продолжать, что я жил много лет и изведал много жизней, познав в течение этих многих жизней минуты гордости, но никогда не испытывал я такой гордости, как в тот день, когда два моих товарища по одиночному заключению дали мне такую похвальную оценку. Эд Моррелл и Джек Оппенхеймер были сильными людьми, и никогда я не удостаивался большей чести, чем когда они приняли меня в свой круг. Короли посвящали меня в рыцари, императоры жаловали в дворяне, и я сам, будучи королем, переживал мгновения величия. И все же ни одно из них я не мог считать таким великолепным, как миг, в который эти двое заключенных посвятили меня в свой мир, который кое-кем считается сборищем самых грязных отбросов человеческой мусорной ямы.

Впоследствии, вернувшись из этого пребывания в рубашке, я рассказал им о своем визите в камеру Джека в доказательство того, что мой дух покидает тело. Но Джек был непоколебим.

— Это догадка, случайно попавшая в точку, — был его ответ, когда я описал ему последовательность его поступков в то время, когда мой дух был

в его камере. — Это воображение. Ты сам сидишь в одиночке уже три года, профессор, и не трудно представить себе, что делает парень, пытаясь убить время. Вы сами с Эдом проделывали это тысячи раз — и лежали голые, когда жарко, и на мух смотрели, лечили раны и перестукивались.

Моррелл поддерживал меня, но это не помогало.

— Однако, профессор, не волнуйся, — стучал Джек. — Я не сказал ведь, что ты лжешь. Я сказал только, что ты придумал это во сне или просто в воображении, находясь в рубахе и не сознавая, что ты грезишь. Я знаю, что ты сам веришь своим словам и думаешь, что так оно и было на самом деле, но этим ты меня не купишь. Ты воображаешь это, но не сознаешь, что воображаешь. Ты все это знаешь всегда, каждую минуту, хотя вспоминаешь об этом только тогда, когда у тебя в голове мутится.

— Подожди, Джек, — простучал я. — Я ведь никогда не видел тебя воочию. Не правда ли?

— Я знаю только, что ты это говоришь, профессор. Ты мог меня видеть и не знать, что это я.

— Факт тот, — продолжал я, — что без одежды я тебя точно не мог видеть, но тем не менее я могу сказать, что у тебя шрам на локте и шрам на

правой лодыжке.

— О, пустяки, — был его ответ. — Это можно найти в моем тюремном описании вместе с фотографией моей рожи. Эту ерунду знают тысячи начальников полиции и сыщиков.

— Я никогда не слышал об этом, — уверял я его.

— Ты *не помнишь* о том, что тебе когда-либо приходилось слышать об этом, — поправил он меня. — Хотя ты забыл об этом, информация запечатлелась в твоем мозгу до первого запроса, только ты не знал, где она лежит. Тебе нужно это бессознательное состояние, чтобы вспомнить. Случалось ли тебе когда-нибудь забыть имя, столь же знакомое, как имя собственного брата? Со мной это было. Один судья приговорил меня в Окленде к пятидесяти годам тюрьмы. И однажды я позабыл его имя. И что же? Я лежал здесь неделями, стараясь вспомнить его. Да только если я не мог выкопать его из памяти, это же не значило, что его там нет. И в конце концов однажды, когда я даже не думал о нем, это имя всплыло в моем мозгу. «Стейси! — сказал я вслух. — Джозеф Стейси». Вот как его звали. Понимаешь мою мысль? Ты сказал о моих шрамах только то, что знают тысячи людей. Мне неизвестно, как ты добыл эти

сведения, я думаю, ты и сам не в курсе. Не моя задача ломать над этим голову. Рассказывая мне то, что знают многие, ты меня не убедишь. Тебе придется попотеть, чтобы я проглотил всю твою болтовню.

Закон Гамильтона об экономии в оценке доказательств! Так силен был ученый в этом арестанте из среды городских подонков, что он самостоятельно пришел к закону Гамильтона и неуклонно применял его.

И все-таки Джек Оппенхеймер был честным человеком. Этой ночью, когда я уже засыпал, он позвал меня обычным сигналом.

— Профессор, ты говорил, что видел, как я дергал шатающийся зуб. Тут ты меня поймал. Хоть убей, не пойму, как ты догадался об этом. Он стал шататься всего три дня назад — и я не шепнул об этом ни одной живой душе.

Глава XXI

Паскаль где-то говорил: «С точки зрения хода человеческой эволюции, философский разум должен смотреть на человечество как на единую личность, а не как на конгломерат индивидуумов».

Я сижу здесь, в отделении для убийц в Фолсеме, и в ушах у меня стоит навевающее сон жужжанье мух, в то время как я размышляю над этой мыслью Паскаля. Это верно. Совершенно так же, как человеческий зародыш в краткие десять лунных месяцев повторяет всю историю органической жизни от растения до человека, с поражающей воображение скоростью, в мириадах форм и подобий, умноженных на мириады раз; совершенно так же, как современный мальчик в свои короткие годы детства повторяет историю первобытного человека в его жестокости и дикарстве, от распущенности до причинения боли более слабым существам, до проявления родового инстинкта, стремления сбиваться в стаи; точно так же и я, Даррел Стэндинг, повторил и пережил все то, чем был первобытный человек, пока не стал вами и мною, и всем остальным родом человече-

ским в цивилизации XX столетия.

Поистине, все мы, живущие в настоящее время на нашей планете, несем в себе нетленную историю жизни с самого ее начала. Эта история записана в наших тканях и костях, в наших функциях и органах, в клетках нашего мозга и в наших душах, во всех разнообразных физических и психических, атавистических стремлениях и потребностях. Когда-то мы были подобны рыбам, вы и я, читатель, и выползали из моря на большую сухую землю, на поверхности которой мы теперь находимся.

Когда-то мы летали в воздухе, жили на деревьях и боялись темноты. Следы этого остаются, они наложили отпечаток на вас и на меня, отзовутся на нашем потомстве, которое появится, когда мы исчезнем с лица земли.

То, что Паскаль видел зрением пророка, я пережил. Я видел сам этого единого человека, которого созерцал философский взор Паскаля. О, у меня есть одна история, самая правдивая, самая чудесная, весьма реальная для меня, хотя я сомневаюсь, что у меня появится охота рассказать ее и что ты, читатель, сумеешь понять ее. Я говорю, что я сам видел этого единого человека, о котором говорил Паскаль. Я лежал в рубахе в

долгом оцепенении и видел сам тысячи людей, живущих тысячи жизней, которые составляют историю цивилизованного человека, на протяжении веков двигающегося вперед.

Ах, какие величественные воспоминания сохранились у меня о том времени, когда я порхал в воздухе много лет назад! Во время пребывания в смирительной рубашке я пережил множество жизней, которые все вместе длились тысячелетиями, как вечная одиссея давних стремлений человека. Господи, до того как я стал светловолосым асом, жившим в Асгарде, до того как я стал рыжеволосым ванном из Ванагейма, еще задолго до этого, помню (какие живые воспоминания!) о более ранних годах, когда мы отступали к югу от надвигающегося на нас полярного ледяного холода.

Я умирал от мороза и голода, в битве и среди волн. Я собирал ягоды на мрачном спинном хребте мира, собирал съедобные корни на болотах и лугах. Я вырезал изображения северных оленей и косматых мамонтов на их же костях, охотничьих трофеях, и на скалистых стенах пещеры, служившей нам кровом, когда зимний шторм ревел снаружи. Я разгрызал кости и извлекал из них мозг там, где когда-то стояли королевские

города, погибшие за столетия до моего рождения, или которым суждено было возникнуть целые столетия спустя после моей смерти. И я оставлял свои собственные бренные кости на дне прудов, в ледяных ямах и в асфальтовых озерах.

Я жил в века, которые ученые теперь называют палеолитом, неолитом и эпохой бронзы. Я вспоминаю, как прирученные нами волки гнали стада наших оленей пастись на северный берег Средиземного моря, где теперь находятся Франция, Италия и Испания. Это было еще до того, как ледник отступил назад, к полюсу. Много равноденствий пережил я — и умирал, читатель… только я помню это, а ты — нет.

Я был Сыном Плуга, Сыном Рыбы, Сыном Дерева. Все религии, начиная с первых проблесков человеческого религиозного сознания, живут во мне. И когда священник в часовне здесь, в Фолсеме, по воскресеньям славит Бога — в своей собственной современной манере, — я знаю, что в нем все еще живет вера в Плуг, Рыбу, Дерево и, конечно, в ночную богиню Иштар.

Я был арийским властителем в Древнем Египте, где мои солдаты выцарапывали непристойности на высеченных из камня гробницах фараонов, забытых в давние времена. И я, арийский вла-

ститель в Древнем Египте, построил для себя две усыпальницы: величественную пирамиду, о которой могло поведать целое поколение рабов, и другую — скромную, потайную, вытесанную в скале в пустынной долине; сделали ее рабы, которые умерли немедленно после того, как закончили работу. И я раздумываю здесь, в Фолсеме, в мире XX века, витающем в сладких грезах демократии, сохранились ли еще там, в пещере, среди скал этой потаенной пустынной долины, кости, принадлежавшие когда-то мне, когда я был арийским властителем, непреклонным и твердым.

Если бы только я мог точно выразить словами все, что я видел и знал и что осталось в моем сознании из той величественной смены рас и эпох, которая происходила до того, как началась наша писаная история! Да, даже тогда мы имели свою историю.

Я помню, как, будучи Сыном Тельца, я провел всю жизнь в созерцании звезд. И позже, и раньше были еще другие жизни, во время которых я пел со жрецами и бардами сказания, запечатленные, как мы верили, в названиях созвездий на века. А здесь, в ожидании нового конца, я внимательно изучаю книги по астрономии из тюремной

библиотеки, те, какие дозволяется читать осужденным, и узнаю, что даже небеса представляют из себя преходящее скопление материи, возмущаемое движениями звезд, как и землю колеблют движения и устремления людей.

Снабженный этими современными познаниями, я смог, вернувшись из моих прежних существований после временной смерти, сравнить небеса теперешние с прежними. И звезды, оказывается, меняются. Я видел полярные звезды, много полярных звезд, целые династии полярных звезд. Теперь полярная звезда находится в созвездии Малой Медведицы. А в те далекие дни я видел полярную звезду в созвездиях Дракона, Геркулеса, Лиры, Лебедя и Цефея. Нет, даже звезды не остаются неизменными, и, однако, память о них живет во мне, в моем духе, который тождественен памяти и вечен. Только дух остается. Все остальное, будучи просто материей, исчезает и должно исчезать.

О, я вижу сейчас этого единого человека, жившего в древнем мире! Белокурый, свирепый, убийца и влюбленный, пожирающий мясо и выкапывающий растительные корни, бродяга и разбойник, который с палицей в руке странствовал вокруг света в течение тысячелетий в

поисках мяса и строил гнезда для своих птенцов.

Я — этот человек, его итог, его совокупность, безволосое двуногое, которое пробилось из слизи и сотворило любовь и закон среди анархии неуемной жизни, которая билась и трепетала в джунглях. Во мне все то, чем был и стал этот человек.

Я был этим человеком во всех его рождениях, я остаюсь им и теперь, ожидая смерти, заслуженной мной по закону, который я помогал вырабатывать много тысяч лет назад и во имя которого я умирал — много раз раньше, много раз. И, созерцая эту обширную историю моего прошлого, я вижу несколько благотворных влияний; прежде всего, главнейшее из них — любовь к женщине. Я вижу себя, единого человека, любовником, всегда любовником. Правда, я был также великим воином, но, так или иначе, мне кажется теперь, когда я сижу и беспристрастно взвешиваю все это, что я был, прежде всего и больше всего, великим любовником. И именно потому, что я сильно любил, я был великим воином.

Иногда я думаю, что история человека — это история его любви к женщине. Все эти воспоминания о моем прошлом, которые я сейчас записываю, сводятся к воспоминаниям о моей

любви к женщине. Всегда, в десяти тысячах жизней и изменений, я любил ее, люблю ее и сейчас. Мой сон насыщен ею; мое просыпающееся воображение, от чего бы оно не отталкивалось, всегда приводит меня к ней. Нельзя убежать от нее, от этого вечного, прекрасного, всегда лучезарного лика женщины.

О, не ошибитесь. Я отнюдь не неоперившийся пылкий юноша. Я старый человек, с расшатанным телом и здоровьем, который скоро должен умереть. Я ученый и философ. Я, как все поколения философов передо мной, знаю женщину такой, какая она есть, знаю ее слабости, посредственность, нескромность и нечестность, ее вросшие в землю ноги и глаза ее, никогда не видавшие звезд. Но — остается вечный неопровержимый факт: *«Ее ноги прекрасны, ее глаза прекрасны, ее руки и грудь — рай, ее очарование могущественнее всякого другого, какое когда-либо ослепляло мужчин; как магнит, хочет он того или нет, притягивает иголку, так, хочет женщина того или нет, притягивает она мужчин»*.

Женщина заставила меня смеяться над смертью и расстоянием, презирать усталость и сон. Я убивал людей, многих людей, из любви к женщине, освящал в горячей крови наше брачное

пиршество и смывал кровью позор ее благосклонности к другому. Я шел на смерть и бесчестие, покрывая себя черным пятном измены товарищам и звездам ради женщины, вернее, ради меня самого, ибо так сильно хотел я ее. И я лежал в траве, больной от тоски по ней, только для того, чтобы видеть, как она пройдет мимо, и впитывать глазами ее чарующую походку, ее волосы, черные как ночь, или каштановые, или льняные, или блестящие, как золотая пыль на солнце.

Я умирал от любви. Я умираю из-за любви, как вы увидите. Скоро, совсем скоро, выведут отсюда меня, Даррела Стэндинга, и лишат меня жизни. И эта смерть тоже случится из-за любви. Как случилось, что я поднял руку на профессора Хаскелла в лаборатории Калифорнийского университета? Он был мужчина. И я был мужчина. И была одна прекрасная женщина. Понимаете? Она была женщина, а я — мужчина, и влюбленный вдобавок, и во мне жило все наследие любви со времен мрачных и завывающих джунглей, когда любовь не была еще любовью, а мужчина — мужчиной.

О, конечно, в этом нет ничего нового. Часто, часто, в моем длинном прошлом, я отдавал жизнь и почет, должность и власть за любовь. Мужчина отличается от женщины. Она цепляется за кон-

кретное и испытывает необходимость только в преходящих вещах. Наша честь несравнима с ее честью, наше представление о гордости выше ее понимания. Наши глаза видят далеко, тогда как ее глаза не видят дальше твердой земли под ее ногами, головы возлюбленного на ее груди, здорового младенца на ее руках. И все-таки такова наша алхимия, складывавшаяся веками, что женщина подчиняет себе наши мечты и нашу кровь, так что она становится для нас дороже, чем все наши грезы и даже само биение жизни в наших венах: она, как справедливо говорят любовники, значит больше, чем весь мир. И это верно, иначе мужчина не был бы мужчиной, воином и завоевателем, прокладывающим свой путь по телам других, более слабых; ибо не будь он любовником, великим любовником, он никогда не стал бы великим воином. Мы сражаемся лучше всего и умираем и живем лучше всего для того, кого любим.

Я — этот единый человек. Я вижу многих существ, вошедших в состав моего нынешнего «я». И всегда я вижу женщину, многих женщин, которые создавали и губили меня, которые любили меня и которых я любил.

Я вспоминаю, как очень давно, когда род чело-

веческий был еще очень юн, я сделал западню в виде ямы, воткнув посреди нее острый кол, чтобы поймать Саблезубого.

С большими клыками, длинношерстый, Саблезубый представлял для нас главную опасность на новом месте, куда мы откочевали; по ночам он бродил вокруг наших костров, а днем прятался на берегу реки, чуть ниже места нашей стоянки.

И когда рев и вой Саблезубого донеслись до нас, теснившихся у догорающих костров, и я обезумел от радости, что яма и кол сделали свое дело, меня осилила женщина, обвив меня руками и ногами — и не пустила меня туда, во мрак ночи. Она была полуодета, завернута в облезлые и обожженные огнем шкуры животных, которых я убил. Смуглая и грязная, она пропахла дымом костров, не мылась с сезона весенних дождей; ногти ее были обломаны, руки — мозолистые, более похожие на лапы животного, чем на человеческие конечности. Но глаза ее были синими, как летнее небо, как глубокое море, и в них, и обвивших меня руках, и в ее сердце, бьющемся у моего сердца, я увидел то, что удержало меня возле нее… Хотя сквозь мрак, до самого рассвета, пока Саблезубый изливал в реве свой предсмертный гнев, я мог слышать, как мои товарищи смеялись и под-

шучивали над тем, что я не настолько уверен в своем изобретении, чтобы рискнуть отправиться ночью к яме, которую я придумал для поимки Саблезубого. Но моя женщина, моя дикая супруга, удержала меня, дикаря, каким я был, и ее глаза притягивали меня, и руки сковали меня, а ее сердце, бьющееся у моего, соблазнили меня и отвлекли от далеких грез, моего мужского подвига, самой высокой цели — убийства Саблезубого при помощи хитроумной ловушки.

Я был однажды Ушу, стрелком из лука. Я помню это ясно. Я отбился от своего племени, заблудился в большом лесу, пока наконец не очутился на заросшей травой равнине, где меня захватило в плен чужое племя, родственное моему тем, что их кожа была такой же белой, волосы — светлыми, а язык не очень отличался от нашего. А ее звали Игарь — и я соблазнил ее своим пением в сумерках, ибо ей предназначено было дать начало новому роду: бедра ее были широкими, грудь пышной, так что она не могла не стать добычей мужчины с сильными мускулами и широкой грудью, который пел о своей доблести и обещал ей пищу и защиту, пока она будет нянчить детей, которым суждено охотиться и жить после нее.

Этот народ не обладал такими обширными

познаниями, как мой народ; они ловили зверей в сети и ямы, а в битвах пускали в ход палицы и пращи. Они не знали волшебства быстро летящих стрел с зарубкой на конце, сделанной для того, чтобы они крепче лежали на натянутой тетиве из сухожилий оленя.

И в то время как я пел, мужчины чужого племени смеялись в сумерках. И только она, Игарь, верила мне. Я взял ее одну на охоту, туда, где олени ищут воды. И моя стрела зазвенела и запела в чаще, и олень упал, сраженный; его теплое мясо было сладким — и она стала моей там, у воды.

Из-за Игарь я остался жить в этом племени. И я научил их делать луки из красного и душистого дерева, похожего на кедр. Я научил их зорко смотреть, прицеливаться одним левым глазом, мастерить дротики для мелкой дичи и зубчатые, из костей, — для рыбы, которую мы ловили в прозрачной воде; изготовлять наконечники для стрел из твердого камня — чтобы охотиться на оленей, диких лошадей, лосей и старого Саблезубого. Они смеялись над тем, как я обтесывал камень, пока я не прострелил насквозь лося, и все племя высказало одобрение, когда каменный наконечник выдержал это испытание и прошел насквозь, а оперенный конец застрял во внутрен-

ностях животного.

Я был Ушу, стрелок, и Игарь была моей женщиной и женой. Мы смеялись под солнцем по утрам, когда наши дети, мальчик и девочка, золотоволосые, как пчелы, барахтались и катались в пыли; а по ночам она лежала в моих объятиях и любила меня, а потом убеждала меня бросить охоту как опасное занятие, поскольку я умел выбирать и гнуть дерево и обтесывать наконечники стрел. Я мог оставаться в нашем становище, заставив других мужчин приносить мне мясо, добытое на охоте. И я послушался ее, стал тучным и страдающим одышкой, и в долгие ночи без сна терзался тем, что люди из чужого племени приносят мне мясо за мою мудрость, но смеются над моей толщиной и нежеланием охотиться и воевать.

А в старости, когда наши сыновья стали взрослыми и наши дочери стали матерями, с юга, как волны с моря, нахлынули на нас орды темноволосых людей, с широкими бровями и со спутанными волосами, и мы отступили перед ними — к прудам среди холмов. Игарь, как все мои жены, задолго до того и много после, обвивавшая меня руками и ногами, не знавшая моих видений, старалась не пустить меня на битву.

Но я вырвался из ее объятий, тучный, стра-

дающий одышкой, в то время как она плакала, что я больше не люблю ее, и я пошел на ночной бой, свирепый бой, где, под пение натянутых луков и пронзительный гул стрел, оперенных и остроконечных, мы показали кочевникам нашу ловкость и мужество и научили их, как надо проливать кровь.

И когда я умер здесь, в конце битвы, вокруг меня пели погребальные песни, и в песнях этих, казалось, были те слова, которые я сложил, когда был Ушу, стрелком, а Игарь, моя жена, обвивающая меня руками и ногами, хотела удержать меня от участия в битве.

Однажды, одно небо знает, когда именно, очень давно, когда человек был еще юн, мы жили среди больших болот, где холмы подступали вплотную к широкой, медленно текущей реке и где наши женщины собирали ягоды и корни; здесь паслись стада оленей, диких лошадей, антилоп и лосей, которых мы, мужчины, убивали стрелами или заманивали в ямы или в расселины холмов.

В реке мы ловили рыбу, в сети, сплетенные женщинами из коры молодых деревьев.

Я был мужчиной, пылким и любопытным, как антилопа, которую мы подманивали к засаде пучками колыхающейся травы. В болотах рос ди-

кий рис, поднимаясь прямо из воды. Каждое утро дрозды будили нас своим щебетаньем, покидая свои гнезда, чтобы лететь в болота. И в долгих сумерках воздух был наполнен их шумом, когда они прилетали обратно в гнезда. То было время, когда созревал рис. Там водились также дикие утки, и утки и дрозды объедались созревшим рисом, с которого солнце снимало шелуху.

Будучи мужчиной, всегда беспокойным, всегда ищущим, всегда интересующимся тем, что лежит позади холмов и позади болот, и в глине, на дне реки, я глядел на диких уток и дроздов и размышлял, пока мои размышления не дали мне идею и я не прозрел. И вот то, что я увидел, вот это рассуждение.

Мясо — хорошая пища. Но в конце концов, проследив весь его путь, или, скорее, вернувшись к его началу, мы обнаружим, что всякое мясо возникает из травы. Мясо уток и дрозда рождалось из семян болотного риса. Для того чтобы убить утку стрелой, надо долго ее выслеживать и сидеть в засаде; затраченный труд едва окупается добычей. Дрозды же слишком малы, чтобы их убивать стрелами; они годятся лишь для мальчиков, которые на них учатся охотиться. И все-таки в сезон риса утки и дрозды становятся очень толстыми

— благодаря рису. Почему мне и моему племени так же не жиреть от риса?

И я раздумывал об этом в нашем становище, молчаливый и хмурый, в то время как дети ссорились возле меня, не замечаемые мною, а Арунга, моя жена, напрасно бранилась и требовала, чтобы я шел на охоту и принес побольше мяса для нашей многочисленной семьи.

Арунга была женщиной, которую я украл из племени, жившего среди холмов. Мы с ней целый год после похищения учились общему языку. Ах, как я прыгнул на нее, вниз с нависающих ветвей деревьев, когда она пробегала под ними по тропинке! Придавив ее плечи тяжестью моего тела, я крепко вцепился в нее. Она извивалась, как кошка, там, на тропинке. Она била и кусала меня. Ногти ее были похожи на когти дикой кошки, и она полосовала ими меня. Но я удержал ее и овладел ею, и два дня бил ее, чтобы заставить отправиться со мной из лощины горного племени в равнинную страну, где меж рисовых зарослей текла река и где жирели утки и дрозды.

Я осуществил свою мечту, когда созрел рис. Я посадил Арунгу на край выжженного пустого бревна, являвшего собой самую примитивную лодку. Я приказал ей грести. На корме я разо-

стлал шкуру оленя, которую она выделала. Двумя толстыми палками я склонял стебли над оленьей шкурой и выколачивал из колосьев зерна, которые иначе были бы съедены дроздами. И, придумав этот способ и испробовав его, я дал обе палки Арунге, а сам сел на нос, чтобы править и грести.

Раньше мы иногда ели сырой рис, и он нам не нравился. Но теперь мы поджаривали его на огне, так что зерна набухали и становились белыми, и все племя сбежалось попробовать его.

После этого мы стали известны среди людей как «едоки риса» или «сыны риса». И много, много времени спустя, когда племя речных жителей оттеснило нас из болот на плоскогорье, мы взяли с собой семена риса и посеяли их на новой земле. Мы научились выбирать самые крупные зерна для посева, так что весь рис, который мы потом ели, был крупнозернистым и сильнее разбухал от поджаривания и варки.

Но скажу об Арунге. Я сказал, что она визжала и царапалась, как кошка, когда я украл ее. Зато я помню случай, когда ее сородичи схватили меня и потащили в горы. То были ее отец, его брат и два ее единокровных брата. Но она была моей, потому и пошла со мною. И ночью, когда я лежал

связанный, как дикий боров, ожидающий, когда его зарежут, а они спали, усталые, возле огня, она подползла к ним и размозжила им головы боевой дубиной, которую я сам смастерил. Она плакала надо мной, освободила меня и убежала вместе со мной назад к большой спокойной реке, где дрозды и дикие утки жирели среди рисовых зарослей, ибо это было еще до того, когда пришли Сыновья Реки.

И все это потому, что она была Арунга, единая женщина, вечная женщина. Она жила во все времена и повсюду. Всегда она была жива. Она бессмертна. Однажды, в далекой стране, ее звали Руфь. Ее звали также Изольдой, Еленой, Покахонтас и Унгой. И только один чужеземец находил ее и будет находить среди племен всей земли.

Я вспоминаю многих женщин, растворившихся в этой одной женщине. Было время, когда мой брат Хар и я по очереди то спали, то мчались, неустанно загоняя дикого жеребца и днем и ночью. Кружа вокруг него, мы довели его голодом и жаждой до покорности и бессилия, так что под конец он мог лишь стоять и дрожать, пока мы связывали его веревками, сплетенными из оленьей кожи. Только благодаря быстрым ногам, не ведающим усталости, и простой сообразитель-

ности (это был мой план) мы с братом победили это быстроногое животное и завладели им.

И когда все было готово для того, чтобы я взобрался к нему на спину, — потому что это было моей мечтой с самого начала, — Сельпа, моя жена, обвила меня руками и возвысила голос, настойчиво требуя, чтобы поехал не я, а Хар, потому что у Хара нет ни жены, ни детей и никого не опечалит его смерть. Под конец она заплакала так, что я изменил своей мечте, и Хар, голый и цепкий, сел верхом на жеребца, а тот встал на дыбы и понес.

Солнце заходило — и поднялся великий плач, когда принесли Хара с далеких скал, где его нашли. Его голова была расколота вдребезги, и, точно мед из пчелиного улья, его мозги вылились на землю. Мать посыпала свою голову древесным пеплом и зачернила себе лицо, а отец отрезал половину пальцев на одной руке в знак печали. А все женщины, в особенности молодые и незамужние, называли меня скверными именами; а старые качали головами, бормотали и шептали, что ни их отцы, ни отцы их отцов не совершали подобных безумств. Лошадиное мясо — хорошая пища; мясо молодых жеребят годится даже для старческих зубов, но только безумец может

затеять борьбу с дикой лошадью, если она не ранена стрелой или не бьется на кольях посреди ямы-западни.

И Сельпа грызла меня до самого сна, а утром разбудила своей воркотней, все время протестуя против моего безумия, все время жалуясь на меня, жалея себя и наших детей, пока под конец я не устал и не отказался от своей далекой мечты; я сказал ей, что больше никогда не буду мечтать о том, чтобы взнуздать дикую лошадь, чтобы лететь на ней с быстротой ветра, через пески и цветущие луга.

В течение долгих лет люди не переставали рассказывать о моем безумии. Именно эти рассказы и стали моей местью, потому что моя мечта не умирала, и юноши, слушая издевательства и насмешки, мечтали о том же, так что в конце концов мой первенец Отар, совсем еще ребенок, бросился к дикому жеребцу, вскочил на него верхом и промчался перед всеми нами с быстротой ветра. После этого, чтобы не отстать от него, все мужчины стали ставить западни и укрощать диких лошадей. Много лошадей было поймано и приведено в покорность, но немало людей погибло; зато я дожил до дня, когда мы стали класть наших младенцев в корзинки из ивового лыка,

перекинутые через спины лошадей, которые во время кочевий перевозили все наше добро.

Я, будучи молодым человеком, мечтал и грезил; Сельпа — женщина, удержала меня от выполнения этого желания, но перед Отаром, семенем нашим, которое будет жить после нас, мелькнула моя мечта, и он осуществил ее, так что наше племя процветало благодаря удачной охоте.

Во время великого переселения из Европы, длившегося много поколений, когда мы привели в Индию короткорогий скот и принесли умение сеять ячмень, я встретил одну женщину. Но это случилось задолго до того, как мы достигли Индии. Тогда еще было не видно конца этому длившемуся целые столетия передвижению, и никакая наука не поможет мне определить теперь местонахождение древней долины, где это случилось.

Женщину эту звали Нухила.

Долина была небольшая, узкая, и ее крутые склоны и дно были изрезаны террасами, где росли рис и просо — первые рис и просо, которые увидели мы, Сыновья Гор. В этой долине жил миролюбивый народ. Он стал изнеженным, возделывая плодородную землю, которую делала еще более изобильной вода. Мы впервые увидели

и систему орошения, хотя у нас было мало времени на то, чтобы обратить внимание на устройство рвов и каналов, по которым стекала вся вода с холмов на обрабатываемые ими поля. У нас не было времени разглядывать, потому что мы, Сыновья Гор, были немногочисленны и бежали от Сыновей Безносого, которых было много. Мы прозвали их Безносыми, а они называли самих себя Сыновьями Орла. Но их было много, и мы бежали от них, с нашим короткорогим скотом, козлами, семенами ячменя, с нашими женами и детьми.

В то время как Безносые убивали наших юношей, прикрывавших отступление, наши передовые убивали людей из долины, которые пытались сопротивляться, но были слабы. Их хижины были построены из глины, а крыши покрыты травой; стена, окружающая деревню, тоже была из глины, очень толстая и прочная. Когда мы перебили людей, построивших стену, и укрыли за ней наши стада, наших жен и детей, мы взобрались на стену и стали осыпать бранью Безносых. Ибо мы нашли глинобитные житницы, полные риса и проса, наш скот мог есть солому с крыш, время дождей близилось, так что мы не должны были испытывать недостатка в воде.

То была долгая осада. Вначале мы собрали вме-

сте оставшихся в живых женщин, старцев и детей долины и выгнали их за стены, которые они сами выстроили. Но Безносые убили их всех до единого, поэтому для нас стало больше пищи в деревне, а для Безносых — больше пищи в долине.

То была утомительная, долгая осада. Нас поразил мор, и мы умирали от заразы, исходившей от наших покойников. Мы опустошили глиняные житницы с рисом и просом. Наши козы и коротконогий скот съели всю солому с домов, и мы еще до конца осады съели коз и другую скотину.

Пришло время, когда там, где прежде стояло пять мужчин на стене, оставался только один, где было пятьсот младенцев и детей постарше, не стало ни одного. Нухила, моя жена, первая обрезала себе волосы и сплела из них крепкую тетиву для лука. Другие женщины сделали то же самое, и когда наши стены были атакованы, они стали с нами плечом к плечу, с нашими пращами и луками, осыпая Безносых дождем камней и стрел.

Даже терпеливых Безносых мы почти утомили. Пришло время, когда из десяти мужчин у нас остался в живых едва один, а женщин и того меньше; тогда Безносые начали переговоры. Они сказали нам, что мы сильное племя, и что наши женщины рожают настоящих мужчин, и что, ес-

ли мы отдадим им наших женщин, они уйдут из долины, оставив ее нам в полное владение, и тогда мы можем взять себе жен из южных долин.

Но Нухила сказала «нет». И другие женщины сказали «нет». И мы насмехались над Безносыми и спрашивали, не устали ли они сражаться. Но сами мы были почти мертвыми, когда смеялись над нашими врагами, и в нас оставалось мало боевого духа, так мы совсем обессилели. Еще одна атака, и нам придет конец. Мы знали это; и наши женщины тоже знали это. И Нухила сказала, что мы должны убить наших женщин раньше, чем за ними придут Безносые, чтобы они им не достались. И все женщины согласились с нею. И в то время как Безносые готовились к атаке, которая должна была стать последней, там, за стеной, мы убивали наших женщин. Нухила любила меня и склонилась, чтобы быстрее встретить удар моего меча. А мы, мужчины, из любви к нашему племени и сородичам, убивали один другого до тех пор, пока остались в живых только Орда и я, красные от пролитой крови. И так как Орда был старше меня, я склонился, чтобы принять удар его меча, но умер я не сразу. Я был последним из Сыновей Гор, потому что видел, как Орда сам бросился на свой меч и вскоре испустил дух. И

умирая под ликование приближающихся Безносых, нарастающее в моих ушах, я радовался, что у Безносых не будет ни одного сына из нашего племени, рожденного нашими женщинами.

Не знаю, какое это было время, когда я был Сыном Гор и умер в узкой долине, где мы перебили Сыновей Риса и Проса. Я знаю только, что это было за целые столетия до того, как широко разлилось переселение Сыновей Гор в Индию, задолго до того, как я был арийским властителем в Древнем Египте и выстроил себе два склепа, уничтожив гробницы предшествовавших мне царей.

Я охотно рассказал бы больше об этих далеких днях, но сейчас время дорого. Скоро я должен умереть. Все-таки я жалею, что не могу рассказать побольше об этих ранних переселениях, когда гибли народы, спускались ледники и меняли свои вековые пастбища животные.

Мне хотелось бы также рассказать о Таинствах. Мы ведь всегда пытались разгадать тайны жизни, смерти и увядания. В отличие от других животных, человек всегда заглядывался на звезды. Много богов создал он по своему подобию, согласно образам своего воображения. В те древние времена я почитал солнце и тьму, я почитал

колосящееся зерно как творца жизни. Я почитал Сар, богиню зерна. И я почитал богов морских, богов рек.

Да, и я помню Иштар, до того как ее у нас украли вавилоняне, и Эа, нашего бога подземного мира, давшего Иштар возможность покорить смерть. Митра тоже был добрым древнеарийским божеством, пока его не похитили у нас или пока мы его не низложили. И я помню, как однажды, много лет спустя после переселения, когда мы принесли ячмень в Индию, я отправился в эту страну, чтобы продать там лошадей, с целым караваном, следующим за мной, и со множеством слуг, поклоняющихся Бодхисатве.

Поистине, Таинства кочевали вместе с людьми, богов крали и заимствовали, так что они были такими же бродягами, как и мы.

Я, Даррел Стэндинг, улыбаюсь сейчас в отделении для убийц тому, что меня признали виновным и приговорили к смерти двенадцать присяжных, добросовестных и честных. Двенадцать всегда было магическим числом при всех таинствах. Оно отнюдь не берет начало от двенадцати колен Израиля. Еще до них звездочеты расположили на небе двенадцать знаков зодиака. И я вспоминаю, что когда я был асом и ваном,

Один, творя суд над людьми, сидел в окружении двенадцати богов.

И вот, когда я спокойно взвешиваю все это, я заключаю, что величайшим в жизни, во всех жизнях, для меня и для всех мужчин была женщина, есть женщина и будет женщина, будет до тех пор, пока совершается движение звезд на небе, пока не прекратится их вечный танец. Более великой, чем наш труд и старания, игра воображения и измышления, битвы, изучение звезд и таинств, более великой, чем все это, всегда была женщина.

Все мои труды и стремления приводили к ней; во всех моих далеких грезах я видел ее в конце пути.

Ради нее и рожденных ею детей я умирал на вершинах деревьев и выдерживал долгую осаду в пещерах и на глинобитных стенах. Ради нее я поместил в небо двенадцать знаков. Ее боготворил я, когда склонялся перед десятью нефритовыми камнями и почитал их, как месяцы беременности.

Всегда женщина близко припадала к земле, как болотная куропатка, прикрывающая своего птенца; всегда безудержность моих блужданий уводила меня с ясного пути; и всегда мой

звездный путь возвращал меня к ней, к вечному образу, женщине, единой женщине, объятия которой были мне так нужны, что в них я забывал о звездах.

Ради нее совершал я целые одиссеи, взбирался на горы, пересекал пустыни; ради нее предводительствовал я на охоте и был в первых рядах в бою; и ради нее и ей я пел песни о том, что совершил. Я испытал радость жизни и всю музыку восторга только благодаря ей. И здесь, на пороге смерти, я могу сказать, что нет более сладкого и трепетного безумия, чем те мгновения, когда я погружался в благоухающее блаженство ее волос.

Еще одно слово. Я часто вспоминаю Дороти в ту пору, когда я еще преподавал агрономию сыновьям фермеров. Ей было одиннадцать лет. Отец ее был деканом коллежа. Она была еще совсем юной и решила, что любит меня. Но я улыбался, потому что мое сердце оставалось безучастным и было отдано другой.

И все же я улыбался ей нежно, потому что в глазах ребенка я видел вечную женственность, женщину всех времен и пространств. Ее глаза были глазами моих подруг из джунглей и высокого леса, из пещер и стоянок кочевников. В ее глазах я видел глаза Игарь, когда я был стрелком

Ушу, глаза Арунги, когда я возделывал рис, глаза Сельпы, когда я мечтал о приручении жеребца, глаза Нухилы, склонившейся, чтобы принять удар моего меча.

Она была женщиной-ребенком, но вместе с тем являлась дочерью всех женщин, как ее мать до нее, и она была матерью всех женщин, которые будут после нее. Да, она была Евой, Лилит и Иштар. Ей было одиннадцать лет, и она была всеми женщинами, которые жили раньше и будут жить потом.

Теперь я сижу в своей камере, мухи жужжат в сонном летнем воздухе, и я знаю, что мое время скоро кончится. Скоро они наденут на меня рубашку без ворота… Но умолкни, сердце. Дух бессмертен. После мрака смерти я снова буду жить, — и в этой жизни будут женщины. Будущее таит от меня еще не родившихся женщин в существованиях, которые я еще буду проживать. И хотя звезды движутся, а небеса лгут, вечно остается женщина, сияющая, вечная, единая женщина, как я, во всех своих обликах и судьбах, остаюсь тем же мужчиной, ее супругом.

Глава XXII

У меня остается совсем мало времени. Все мои рукописи в целости и сохранности вынесены тайком из тюрьмы. Есть один человек, на которого я могу положиться и который позаботится, чтобы они были изданы. Я уже не в отделении для убийц. Я пишу эти строки в камере смертников, и надзиратель за смертниками сидит возле меня. Ночью и днем он при мне, и его оригинальная обязанность состоит в том, чтобы не дать мне умереть. Я должен быть живым, когда придет срок меня вешать, иначе публика будет обманута, закон посрамлен, и это ляжет пятном на избранного гражданами начальника тюрьмы, чья обязанность — наблюдать за тем, чтобы приговоренные к смерти были должным образом и по правилам повешены. Часто я удивляюсь тем странным способам, которые избирают люди, чтобы устроить свое существование.

Это моя последняя запись. Завтра утром пробьет мой час. Губернатор отказал в помиловании или отсрочке, несмотря на тот факт, что Лига борьбы против смертной казни подняла настоящий бунт по всей Калифорнии. Собрались

репортеры, точно стая ворон. Я видел их всех. Они забавные парни, по большей части, и забавнее всего то, что они хотят заработать на хлеб с маслом, рюмку водки и табак, на квартирную плату, а если они женаты, то и на сапоги и учебники для своих детей, присутствуя при казни профессора Даррела Стэндинга и описав затем, как профессор Даррел Стэндинг умер в петле. Ну ладно, они будут чувствовать себя хуже, чем я, по окончании процедуры.

Пока я сижу здесь и размышляю обо всем этом, я слышу шаги моего часового, гуляющего взад и вперед у моей камеры; его подозрительные глаза постоянно устремлены на меня, а я так устал от вечных повторений. Я прожил столько жизней… Мне надоели бесконечные усилия, страдания и катастрофы, случающиеся с теми, кто поднимается высоко, ступает по сияющим дорогам и блуждает средь звезд.

Я почти надеюсь, что когда я вновь обрету форму, это будет судьба спокойного фермера. Это моя мечта! Мне бы хотелось провести там целую жизнь. О, ферма моих мечтаний! Мои луга с люцерной, мой джерсейский скот, горные пастбища, возделанные поля, и выше их — покрытые кустарником откосы, где пасутся ангорские козы,

подготавливая почву к будущей пахоте!

Высоко, среди холмов есть естественная котловина, опоясанная с трех сторон горами. Я бы охотно сделал плотину с четвертой стороны, которая очень узка. С ничтожной затратой труда я мог бы собрать здесь двадцать миллионов галлонов воды. В Калифорнии единственной серьезной проблемой для фермера является долгое сухое лето. Оно препятствует росту покровных культур, и чернозем обнаженной почвы выгорает на солнце. А с этой плотиной я мог бы собирать урожай до трех раз в год, соблюдая нужный севооборот…

Я только что перенес визит начальника тюрьмы. Я намеренно говорю «перенес». Он совершенно не похож на Азертона из Сен-Квентина. Он очень нервничал, и поневоле я должен был успокаивать его. Это его первое «повешение», так он мне сказал. А я, неловко пошутив и отнюдь не успокоив его этим, сказал, что для меня это также первое «повешение». Он был не в состоянии смеяться. У него есть дочь, которая учится в высшей школе, а его сын только что поступил в Стэнфордский университет. У него нет иных доходов, кроме жалованья, его жена — инвалид, и он встревожен тем, что доктора страховой компании отказали ему в полисе. Право, этот человек

рассказал мне почти обо всех своих неприятностях. Если бы я не прервал вежливо эту беседу, он бы еще до сих пор досказывал мне остальное.

Два последних года, проведенных мною в Сен-Квентине, были очень мрачными и угнетающими. По прихоти судьбы Эда Моррелла выпустили из одиночки и назначили главным старостой всей тюрьмы, на место Эла Хэтчинса, которое взятками приносило не меньше тысячи долларов в год. К несчастью, Джеку Оппенхеймеру, который жил в одиночке так долго, опротивел весь мир, решительно все. Восемь месяцев он отказывался разговаривать даже со мной.

И в тюрьме распространяются новости. Дайте только время, и они проникнут даже в карцеры и одиночки. И до меня дошла в конце концов новость, что Сесил Уинвуд, этот поэт, мошенник, трус, подлец, доносчик, провокатор, вернулся сюда, осужденный за новый подлог. Припомните, что именно Сесил Уинвуд выдумал сказку о несуществующем динамите и из-за него я провел пять лет в одиночном заключении.

Я решил убить Сесила Уинвуда. Вы понимаете, Моррелл ушел, а Оппенхеймер, вплоть до последней вспышки ярости, которая привела его на виселицу, хранил молчание. Одиночество стало

для меня невыносимым. Я должен был сделать хоть что-нибудь. Тогда я вспомнил то время, когда был Адамом Стрэнгом и терпеливо лелеял планы мести в течение сорока лет. То, что сделал он, мог сделать и я, если только когда-нибудь я смогу сомкнуть руки на горле Сесила Уинвуда.

Я не расскажу, каким образом я раздобыл четыре иголки, тонкие иглы для батиста. Я был таким тощим, что мне надо было перепилить только четыре прута, каждый в двух местах, чтобы сделать отверстие, через которое я мог бы протиснуться. И мне это удалось. Я тратил по одной иголке на каждый прут. Нужно было сделать два надреза на каждом пруте, и на каждый надрез ушел месяц. Таким образом, я потратил восемь месяцев на подготовку побега. К несчастью, я сломал последнюю иголку на последнем пруте и был вынужден ждать целых три месяца, пока мне не удалось достать другую. Но я достал ее и вышел из камеры.

Я очень жалею, что не поймал Сесила Уинвуда. Я хорошо рассчитал все, кроме одной вещи. Несомненно, проще было найти Уинвуда в столовой, в час обеда. Итак, я ждал, когда сонный надзиратель Джонс Горошина заступит на смену в полдень. В это время я был единственным арестантом одиночного отделения, так что Джонс

Горошина быстро захрапел. Я убрал железные пруты, вылез из камеры и прокрался мимо надзирателя, открыл дверь и был свободен… внутри тюрьмы.

И здесь случилось то, чего я не мог предвидеть. Я пробыл пять лет в одиночке. Я был ужасно слаб. Я весил 87 фунтов и был наполовину слеп. Со мной случился приступ агорафобии — боязни пространства. Я не мог сделать ни шагу. Пять лет, проведенных в тесной камере, сделали меня неспособным ходить по слишком крутой лестнице и обширному тюремному двору.

Спуск по этой лестнице я считаю самым героическим подвигом, который я когда-либо совершал. Двор был пустынен. Ослепительное солнце освещало его. Трижды я пробовал перейти его. Но у меня закружилась голова, и я отступил к стене, ища защиты. Снова, собрав все мое мужество, я сделал попытку. Но мои бедные глаза, глаза летучей мыши, испугались моей собственной тени на плитах двора. Я попытался миновать свою тень, споткнулся, упал на нее и, как тонущий человек, пытающийся достичь берега, пополз на четвереньках обратно к стене.

Я прислонился к ней и заплакал. Я заплакал впервые за много лет. Я вспоминаю, что почув-

ствовал даже в ту минуту отчаяния горькие слезы на щеках и соленый вкус на губах. Затем я ощутил озноб и некоторое время дрожал, как в лихорадке. Решив, что перейти двор для меня — невозможный подвиг, все еще дрожа от озноба и держась ближе к стене, опираясь на нее руками, я собрался ползком обогнуть по периметру двор.

И тут меня обнаружил надзиратель Серстон. Мои невидящие глаза исказили его образ — огромное, раскормленное чудовище бросилось ко мне с невероятной быстротой издалека. Возможно, что в тот момент он был всего-то в двадцати шагах. Он весил 170 фунтов. Легко можно себе представить схватку между нами, но утверждали, что во время этой короткой драки я ударил его в нос кулаком, с намерением вызвать кровотечение из носа.

Во всяком случае, так как я был пожизненным заключенным, а для них в Калифорнии наказанием за драку является смерть, я был признан виновным присяжными, которые не могли не поверить клятвенным утверждениям надзирателя Серстона и остальных бездельников-свидетелей. Таким образом, я был осужден теми, кто просто не мог поступить вопреки закону, недвусмысленно изложенному в уголовном кодексе.

Серстон от души избил меня, и всю дорогу обратно по этой громадной лестнице орда надзирателей колотила, толкала меня и давала мне подзатыльники, усердно стараясь помочь ему. Господи, если у него из носа и правда пошла кровь, то возможно, что кто-нибудь из его же шайки был виновен в этом, такая наступила там сумятица. Меня не волновало бы, если б я и в самом деле был виновен в этом, да вот только за такую безделицу людей вешают…

Я сейчас как раз имел беседу с дежурным надзирателем. Чуть меньше года назад эту же самую камеру смертников занимал Джек Оппенхеймер, ожидая виселицы, на которую я вступлю завтра. Этот человек был одним из надзирателей Джека. Он старый солдат, постоянно и неаккуратно жующий табак, так что его седая борода и усы окрашены в желтый цвет. Он — вдовец; у него четырнадцать детей, все женатые; у него тридцать один внук и четыре правнучки. Чтобы извлечь все эти сведения, надо было потратить столько же усилий, сколько на то, чтобы вытащить зуб. Он старый забавный мужик, стоящий на низшей ступени умственного развития. Я думаю, что поэтому он живет так долго и произвел такое многочисленное потомство. Его мозг, должно

быть, застыл в своем развитии тридцать лет тому назад. Его мысли не шли дальше сбора винограда. Он редко отвечал мне иначе, чем «да» и «нет». Но это не потому, что он угрюм, а просто у него нет мыслей, чтобы их выражать. Не знаю, когда я буду жить снова, но знаю, что перевоплощение в существо, подобное ему, будет означать растительную жизнь, которая позволит неплохо отдохнуть, прежде чем отправиться снова скитаться меж звезд.

Но вернусь к прерванному рассказу… Я должен написать еще несколько строк и рассказать, что после того, как Серстон и остальные тюремные псы избили меня до полусмерти на лестнице и снова швырнули в одиночку, я испытал бесконечное облегчение от того, что снова нахожусь в своей тесной камере. В ней было так безопасно, так надежно… Я себя чувствовал, как заблудившийся ребенок, вернувшийся домой. Я полюбил эти самые стены, которые ненавидел пять лет. Они защищали меня от пространства, как от чудовища, нависшего надо мной, совсем рядом и со всех сторон. Боязнь пространства — ужасное несчастье. Я недолго испытывал ее муки, но из этого немногого я могу заключить, что повешение — пустяки в сравнении с нею…

Только что я смеялся от души. Тюремный доктор, славный парень, разговаривая со мной, неожиданно предложил мне свои услуги. Конечно, я отклонил его предложение так «накачать» меня морфием на ночь, чтобы завтра я не знал, идя к виселице, «на каком я свете»…

Как это смешно! То же было и с Джеком Оппенхеймером. Я вспоминаю его тонкий юмор в тот день, когда он поразил репортеров своей обдуманной шуткой, которую они сочли невольной. В его последнее утро, после завтрака, когда его уже нарядили в рубашку без ворота, репортеры, собравшиеся в камере, чтобы услышать его последнее слово, захотели узнать, что он думает о смертной казни.

Кто сможет отрицать, что мы покрыты лишь легким слоем цивилизации поверх грубого варварства, если несколько людей, которым еще предстоит жить, задают подобный вопрос человеку, близкому к смерти — и на смерть которого они пришли посмотреть? Но Джеку не откажешь в остроумии.

— Господа, — сказал он, — я надеюсь дожить до того дня, когда смертная казнь будет отменена.

Я прожил много жизней, во многих веках. Человек, индивидуум, в моральном отношении

не прогрессировал за минувшие десять тысяч лет. Я утверждаю это уверенно. Разница между неукрощенным жеребцом и упряжной лошадью — это только различие в степени дрессировки. Дрессировка — вот моральная разница между современным человеком и человеком, жившим десять тысяч лет назад. Под тонким слоем морали, который лежит на нем, он тот же дикарь, каким был десять тысяч лет назад. Мораль — это социальный фонд, приобретение ряда поколений. Новорожденный ребенок будет дикарем, если не подвергнется воспитанию и шлифовке при помощи абстрактной морали, которая накапливалась так долго.

«Не убий»... Вздор! Они убьют меня завтра утром.

«Не убий»... Вздор! На верфях всех цивилизованных стран закладываются сегодня дредноуты и сверхдредноуты. Дорогие друзья, я, идущий на смерть, приветствую вас словом «Вздор!».

Я спрашиваю вас — чем современная мораль лучше той, какую проповедовали Христос, Будда, Сократ и Платон, Конфуций и тот, кто был автором «Махабхараты»? Боже милосердный, пятьдесят тысяч лет назад в наших объединенных одним тотемом семьях женщины были

чище, а отношения между родами справедливее.

Я должен сказать, что практиковавшаяся нами в те давние дни мораль была лучше современной. Не отбрасывайте эту мысль поспешно. Подумайте о существующем у нас детском труде, о взяточничестве нашей полиции, о нашей политической коррупции, о фальсификации пищевых продуктов, о дочерях бедняков, торгующих своим телом. Когда я был Сыном Горы и Тельца, проституции не существовало. Мы были чисты, говорю вам это. Нам даже и не снилась такая глубокая развращенность. Да, теперь так чисты только животные. Потребовался человек, с его воображением и искусством, чтобы выдумать смертные грехи. Другие животные неспособны к греху.

Я торопливо оглядываюсь назад, на множество своих жизней в других временах и местах. Я никогда не знал жестокости более ужасной, чем жестокость современной тюремной системы. Я вам поведал, что я претерпел в смирительной рубашке и в одиночке в первом десятилетии текущего XX столетия после Рождества Христова. В старые времена мы наказывали без послаблений и убивали быстро. Мы поступали так, потому что мы так хотели, по прихоти, если хотите. Но мы не были лицемерами. Мы не взывали к прессе,

к церковной кафедре и к университетам, чтобы они санкционировали нашу предумышленную дикость. Мы шли прямым путем и делали, что хотели — напрямик, и прямо встречали лицом к лицу все упреки и порицания. Мы не прятались за полы классиков-экономистов и буржуазных философов, за полы субсидируемых проповедников, профессоров и издателей.

Почему, скажите на милость, сто лет назад, пять-десять лет назад, пять лет назад — в этих Соединенных Штатах нанесение легких увечий в драке не было тяжким уголовным преступлением? А в этом году, в 1913 году от Рождества Христова, в штате Калифорния, за такое преступление был повешен Джек Оппенхеймер, а завтра, за уголовное преступление — удар кулаком по носу — они поведут меня на виселицу. Не правда ли, обезьяна и тигр умерли в душе человека, если подобные законы входят в уголовный кодекс Калифорнии в 1913 году после Рождества Христова? Господи, Господи, Христа они только распяли… Они сделали худшее со мной и с Джеком Оппенхеймером…

Однажды Эд Моррелл простучал мне: «Худшее, что возможно сделать с человеком, это повесить его». Нет, презираю смертную казнь. Это не толь-

ко грязная игра, унижающая палачей, которые совершают ее за плату, но это унизительно для гражданского общества, которое терпит ее, голосует за нее и платит налоги на содержание палачей. Смертная казнь так глупа, так тупа, так ужасно ненаучна. «…Повесить за шею, пока не будет мертв» — как нелепа эта фразеология общества…

Настало утро… мое последнее утро. Я спал как дитя всю ночь. Я спал так, что даже мой надзиратель испугался. Он подумал, что я задушил себя одеялом. Огорчение бедного человека было достойно жалости. Его хлеб насущный зависел от этого. Случись такое на самом деле, это легло бы на него черным пятном, может быть, даже привело бы к отставке, а перспективы теперь очень печальны. Говорят, что по Европе уже два года катится волна банкротств, которая дошла теперь и до Соединенных Штатов. Это означает промышленный кризис, и армии безработных будут очень велики этой зимой.

Я только что позавтракал. Это кажется пустяком, но я съел завтрак с аппетитом. Пришел начальник тюрьмы с квартой виски. Я преподнес ее в дар отделению для убийц. Бедняга началь-

ник, он боится, что если я не выпью, то устрою суматоху — при исполнении казни — и брошу тень на его управление…

Они надели на меня рубашку без ворота…

Кажется, будто сегодня я очень важная персона. Такое множество людей заинтересовалось вдруг мною…

…Только что ушел доктор. Он щупал мой пульс. Я спросил его — пульс нормальный.

Я пишу эти случайные мысли и впечатления, которые листок за листком тайным путем покидают стены тюрьмы…

Я самый спокойный человек в тюрьме. Я похож на ребенка, отправляющегося в путешествие. Я жду его с нетерпением, так как меня разбирает любопытство — что за новые места я увижу? Этот страх перед смертью смешон тому, кто так часто погружался во мрак и воскресал вновь.

…Начальник тюрьмы с бутылкой шампанского. Я тоже подарил ее отделению для убийц. Не забавно ли, что на меня обращают так много внимания в последний день? Должно быть, эти люди, которые убьют меня, — сами боятся смерти.

Как сказал Джек Оппенхеймер, «я, близкий к

Господу, вселяю в них ужас».

Эд Моррелл только что прислал мне записку. Мне сказали, что он всю ночь ходил взад и вперед вдоль тюремной стены. Правила запрещают ему, бывшему осужденному, прийти и проститься со мной. Дикари! Не знаю. Может быть, просто дети. Держу пари, что в ночь после того, как они повесят меня, большая часть из них будет бояться оставаться в темноте, в одиночестве.

Но вот весточка Эда Моррелла: «Пожимаю твою руку, старый друг. Я знаю, ты не дрогнешь»…

Только что ушли репортеры. Я их скоро опять увижу у эшафота и буду видеть все время, пока палач не спрячет мое лицо под черным капюшоном. Они будут выглядеть до смешного расстроенными. Забавные парни. Некоторые, похоже, выпили для храбрости. Двоих или троих, по всей видимости, мутит от того, что им предстоит увидеть. Кажется, легче быть повешенным, чем быть свидетелем этому…

Мои последние строки… Я, кажется, задерживаю церемонию. Моя камера переполнена чиновниками и должностными лицами. Все очень нервны. Они хотели бы, чтобы это уже кончилось. Без сомнения, некоторые из них

приглашены на обед. Я, право, оскорбляю их тем, что пишу эти несколько слов. Священник снова предложил мне присутствовать при моем конце. Почему я должен отказать бедняге в этом утешении? Я согласился — и он сразу повеселел. Какие пустяки радуют некоторых людей!.. Я бы остановился и смеялся минут пять от души, если бы они так не торопились.

И вот я кончаю. Я могу только повторить то, что я сказал. Смерти нет. Жизнь — это дух, а дух не может умереть. Только материя умирает и исчезает, распадаясь на неустойчивые химические соединения, которые не дают ей застыть; всегда пластичная — она кристаллизуется лишь для того, чтобы вскоре распасться на новые и различные формы, которые живут недолго и снова обращаются в прах. Только дух выживает и продолжает развиваться в процессе последовательных и бесконечных перевоплощений, стремясь к свету. Кем буду я, когда буду жить снова? Я жажду, я жажду знать это…

КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ


08

Когда боги смеются

Да, сонм богов нас победил!
Им служит время! Им под ноги
Мы стелемся. Как дым кадил,
Для них моленья и тревоги —
На то они и боги.

Наконец Каркинес расслабился. Он скользнул взором по дребезжащим окнам, глянул вверх на бревенчатую крышу и на мгновение прислушался к дикому завыванию юго-восточного ветра, словно схватившего наше бунгало в свою пасть. Затем он приподнял стакан и, глядя сквозь золотистое вино на огонь камина, весело засмеялся.

— Оно великолепно, оно слаще сладкого! Это вино, созданное для женщин, для уст святителей в серых ризах!

— Мы возделываем виноград для него на наших холмах, — отвечал я с вполне простительной для калифорнийца гордостью. — Вы вчера проезжали как раз мимо тех виноградников, где он произрастает.

Не так-то легко было заставить Каркинеса расслабиться. Ведь он не станет самим собой, пока не почувствует, как ласковая теплота виноградной струи поет в его жилах. Правда, он был художником, художником всегда и во всем. Но как-то так выходило, что в трезвости вдохновение покидало его, и он мог стать смертельно скучным, как английское воскресенье, — правда, не совсем таким, как другие скучные люди, но все же скучным по сравнению с тем бойким малым, каким бывал Каркинес, став самим собой.

Однако из всего этого не следует заключать, будто Каркинес — мой дорогой друг и товарищ — был дураком. Вовсе нет! Он очень редко заблуждался. Как сказано, он был художником. Он знал свою меру; а мерой ему служило душевное равновесие, — то равновесие, которое свойственно нам с вами, когда мы трезвы.

В природе его было нечто эллинское. И все же он был весьма далек от эллина. «Я — ацтек, я — инка, я — испанец», — говаривал он мне. В самом деле, его смуглая кожа и асимметричные, резкие черты лица напоминали об этих таинственных и древних племенах. Глаза его под массивными арками бровей были широко расставлены и варварски черны, а на них постоянно

свисала большая прядь черных волос, сквозь которую он глядел на мир, точно плутоватый сатир сквозь чащу кустов. Он постоянно носил мягкую фланелевую рубашку, бархатную куртку и красный галстук. Последний заменял красное знамя (Каркинес в Париже водился с социалистами) и символизировал кровь и братство людей. И никто не видел на его голове ничего, кроме сомбреро с кожаной лентой. Поговаривали даже, будто он так и родился в этом странном головном уборе. Я-то знаю, какое забавное зрелище представляло это мексиканское сомбреро в кебе на Пиккадилли или в толпе на остановке городской железной дороги Нью-Йорка.

Как сказано, Каркинес оживлялся от вина, как глина от дыхания жизни, — по его собственному выражению. Я должен сказать, что с Богом он состоял в кощунственно-задушевных отношениях, и тем не менее кощунства в нем не было. Он всегда был честен, но — весь полный парадоксов — зачастую груб, как дикарь, порой — нежен, как девушка, или вкрадчив, как испанец. Итак, разве он не был ацтеком, инкой, испанцем?

Теперь я должен извиниться за то, что уделил ему так много места (он мой друг, и я его люблю).

Он подвинулся поближе к огню и улыбнулся,

глядя на него сквозь стакан с вином; а дом сотрясался от порывов ветра. Каркинес бросил на меня взгляд, и по блеску его глаз я убедился, что он в своей тарелке.

— Итак, вы думаете, что обыграли богов? — спросил он.

— Почему же богов?

— Разве не они заставили людей познать пресыщение?

— А откуда же во мне желание избежать пресыщения? — с торжеством в голосе поинтересовался я.

— Опять-таки от богов, — рассмеялся он. — Мы играем в их игру. Они сдают, они же тасуют… и загребают ставки. Не думайте, что, убежав из сумасшедших городов, вы ускользнули от богов, — вы, с вашими холмами, одетыми в виноградники, с вашими восходами и закатами, с вашим домашним столом и простым обиходом. Я наблюдал за вами с самого своего приезда. Вы не выиграли игру, вы сдались. Вы вошли в соглашение с неприятелем. Вы сознались в своем утомлении. Вы выбросили белый флаг усталости. Вы вывесили извещение о банкротстве ваших жизненных сил. Вы убежали от жизни. Вы сплутовали — и весьма некрасиво. Вы забастовали, не

кончив игры. Вы отказались играть. Вы бросили карты на стол и улизнули сюда, чтобы укрыться среди своих холмов.

Он убрал со лба густые волосы, скрывавшие его сверкающие глаза, и на мгновение прервал речь, чтобы свернуть длинную коричневую мексиканскую папиросу.

— Но боги это знают. Это — старый приемчик. Каждое поколение людей прибегало к нему… и все проигрывали. Боги знают, как расправляться с такими, как вы. Стремиться к чему-нибудь — значит обладать, а обладать — значит пресытиться. И вот вы, по мудрости своей, отказались от всякого стремления. Вы предпочли успокоиться. Ладно! Вы пресытитесь этим самым покоем. Вы говорите, что избежали пресыщения. Нет, вы только променяли его на старческую слабость. А старческая слабость есть лишь другое название того же пресыщения. Она — маска пресыщения. Так-с!

— Но поглядите на меня! — вскричал я.

Каркинес был настоящим демоном, умеющим вытянуть из кого-нибудь душу и разорвать ее в клочья. Он смерил меня с ног до головы убийственным взглядом.

— Нет никаких внешних признаков старо-

сти, — бодрился я.

— Упадок настигнет вас внезапно, — возразил он. — Вы уже перезрели и скоро начнете гнить.

Я рассмеялся и простил этого задиру. Но он от прощения отказался.

— Разве я не знаю? — сказал он. — Боги всегда выигрывают. Я следил за некоторыми людьми, которые год за годом как будто выигрывали, а под конец все-таки продувались в пух и прах.

— Не ошибались ли вы иногда? — спросил я.

Прежде чем ответить, он задумчиво выпустил несколько колец дыма.

— Да, однажды меня чуть-чуть не одурачили. Хотите, я вам расскажу? Был тут такой Марвин Фиск. Вы его, верно, помните? С лицом Данте и душой поэта! Все распевал гимны плоти. Истинный жрец любви. И была такая Этель Бейрд, которую вы, по всей вероятности, тоже помните.

— Святая женщина, — сказал я.

— Вот именно! Святая, как любовь, — нет, даже нежней любви! Поистине, женщина, созданная для любви, и все же — как бы это сказать — насквозь пропитанная святостью, как ваш здешний воздух пропитан ароматом цветов. Так вот, они поженились. Сыграли партию с богами…

— И выиграли, блестяще выиграли! — прервал

я его.

Каркинес поглядел на меня с жалостью, и голос его прозвучал как погребальный звон.

— Они проиграли. Они проиграли все.

— Но люди думают иначе, — промолвил я холодно.

— Люди строят догадки. Люди видят только лицевую сторону вещей. А я — я знаю. Приходило вам когда-нибудь в голову спросить себя, почему она постриглась в монахини, почему похоронила себя в этой скорбной обители живых мертвецов?

— Потому что она сильно его любила, а когда он умер…

Я осекся, увидев усмешку Каркинеса.

— Ответ стандартный, — проговорил он, — как на фабрике отштампованный. Мнение общества! Что знает об этом общество? Она, как и вы, бежала от жизни. Она была разбита. Она выбросила белый флаг усталости. И ни один осажденный город никогда еще не выбрасывал этот флаг с такой горечью и со столькими слезами.

Теперь я расскажу вам все, а вы должны мне поверить, ибо я все это знаю. Марвин Фиск и Этель размышляли о проблеме пресыщения. Они любили любовь. Они знали цену любви с точностью до одного фартинга. Они любили ее так крепко,

что хотели сохранить ее навеки в своих сердцах — навеки живой и горячей. Они приветствовали ее появление и боялись ее ухода.

Они думали: любовь есть желание, сладостная мука. Она вечно ищет удовлетворения и, найдя его, умирает. Любовь отвергнутая — это любовь живая; любовь вознагражденная — мертвая любовь. Следите ли вы за моей мыслью? Они знали, что жизнь, по самой природе своей, не может жаждать того, чем она уже обладает. Есть и оставаться голодным — этой задачи не разрешил еще ни один человек. Это — проблема пресыщения. Обладать и в то же время непрестанно оттачивать острое лезвие голода до степени наивысшего томления — вот в чем была их задача, ибо они любили любовь. Часто обсуждали они этот вопрос, и сладостные огоньки любви вспыхивали в их глазах; ее алая кровь заливала их щеки; ее голос звенел в их голосах, то дрожа у них в горле неслышным тремоло, то звуча невыразимой нежностью, лишь ей одной ведомой. Вы спросите: откуда мне все это известно? Многое я видел. Еще больше узнал из ее дневника. Вот какую цитату из Феоны Маклауда нашел я в нем: «Истинно говорю вам, что этот прерывистый голос, сумеречный шепот, росистое сладкое дыха-

ние, этот огненнокрылый Кифаред, что предстает перед людьми лишь на мгновение в мерцании радуги радости и во внезапной вспышке молнии страсти, та изысканная тайна, что зовется Эросом, — является лишь немногим восторженным ясновидцам, и не с той песней на устах, которую слышат все, не с веселыми скрипками публичной музыки, а со звуками, рожденными экстазом, с немым красноречием желаний».

Как удержать огненнокрылого Кифареда с немым красноречием желаний? Остановить его — значит потерять его! Их любовь друг к другу была великой любовью. Их житницы ломились от изобилия; и все же они хотели сохранять в целости острое лезвие любовного голода.

Притом они не были неоперившимися, худосочными птенцами, разводящими теории на пороге любви. Это были сильные, сложившиеся души. Им уже доводилось испытывать любовь и раньше. И тогда они душили любовь ласками, и убивали ее поцелуями, и погребали ее в могиле пресыщения. Ни он, ни она не были холодными призраками: это были человеческие существа с горячей кровью, без капли саксонской трезвости: их кровь была окрашена румянцем заката, которым они пламенели. В их темпераменте

была французская радость плоти. Они были идеалистами, но идеализм их был галльский. Он не разбавлялся прохладной и темной жидкостью, которая служит кровью англичанам. В них не было ни тени стоицизма. Они были американцами, потомками англичан, и все же не знали обуздывающего английского самоанализа.

Они были такими, как я сказал, — созданными для радости. Но… у них появилась некая идея (черт побери все идеи!). Они вели игру по всем правилам логики, и логика их была такова…

Но прежде позвольте мне рассказать вам о разговоре, который произошел у нас однажды вечером. Речь шла о «Мадмуазель де Мопэн» Теофиля Готье. Помните ли вы эту героиню? Она поцеловала мужчину один раз — только один раз в жизни — и больше не хотела поцелуев. Не то чтобы поцелуи показались ей не сладкими, но она боялась, что, часто целуясь, она пресытится ими. Опять пресыщение! Она вздумала играть с богами, не ставя ничего на карту. А это противоречит правилам игры, установленным самими богами. Только… правила эти не вывешены над столом. Смертные должны усваивать их во время самой игры.

Итак, вернемся к логике. Марвин Фиск и Этель

Бейрд рассуждали так: а зачем вообще нужен этот один поцелуй? Если поцеловаться только один раз — мудрость, то не мудрее ли будет вовсе не целоваться? Так они сумеют поддерживать вечную жизнь любви. Воздержание навсегда привьет ее к их сердцам.

Быть может, осуществляя это святотатственное решение, они действовали под влиянием наследственности. Порода всегда сказывается, и часто самым фантастическим образом. Вот и в их душах проклятая кровь Альбиона, может быть, взрастила расчетливого развратника и холоднорассудительную кокетку. Этого я не могу знать. Но одно я знаю: они отказались от наслаждения из-за чрезмерной любви к наслаждению.

Он говорил (я потом прочел это в одном из его писем к ней): «Сжимать тебя в объятиях крепко — и все же не крепко; тосковать по тебе и никогда тобой не обладать — и тем не менее обладать тобой вечно». А она: «Ты всегда должен быть для меня недосягаем. Всегда настигать тебя — и никогда не настигнуть; и так жить вечно, будучи свежим и новым, с румянцем юности на щеках». Они выражали это не так. Из моих уст их любовная философия выходит в искаженном виде. Да и кто я такой, чтобы копаться в их душах?

Я — лягушка на мокром краю великого мрака, выпученными глазами глядящая на тайну и с изумлением созерцающая их пламенные души.

И они были правы — до известной степени. Всякая вещь хороша… пока мы ею не обладаем. Пресыщение и обладание — это кони Смерти, запряженные парой.

А время учит только сохранять

В золе привычки тепленькую страсть.

Они прочитали это у Альфреда Остина, в сонете под названием «Мудрость любви». Это — все тот же единственный поцелуй Мадлены де Мопэн. Как это там сказано?

Целуй! Прощай! — Вот в чем благая часть.

Да, лучше смерть, чем с неба наземь пасть,

Чем мощь свою на слабость променять.

Но они были мудры: они не хотели целоваться — и расстаться. Они хотели вовсе обойтись без поцелуев и мечтали взобраться на высочайшую вершину любви. Они поженились. Вы в то время были в Англии. Такого брака еще никогда не бы-

ло. Они хранили свою тайну от всех. Я тогда еще ничего не знал. Огонь их порывов не остывал. Любовь их сияла все усиливавшимся светом. Это было нечто бесподобное. Проходило время — месяцы, годы, а огненнокрылый Кифаред становился все лучезарней. Все изумлялись. Они прослыли сказочными любовниками, и многие им завидовали. Иногда женщины жалели ее, потому что она была бездетной: в такой форме выражается зависть у этих созданий.

А я не знал их секрет. Я думал и изумлялся! Сначала я все ожидал (как кажется, подсознательно), что любовь их пройдет. Затем я убедился, что проходит время, а любовь остается. Тогда во мне проснулось любопытство. В чем был их секрет? Что это за магические цепи, которыми они привязали к себе любовь? Чем удерживают они капризную фею? Уж не выпили ли они эликсир вечной любви, как когда-то Тристан и Изольда? И чья рука смешала для них волшебное зелье?

Как сказано, я был любопытен, я наблюдал за ними. Они любили безумно. Жизнь их была нескончаемым пиршеством любви. Они окружали ее церемониалом. Они упивались искусством, поэзией любви. Нет, они не были невропатами. Они были нормальными и здоровыми людьми,

художниками по натуре. Но они совершили невозможное. Они создали бессмертное желание.

А я? Я часто созерцал их и непреходящее чудо их любви. Я недоумевал и удивлялся, и вот однажды…

Каркинес резко оборвал свой рассказ и спросил:

— Читали ли вы когда-нибудь «Время ожидания любви»?

Я покачал головой.

— Это написал Пейдж… кажется, так: Куртис Хидден Пейдж. Вот эти-то стишки и дали мне ключ к разгадке. Однажды на стуле у окна, возле большого рояля… Вы помните, как она умела играть? Она иногда смеялась и спрашивала, прихожу ли я ради них или ради музыки. Она называла меня «музыкальным психопатом», а однажды назвала «звуковым кутилой». Какой у нее был голос! Когда она пела, я начинал верить в бессмертие. Мое почтение к богам принимало оттенок покровительства, и я принимался измышлять пути и способы, какими я мог бы безошибочно перехитрить их со всеми их уловками.

Они представляли зрелище, достойное богов, —

эти двое супругов, годы прожившие в браке и все еще поющие любовные песни, девственно-свежие, как сама новорожденная Любовь, — эти супруги, полные такого зрелого, богатого и горячего чувства, о котором молодые влюбленные не имеют понятия. Молодые влюбленные были бледны и малокровны по сравнению с этой давно повенчанной парой. Стоило поглядеть на них, когда они — воплощенные пламя и нежность — в трепетном отдалении друг от друга непрестанно расточали ласки взглядом и голосом, в то время как любовь толкала их друг к другу, а они противились, как порхающие мотыльки; один для другого — зажженная свеча, один облетает другого, в безумном вихре кружась по орбите! Казалось, будто подчиняясь какому-то великому закону природы, более мощному и тонкому, чем тяготение, они должны были физически слиться и растаять друг в друге тут же, на моих глазах. Неудивительно, что их звали сказочными любовниками. Итак, я недоумевал. Теперь вернемся к разгадке. Однажды на стуле у окна я обнаружил книгу стихов. Она раскрылась сама на «Времени ожидания любви», очевидно, много раз читанном. Страницы были измяты — их слишком часто переворачивали. И вот я прочитал:

Какая сладость в отдаленьи быть,
Друг друга знать, и весь восторг
Касаний нежных сохранить в душе.
О, не сейчас… Храни, храни любовь
Завернутой в покров священных тайн,
Какие нам грядущее несет…
Но не сейчас… с годами… не сейчас…

О, дай любви немного возрасти!
Она, расцветши, может умереть…
Питай ее мечтой о поцелуе —
Пусть в отреченьи дремлет краткий миг…
О, только миг… о, только краткий миг…

Я заложил страницу пальцем и долго сидел молчаливо и неподвижно. Я был потрясен ясностью видения, которое вызвали во мне эти стихи. Это было просветление. Это был точно луч молнии в темной яме. Они хотели удержать любовь, летучий призрак, предтечу юной жизни, — юной жизни, требующей рождения!

Я мысленно пробежал строки стихов: «Но не сейчас… с годами… не сейчас»… «Питай ее мечтой

о поцелуе — пусть в отреченьи дремлет»... И я громко расхохотался. Ха-ха! Я увидал в светлом видении их непорочные души. Они были детьми. Они не понимали. Они играли с огнем Природы и клали между собою на ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами. Они хотели остановить подрывную работу Космоса. Они изобрели систему, и с нею подошли к игорному столу жизни в надежде на выигрыш.

«Берегитесь! — вскричал я. — Позади стола стоят боги. Они выдумывают новые правила всякий раз, когда изобретается новая Система. У вас нет шансов выиграть!»

Но на самом деле я им этого не крикнул. Я ждал. Я думал, они осознают негодность своей системы и бросят ее; они удовлетворятся долей счастья, отпущенной им богами, и не будут стремиться к большему. Я наблюдал. Я ничего не говорил. Месяцы все приходили и уходили, а лезвие их любовного голода все оттачивалось. Никогда не притупляли они его объятиями. Они правили и точили его на оселке самоотречения, и оно становилось все острее и острее. Это продолжалось до тех пор, пока даже я не усомнился. «Неужели боги спят? — изумлялся я. — Или они умерли?» Я высмеивал самого себя. Эти двое совершили чудо.

Они перехитрили богов. Они посрамили плоть и очернили лик доброй Матери-Земли. Они играли с ее огнем — и не обожглись. Они сами были богами; познали добро и зло, и не вкушали ни от того, ни от другого. «Не этим ли путем возникли боги?» — спрашивал я себя. «Я — лягушка», — говорил я себе. Если бы мои веки не были залеплены тиной, я был бы ослеплен сиянием чуда, которому стал свидетелем. Я бахвалился своим знанием людей — и осмелился судить о богах.

И все же, даже в этой последней своей мудрости — я ошибался. Они не были богами. Они были мужчиной и женщиной — горстками праха, вздыхающими и трепещущими, насквозь пронизанными желаниями и подверженными странным слабостям, которых не знают боги.

Каркинес прервал рассказ, чтобы свернуть новую папироску, и резко рассмеялся. Это был неприятный смех. Он напоминал хохот дьявола и прозвучал громче рева непогоды, который глухим гулом доносился извне до наших ушей.

— Я — лягушка, — повторил он, как бы извиняясь. — Как могли они это понимать? Они были художниками, а не биологами. Они знали глину своей мастерской, но не знали той глины, из которой сами сделаны. Но одно я должен сказать:

они вели крупную игру. Никогда еще такой игры не было и, думается, никогда не будет.

Никогда экстаз влюбленных не доходил до такой степени. Они не убили любовь поцелуями. Они оживили ее отречением. Отречением они довели ее до того, что она готова была разорваться от желания. А огненнокрылый Кифаред обвевал их своими теплыми крыльями, доводя их до экстаза. Это был настоящий экстаз любви, и тянулся он днями и неделями, не уменьшаясь, а только разгораясь. Они тосковали и томились в муках, в сладостной, упоительной агонии, какой не переживали влюбленные ни до, ни после них.

И вот однажды сонные боги перестали кивать головами. Они посмотрели на мужчину и женщину, которые подняли их на смех. И как-то утром мужчина и женщина поглядели друг другу в очи и поняли, что что-то ушло. Ушел тот — с огненными крылами, он выпорхнул ночью неслышно из их отшельнической кельи.

Они поглядели друг другу в очи — и поняли, что им все равно. Желание умерло. Понимаете? Умерло желание. А они ни разу не поцеловались. Ни разу. Любовь ушла. Они больше не будут ни пламенеть, ни томиться. Им не осталось ничего: не будет ни дрожи, ни порхания, ни сладостных

мук; не будет ни трепета, ни звуков, ни песен. Желание умерло. Оно умерло за одну ночь, на ложе холодном и неуютном; а они и не заметили его ухода. Они сразу прочитали это друг у друга в глазах.

Боги, может быть, и не добры, но нередко сострадательны. Они бросили маленький костяной шарик и сгребли ставки со стола. Остались только мужчина и женщина, глядящие друг другу в холодные глаза. Тогда он умер; в этом проявилось сострадание богов. Через неделю Марвин Фиск был мертв. Вы, вероятно, помните… несчастный случай. А в ее дневнике, в записях, сделанных в те дни, я прочитал, спустя много времени, стихи Митчелла Кеннерли:

Ни часу не прошло, чтоб мы

Могли лобзать — и не лобзали…

— О, какая ирония! — воскликнул я.

А Каркинес, освещенный пламенем камина, настоящий Мефистофель в бархатной куртке, пронизывал меня своими черными глазами.

— И вы говорите: «они выиграли»!.. Мнение общества! Я рассказал вам то, что я знаю. Они выиграли так же, как выигрываете вы, сидя здесь среди своих холмов.

— А вы, — спросил я с горячностью, — вы, с вашим буйством чувств, живущие в безумных городах и в еще более безумных страстях, считаете вы, что выигрываете?

Он медленно покачал головой:

— То, что вы со своим размеренным, буколическим образом жизни обречены на проигрыш, еще не значит, что я должен выиграть. Мы никогда не выигрываем. Иногда нам кажется, что выигрываем, но это лишь шутка богов.

Отступник

— Если не встанешь сейчас, Джонни, завтрак не получишь!

Угроза не произвела на мальчика никакого впечатления. Он упорно не желал просыпаться, отстаивая свое забытье, как мечтатель отстаивает свою мечту. Руки мальчика сжались в кулаки и принялись наносить бессильные и порывистые удары в воздух. Удары эти предназначались матери, но она уклонялась от них — обнаружив при этом ловкость, выработанную долгой практикой, — и грубо потрясла его за плечо.

— Отвяжись!

Этот возглас прозвучал сначала глухо из глубин сна, затем быстро усилился до страстного воинственного вопля, и наконец замер в нечленораздельном хныканье. То был животный крик истязуемой души, полный безмерного протеста и муки.

Но она не обратила на это внимания. Это была женщина с грустными глазами и измученным лицом; она успела привыкнуть к этой ежедневной обязанности. Она схватилась за одеяло и попыталась стащить его. Но мальчик перестал

драться и отчаянно вцепился в одеяло. Теперь он лежал поперек кровати, но все еще оставался под ним. Тогда она стала стаскивать на пол матрац. Мальчик сопротивлялся. Она напрягла все силы. Перевес был на ее стороне, и матрас стал поддаваться, причем мальчик инстинктивно следовал за постелью, чтобы укрыться от холода, щипавшего его тело.

Он повис на краю кровати, и казалось, что он вот-вот упадет на пол. Но в нем вспыхнуло сознание. Он выпрямился и одно мгновение балансировал в опасном положении. Наконец он коснулся пола ногами. В тот же миг мать схватила его за плечи и потрясла. Кулак его снова разрезал воздух, на сей раз с большей силой и уверенностью. Одновременно он открыл глаза. Она выпустила его. Он проснулся.

— Ладно, — пробормотал он.

Она схватила лампу и поспешно вышла из комнаты, оставляя его в темноте.

— Оштрафуют тебя, — пригрозила она ему, уходя.

Темнота ему не мешала. Он натянул одежду и вышел на кухню. Походка его была слишком тяжелой для такого худенького и легкого мальчика. Ноги его тяжело волочились и были неестествен-

но сухощавыми. Он придвинул к столу стул с продавленным сиденьем.

— Джонни! — резко позвала его мать. Он так же резко встал со стула и без единого слова подошел к раковине — грязной и засоренной. Из сточного отверстия поднималось зловоние. Он не замечал этого. Раковина дурно пахла, а мыло было испачкано помоями и едва мылилось, но это казалось ему нормальным. Впрочем, он и не очень старался взбить пену на грязном куске. Плеснул на себя раз-другой из открытого крана — и дело кончено. Зубы он не чистил — он никогда и не видал зубной щетки, даже не знал о существовании тех, кто виновен в таком сумасбродстве, как чистка зубов.

— Ты бы хоть разок умылся без напоминания, — жаловалась мать.

Придерживая отломанную крышку на кофейнике, мать налила кофе в две чашки. Он ничего не возразил, ибо это было предметом постоянного спора между ними, и в этом вопросе мать была тверда, как алмаз: хоть раз в день он должен был умыть лицо. Он вытерся засаленным полотенцем — мокрым, грязным и рваным, отчего лицо его покрылось мелкими волокнами ткани.

— Хотелось бы мне, чтобы мы жили поближе, —

сказала она, садясь. — Уж я стараюсь, как могу. Сам знаешь. Но долларом меньше за квартиру… все-таки — экономия. Да здесь нам и просторнее… Сам знаешь.

Он почти не слушал ее. Все это он уже слыхал не один раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она все время возвращалась к трудностям, которые они испытывали, живя далеко от фабрики.

— Лишний доллар — лишние харчи, — заметил он рассудительно. — Лучше уж я прогуляюсь, да зато побольше съем.

Он ел торопливо, почти не жуя хлеб, так что кофе смывало ему в желудок большие куски. Они называли «кофеем» горячую и мутную жижицу. Но Джонни думал, что это был кофе — отличный кофе. Это была одна из немногих оставшихся у него жизненных иллюзий. Он никогда в жизни не пробовал настоящего кофе.

В придачу к хлебу ему полагался кусок холодной свинины. Мать снова наполнила его чашку. Доедая хлеб, он стал искать глазами, не дадут ли еще чего. Мать поймала его вопросительный взгляд.

— Не будь обжорой, Джонни, — заметила она. — Ты получил свою долю. У тебя есть еще младшие братья и сестры.

Он ничего не ответил на этот выговор. Он вообще был не особенно словоохотлив. И голодные взгляды, просящие добавки, он тоже перестал бросать. Он не умел жаловаться, полный терпения — столь же страшного, как и та школа, в которой он ему выучился. Он допил свой кофе, широким жестом обтер рот рукой и приготовился вставать.

— Погоди секундочку, — поспешно сказала она. — Мне кажется, от буханки можно отрезать еще кусочек… тоненький.

Тут она проделала старый фокус: отрезав кусок от буханки, она сунула и этот кусок, и буханку обратно в ящик, а ему отдала один из своих двух кусочков. Она думала, что обманула его, но он заметил ее хитрость. Тем не менее он не стыдясь взял хлеб. У него была на этот счет своя философия: он думал, что мать из-за того, что постоянно чувствует недомогание, все равно не отличается большим аппетитом. Увидев, как он жует сухой хлеб, она перегнулась через стол и перелила свой кофе в его чашку.

— Что-то он мне нынче на желудок нехорошо ложится, — пояснила она.

Отдаленный гудок, перешедший в долгий пронзительный визг, заставил обоих вскочить

на ноги. Она бросила взгляд на жестяной будильник, висевший на стене. Стрелки показывали половину шестого. Большинство рабочих только еще просыпались. Она накинула на плечи шаль, а на голову надела потертую шляпу, ветхую и бесформенную.

— Придется бежать бегом, — сказала она, гася лампу.

Они выбрались наружу и спустились по лестнице. Было ясно и холодно, и Джонни вздрогнул на свежем воздухе. Звезды на небе еще не начали меркнуть, и город лежал во мраке. И Джонни, и мать волочили ноги. Их мышцы были не в состоянии резко оторвать ступни от земли.

Минут через пятнадцать мать свернула направо.

— Не опоздай, — прозвучало ее последнее напутствие из поглотившей ее темноты.

Он не ответил и безостановочно продолжал свой путь. В фабричном квартале повсюду открывались двери, и скоро он слился с людским потоком, пролагавшим себе путь во мраке. Когда он входил в ворота фабрики, вновь прозвучал гудок. Он бросил взгляд на восток. На небо из-за рваной линии крыш начал выползать бледный свет. Только этот дневной свет он видел за весь

день. Он повернулся к нему спиной и присоединился к своей артели.

Он занял свое место у станка — одного из многих в рядах машин. Перед ним над ящиком, наполненным маленькими шпульками, быстро вращались большие веретена. На эти последние он наматывал джутовую нитку с маленьких шпулек. Работа была несложная. Не требовалось ничего, кроме скорости. Маленькие шпульки разматывались так быстро и столько было веретен, что не оставалось ни одного свободного мгновения.

Он работал механически. Когда шпулька разматывалась, он левой рукой придерживал веретено и тотчас же большим и указательным пальцами ловил конец убегавшей нитки, а правой рукой хватал свободный конец другой маленькой шпульки. Все эти действия совершались быстро и одновременно обеими руками. Затем он молниеносным движением завязывал ткацкий узел и отпускал веретено. Ничего сложного в ткацких узлах не было. Он однажды хвастался, что может вязать их во сне. И действительно, иногда он это и проделывал, сплетая бесконечные вереницы ткацких узлов.

Некоторые из мальчиков отлынивали от дела

— не заменяли шпульки, когда они разматывались, из-за чего машины простаивали. Чтобы воспрепятствовать этому, за ними приглядывал надсмотрщик. Он поймал соседа Джонни на такой проделке и надрал ему уши.

— Погляди-ка на Джонни! Почему ты не такой, как он? — сердито спрашивал надсмотрщик.

Веретена у Джонни крутились полным ходом, но он даже не вздрогнул от этой похвалы. Было время, когда… но то было давно, очень давно. Теперь его апатичное лицо ничего не выражало, когда его ставили в пример другим. Он был идеальным работником. Он это знал. Ему говорили это не один раз. Это стало общеизвестно. Из идеального рабочего он превратился в идеальную машину. Если дело у него не спорилось, то виноват был (как и при работе машины) негодный материал. Ошибиться он не мог — как не может усовершенствованный станок нарезать негодные гвозди.

И неудивительно, ведь сколько он себя помнил, он всегда находился возле машин. Машинная работа как бы вросла в него; во всяком случае, он среди них вырос. Двенадцать лет тому назад в ткацком отделении этой же самой фабрики произошел небольшой переполох: мать Джонни

упала в обморок. Ее уложили на пол посреди скрипящих станков; двух пожилых женщин отозвали от работы, десятник помогал им… И через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше, чем вошло в дверь. То был Джонни, родившийся под дробный стук ткацких станков и с первым вдохом вобравший в себя теплый влажный воздух, густой от летающих льняных хлопьев. Он прокашлял весь первый день жизни, очищая легкие ото льна, и по той же причине он и после не переставал кашлять.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и сопел. Лицо его было искажено злобой на надсмотрщика, грозно следившего за ним издали, но пустых шпулек уже не было. Мальчик изрыгал страшные проклятия в адрес вертевшихся перед ним шпулек; но уже в нескольких шагах от него не было слышно ни звука: шум, стоявший в помещении, не пропускал и задерживал звуки, как стена.

Ничего этого Джонни не замечал. У него был свой особый способ восприятия явлений. Кроме того, явления становились однообразными от частого повторения; в частности, описанное происшествие он наблюдал уже не раз. Ему казалось столь же бесполезным противодействовать

надсмотрщику, как противиться воле машины. Машины построены для того, чтобы вращаться в определенном направлении и совершать определенную работу. Точно так же обстоит дело и с надсмотрщиком.

Но в одиннадцать часов отделение заволновалось. Какими-то таинственными путями возбуждение сразу распространилось повсюду. Одноногий мальчик, работавший по другую сторону от Джонни, быстро проковылял на другой конец помещения, к вагонетке, стоявшей в то время порожней. Он нырнул туда и исчез из виду вместе с костылем. Появился управляющий фабрикой в сопровождении молодого человека. Этот последний был хорошо одет и носил туго накрахмаленную рубашку — словом, «джентльмен», по классификации Джонни, и, кроме того, «инспектор».

Проходя, он строго посмотрел на мальчиков. Порой он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во все горло, чтобы быть услышанным, и в такие моменты его лицо смешно искажалось от напряжения. Его острый взгляд заметил пустой станок рядом с Джонни, но он ничего не сказал. Джонни тоже привлек к себе его внимание, и он сразу остановился. Он

взял Джонни за руку и отвел его на шаг от станка, но с возгласом изумления выпустил его руку.

— Довольно-таки худосочен, — тревожно усмехнулся управляющий.

— Не ноги, а трубочки, — был ответ, — взгляните на эти ноги. У мальчика — рахит… в начальной стадии, но несомненный рахит. Если в конце концов его не хватит эпилепсия, то только потому, что прежде съест туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. Да его и не интересовали будущие болезни. В настоящий момент ему грозило скорое и гораздо более серьезное зло в лице инспектора.

— Ну, мой мальчик, ты должен сказать мне правду, — проговорил, вернее, прокричал инспектор, наклонившись к самому уху мальчика, чтобы тот мог его слышать. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — солгал Джонни, солгал изо всех сил своих легких. Он солгал так громко, что это вызвало у него сухой, частый кашель, который отрыгивал хлопья льна, облепившие его легкие за нынешнее утро.

— Выглядит по меньшей мере шестнадцатилетним, — сказал управляющий.

— Или шестидесятилетним, — крикнул инспектор.

— Он всегда так выглядел.

— Давно ли? — быстро спросил инспектор.

— Много лет. Нисколько не стареет.

— Я бы сказал: не молодеет. Несомненно, он все эти годы работал здесь?

— Бессменно… но это было до того, как прошел новый закон, — поспешил прибавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на машину рядом с Джонни, на которой пустые веретена крутились как бешеные.

— Кажется, так. — Управляющий поманил к себе мастера, крикнул ему что-то в ухо и указал на станок. — Станок пустует, — передал он инспектору.

Они прошли мимо, а Джонни вернулся к своей работе, чувствуя облегчение от того, что опасность миновала. Но одноногий мальчик был не так удачлив. Зоркий инспектор вытащил его за руку из вагонетки. Губы мальчика дрожали, и он выглядел так, точно на него обрушилось страшное и непоправимое бедствие. Мастер казался изумленным, словно он первый раз увидел мальчишку в глаза, в то время как лицо управляющего выражало возмущение и недовольство.

— Я его знаю, — сказал инспектор. — Ему двена-

дцать лет. За этот год я снял его с работы на трех фабриках. Это — четвертая. — Он повернулся к одноногому мальчику. — Ты дал мне честное слово, что будешь ходить в школу.

Одноногий мальчик ударился в слезы:

— Пожалуйста… мистер инспектор… двое малышей у нас умерло… в доме такая нужда…

— А отчего ты так кашляешь? — спросил инспектор, как будто обвинял его в преступлении.

И, как бы оправдываясь, одноногий мальчик ответил:

— Это ничего. Я только простудился на прошлой неделе, мистер инспектор, больше ничего.

В конце концов одноногий мальчик вышел из отделения вместе с инспектором, которого сопровождал встревоженный и оправдывающийся управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Долгое утро и еще более долгий день промелькнули, и гудок возвестил о прекращении работы. Уже совсем стемнело, когда Джонни вышел за фабричные ворота. За это время солнце успело подняться в небо по золотой лестнице, залить землю ласковым теплом, а затем кануть вниз и скрыться на западе за рваной линией крыш.

Ужин являлся единственной семейной тра-

пезой за весь день — единственной, за которой Джонни встречался со своими младшими братьями и сестрами. Для него это носило характер столкновения — ибо он был стар, а они — очень молоды. Он не мог терпеливо выносить их чрезмерную, изумительную юность. Он не понимал ее. Его собственное детство осталось слишком далеко позади. Он напоминал раздражительного старика, раздосадованного кипучей энергией их юных душ, которая казалась ему отъявленной глупостью. Он, молчаливо насупившись, склонялся над едой, находя мысленно удовлетворение в том, что и они вскоре должны будут пойти на работу. Это посбавит им прыти и сделает их степенными и полными достоинства… такими, как он сам. Таким образом Джонни, как и все люди, мерил на свой аршин всю вселенную.

Во время еды мать объясняла на разные лады и с бесконечными повторениями, как она старается сделать все, что может. Поэтому, когда скудная трапеза подходила к концу, Джонни с облегчением отодвигал стул и вставал. Он колебался на мгновение между постелью и наружной дверью и, наконец, выходил через последнюю. Далеко он не отходил. Он садился на крыльцо с поднятыми коленями, согнув узкие плечи, и, опершись лок-

тями на колени, подпирал ладонями лицо. Сидя там, он ни о чем не думал. Он именно отдыхал. Поскольку дело касалось его души, он спал. Его братья и сестры выскакивали и шумно возились вокруг него с другими детьми. Электрический фонарь на углу освещал их проказы. Джонни был ворчлив и раздражителен, это они знали. Но дух приключений побуждал их дразнить его. Они становились перед ним, взявшись за руки, и, раскачиваясь в такт всем телом, орали ему в лицо несуразные и нелестные песенки. Сначала он огрызался на них с проклятиями, которым научился у мастеров. Но, убедившись в бесполезности этого и вспомнив о своем достоинстве, он снова погружался в угрюмое молчание.

Брат его Вилли, следующий за ним по возрасту, которому только что минуло десять лет, был заводилой. Джонни не испытывал по отношению к нему особенных чувств: его жизнь уже много лет была отравлена постоянными уступками и поблажками Вилли. Ему казалось, что Вилли ему многим обязан и неблагодарен. В дни, когда он сам еще играл, — эти дни далеко ушли в туманное прошлое, — он лишался значительной части драгоценного свободного времени, будучи вынужден следить за Вилли. Вилли был тогда

совсем крошечным, а мать, как и теперь, проводила дни на фабрике. На долю Джонни выпадала роль родителя.

Вилли служил как бы иллюстрацией пользы уступок и поблажек. Он был хорошо сложен, в достаточной мере груб, одного роста со старшим братом и весил даже больше, чем тот. Казалось, что жизненная сила одного перешла к другому. То же было и в духовном отношении. Джонни был измученным, апатичным, вялым, в то время как младший брат, казалось, должен был вот-вот лопнуть от избытка сил.

Насмешливое пение раздавалось все громче и громче. Вилли, танцуя, наклонился к нему совсем близко и высунул язык. Левая рука Джонни мелькнула в воздухе и обвилась вокруг шеи Вилли. В то же мгновение он костлявым кулаком хватил Вилли по носу. Это был жалкий кулак; но бил он больно, о чем свидетельствовал отчаянный визг Вилли. Остальные дети испуганно закричали, а Дженни, сестра Джонни, бросилась в дом. Он оттолкнул Вилли, свирепо шлепнул его по заду, затем снова поймал его и повалил ничком в грязь. Он не выпустил его, пока несколько раз не окунул в грязь лицом. В это время подоспела мать — анемичный вихрь заботливости и

материнского гнева.

— Почему он не оставляет меня в покое? — отвечал Джонни на ее упреки. — Разве он не видит, что я устал?

— Я такой же большой, как и ты, — бешено визжал Вилли в объятиях матери, в то время как его лицо представляло сплошную массу из слез, грязи и крови. — Я такой же большой, как и ты, а буду еще больше. И уж тогда я тебя вздую… вот увидишь!

— Тебе, дылде, на работу пора, — огрызнулся Джонни. — Вот что тебе нужно. Пора на работу. И мама должна была бы приставить тебя к делу.

— Но он слишком мал, — протестовала она. — Он еще маленький мальчик.

— Я был моложе его, когда стал работать.

Он хотел было продолжить, но внезапно повернулся на каблуках и гордо вошел в дом, а затем в спальню. Дверь его комнаты оставалась открытой, чтобы впустить тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он мог слышать разговор матери с вошедшей соседкой. Мать плакала, и речь ее прерывалась всхлипываниями.

— Не могу понять, что творится с Джонни, — доносились до него ее слова. — Он раньше не был таким. Он был терпелив, как ангелочек… Но он

хороший мальчик, — спешила она тут же защитить его. — Он всегда трудился добросовестно и слишком рано стал работать. Но это не моя вина. Я-то, уж конечно, делаю, что могу.

Из кухни слышатся долгие всхлипывания, и Джонни бормочет про себя, в то время как его веки смыкаются: «Да, черт возьми, я работал добросовестно...»

На следующее утро мать вырвала его из объятий сна. Затем последовал скудный завтрак, путешествие пешком сквозь мрак и бледная вспышка дневного света из-за крыш, к которой он повернулся спиной, входя в ворота фабрики. Еще один день, похожий на другие, и все дни были одинаковы. Однако в его жизни было некоторое разнообразие, когда он менял работу или заболевал. В шесть лет он был родителем Вилли и других младших детей. Семи лет от роду он поступил на фабрику мотальщиком. Когда ему минуло восемь, он получил работу на другой фабрике. Его новая работа отличалась поразительной легкостью. Все его дело заключалось в том, чтобы сидеть с маленькой палочкой в руке и направлять протекавший мимо него поток ткани. Этот поток вырывался из пасти машины, проходил по горячему валику и плыл своей доро-

гой куда-то дальше. Но Джонни сидел все время на одном месте, недосягаемый для дневного света, освещаемый сверху газовым рожком, сам — часть механизма.

Он был очень доволен этой работой, несмотря на влажность и жару, ибо он был еще молод и полон мечтаний и иллюзий. И дивные сны снились ему, пока он следил за тканью, пробегавшей перед ним бесконечным потоком. Но эта работа не нуждалась в умениях, не предъявляла никаких требований к его умственным способностям, и он начал мечтать все меньше и меньше, и ум его становился неподвижным и сонным. Тем не менее он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара — это уже не голодная смерть, а хроническое недоедание.

Но когда ему стукнуло девять лет, он потерял это место. Причиной была корь. Выздоровев, он получил работу на стекольном заводе. Заработок был выше, и здесь требовались умения. Оплата была сдельная, и от его ловкости зависело, сколько он получит. Тут был стимул. И под давлением этого стимула он стал замечательным работником.

Это было несложное дело — привязывать стеклянные пробки к горлышкам маленьких

пузырьков. К поясу у него был прикреплен моток ниток. Бутылочку он зажимал между коленями, чтобы работать обеими руками. В этом сидячем положении, когда он склонялся над собственными коленями, узкие плечи его сутулились, и все десять часов ежедневно он не мог разогнуться. Это было вредно для легких, но зато он привязывал триста дюжин пробок в день.

Управляющий очень им гордился и приглашал посетителей взглянуть на него. В течение десяти часов через его руки проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины, максимальной производительности труда. Каждый поворот его худых рук, каждое движение его тонких пальцев было быстрым и точным. Он работал с большим напряжением и в результате весь извелся. Ночью, во время сна, его мышцы сводила судорога, а днем он не мог остановиться и отдохнуть: он был как заведенный, и мускулы его не переставали напрягаться. Он пожелтел, и его кашель ухудшился. Вскоре он заболел воспалением легких и лишился работы на стекольном заводе.

Затем он вернулся на ткацкую фабрику, где впервые начал работать мотальщиком. Но теперь его ожидало повышение. Он был хорошим

работником. Скоро он должен был перейти в крахмальное отделение, а затем — в ткацкую. После этого ему уже не оставалось ничего, кроме повышения продуктивности.

Станок работал быстрее, чем тогда, когда он впервые поступил на фабрику; а мозги его работали медленнее. Он уже совсем не мечтал, тогда как ранние его годы были полны мечтаний. Однажды он влюбился. Это было в те дни, когда он только приступил к работе с тканью, пробегавшей по горячему валу; а она была дочерью управляющего, уже взрослой девушкой, гораздо старше его, и он видел ее — издали — не больше полудюжины раз. Но это было неважно. На поверхности ткани, струившейся мимо него, он рисовал блестящие картины будущего, в которых он совершал чудеса производительности, изобретал волшебные машины, становился хозяином фабрики и наконец заключал девушку в объятия и скромно целовал в лоб.

Но все это было давным-давно — до того, как он стал слишком усталым и старым для любви. Она вышла замуж и увяла, а его разум уснул. И все-таки это было чудесным переживанием, и он часто оглядывался назад — подобно тому как другие мужчины и женщины оглядываются на

те дни, когда они верили в волшебные сказки. Он никогда не верил ни в фей, ни в Санта-Клауса, но слепо верил в светлое будущее, которое рисовало ему воображение на поверхности пробегающей ткани.

Он очень рано стал мужчиной. Его отрочество началось в семь лет, когда он получил первое жалованье. Некое чувство независимости поднялось в нем, и отношения между ним и матерью изменились. Теперь он был ей ровней — как человек, зарабатывающий свой хлеб и делающий в этом мире собственное дело. Мужчиной — вполне взрослым мужчиной — он стал в одиннадцать лет, когда на шесть месяцев нанялся работать в ночную смену. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не остается ребенком.

В жизни его было несколько знаменательных событий. Первое произошло, когда мать однажды купила калифорнийские сливы. Остальные два — это те два раза, когда она испекла омлет. Это были события! Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала об изумительном кушанье: когда-нибудь она приготовит «плавучий остров»; она говорила, что это вкуснее омлета. Годами ждал он того мгновения, когда сядет за стол, а перед ним будет стоять «плавучий остров», — пока

не перевел и эту мечту в разряд недостижимых.

Однажды он нашел на тротуаре серебряную монету в двадцать пять центов. Это тоже было большим событием в его жизни, хотя и трагическим. Он понял свой долг, как только серебро блеснуло перед его глазами — раньше даже, чем он его поднял. Дома, как обычно, не хватало еды, и домой ему следовало отнести находку, как делал он каждую субботу со своей получкой. Было совершенно ясно, как следует поступить в данном случае; но он еще никогда не тратил своих денег на себя и, кроме того, очень хотел сладостей. Он бредил конфетами, которыми ему случалось лакомиться только в дни, отмеченные в календарях красными цифрами.

Он даже не пытался обманывать себя. Он знал, что это был грех, и сознательно согрешил, позволив себе растранжирить пятнадцать центов на конфеты. Десять центов он сберег на другую такую же оргию; но не имея привычки носить с собой деньги, потерял эти десять центов. Это случилось в те дни, когда он мучился всеми муками нечистой совести, и потеря показалась ему возмездием свыше.

В памяти он всегда воскрешал это событие как единственное великое преступление в своей

жизни и при воспоминании о нем всякий раз испытывал угрызения совести. Совершенный поступок вызывал в нем раскаяние. Он был недоволен тем, как он потратил двадцать пять центов: он мог бы использовать их лучше, и знай он заранее, как Бог быстро действует, он провел бы Бога, спустив весь четвертак за один присест. Мысленно он тратил монету тысячи раз, и всякий раз с большей выгодой.

Было еще одно воспоминание из прошлого, туманное и поблекшее, но навсегда вбитое в его душу тяжелыми ступнями его отца. Это было не столько воспоминание о чем-то конкретном, сколько кошмар — что-то вроде атавистической памяти, когда людям снится, как они падают, как их далекие предки, лазавшие по деревьям.

Это странное воспоминание никогда не посещало Джонни наяву, при ясном дневном свете. Приходило оно ночью, в постели — в момент, когда его сознание ослабевало и освобождалось во сне. Воспоминание всегда заставляло его испуганно просыпаться, и при первом болезненном содрогании ему казалось, что он лежит поперек кровати. И на ней же — искаженные силуэты отца и матери. Он не помнил, как выглядел его отец. Об отце у него было только одно представле-

ние, а именно что у него тяжелые, безжалостные ступни.

У него были воспоминания о далеком прошлом, но недавних воспоминаний у него не было. Все дни были одинаковы. «Вчера» или «в прошлом году» — это было то же самое, что и «тысячу лет назад» или «за минуту перед тем». Никогда ничего не случалось. Не было никаких событий, отмечавших ход времени. И время не шло. Оно всегда стояло на месте. Двигались одни крутящиеся машины, да в сущности, и они стояли на месте.

Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он перешел на работу в крахмальное отделение. Это было колоссальным событием. Наконец-то случилось нечто, что можно было помнить дольше, чем ночной сон или недельную получку. Это знаменовало начало новой эры. Это была машинная олимпиада, с которой можно было начинать летосчисление. «В те времена, когда я перешел в крахмальную» или «после того, как я перешел в крахмальную», — эти выражения часто слетали с его уст.

Он отпраздновал шестнадцатый день рождения тем, что перешел в ткацкую и стал за станок. Работа была сдельная, и он отличался, ибо фаб-

рика превратила его в идеальную машину. Через три месяца он работал на двух станках, а позже — на трех и четырех.

К концу второго года работы в ткацкой он вырабатывал больше любого ткача и, пожалуй, вдвое больше среднего рабочего. Дома наступили лучшие дни. Нельзя сказать, чтобы усиленный заработок превышал потребности. Дети росли. Они больше ели. Они ходили в школу, а учебники стоят денег. И как-то выходило так, что чем быстрее он работал — тем быстрее росли цены. Даже квартирная плата повысилась, хотя дом давно не ремонтировали и он грозил развалиться. Сам он вырос и стал казаться еще худощавее. К тому же он стал более взвинченным. Росли его брюзгливость и раздражительность. Дети, после нескольких горьких уроков, научились его сторониться. Мать уважала его за трудолюбие, но ее уважение носило словно бы отпечаток страха.

Для него не существовало радостей. Он никогда не замечал течения дней. На ночь он словно впадал в забытье. Остальное время он работал, и его сознание было механическим. У него не было ни одного идеала и только одна иллюзия, а именно что он пил великолепный кофе. Он был рабочей скотиной. Он не знал никакой духовной жизни.

Только где-то глубоко, в недрах его сознания, без его ведома, взвешивались и распределялись часы работы, движения рук, судороги мускулов — и готовилось нечто такое, что должно было изумить его самого и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, он вернулся вечером с работы и почувствовал необычайную усталость. Воздух был заряжен напряженным ожиданием, когда он садился за стол, но он этого не замечал. В течение всей трапезы он хранил угрюмое молчание, машинально поедая то, что ему дали. Дети чавкали и покрякивали от удовольствия. Но он был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — спросила наконец мать с отчаянием в голосе.

Он безучастно взглянул на блюдо, стоявшее перед ним, и затем столь же безучастно — на нее.

— «Плавучий остров»! — воскликнула она с торжеством.

— О! — сказал он.

— «Плавучий остров»! — подхватили дети громким хором.

— О! — сказал он и после двух-трех глотков прибавил: — Мне кажется, я сегодня не голоден.

Он уронил ложку, отодвинул стул и тяжело поднялся.

— Я, пожалуй, спать пойду.

Ноги его волочились тяжелее обыкновенного, когда он проходил через кухню. Раздевание казалось ему титаническим трудом, чудовищно-огромным пустяком, и он заплакал от слабости, когда лег на кровать — все еще в одном башмаке. Он чувствовал, как в голове у него поднимается и набухает нечто, делающее его мозг густым и вязким. Его тонкие пальцы опухли, как и вся кисть, а их кончики онемели. Поясница нестерпимо болела. Болели все кости. Болело везде. А в голове его затрещали, застучали, загрохотали миллионы ткацких станков. Все пространство казалось заполненным мелькающими челноками. Они сновали взад и вперед, среди звезд. Сам он управлял тысячей станков, и они вертелись все быстрее и быстрее; а мозги его так же быстро разматывались и превращались в пряжу, питавшую тысячи снующих челноков.

На другое утро он не пошел на фабрику. Он был слишком занят, совершая колоссальную работу на тысяче станков, кружившихся у него в голове. Мать отправилась на работу, но сначала послала за доктором. Тот сказал, что это острый приступ гриппа. Дженни несла обязанности сестры милосердия и выполняла инструкции доктора. Это

был весьма тяжелый приступ, и прошла неделя, пока Джонни смог одеться и с трудом ходить по комнате. Еще через неделю доктор сказал, что он сумеет вернуться на работу. Мастер из ткацкой посетил его в воскресенье после обеда, в первый день его выздоровления.

— Лучший ткач на фабрике, — сказал матери мастер. — Место останется за ним. С понедельника он может выйти на работу.

— Что же ты не благодаришь его, Джонни? — спросила мать с беспокойством. — Он был сильно болен и все еще не в себе, — извиняясь, объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись и не отрывал взгляда от пола. В этом положении он оставался еще долго после ухода мастера. На дворе было жарко, и после обеда он присел на крыльцо. Порой губы его шевелились. Он, казалось, был погружен в бесконечные вычисления.

На следующий день, когда наступила жара, он опять занял свое место на крыльце. На этот раз у него были карандаш и бумага для вычислений, и он мучительно продолжал что-то высчитывать.

— Что идет после миллионов? — спросил он в полдень вернувшегося из школы Вилли. — И как это пишется?

В тот день закончилась его работа. Ежедневно, только уже без карандаша и бумаги, он возвращался на крыльцо. Он был глубоко погружен в созерцание единственного дерева, росшего по ту сторону улицы. Он изучал его много часов подряд и необычайно интересовался тем, как ветер колебал его ветви и заставлял трепетать листья. В течение всей недели он, казалось, углублялся в великое общение с самим собой. В воскресенье, сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к немалому смущению матери, которая уже много лет не видела его смеющимся.

На следующее утро, до рассвета, она подошла к постели и разбудила его. Он за неделю выспался и открыл глаза без труда, не оказывая сопротивления и не делая попыток уцепиться за одеяло. Он лежал спокойно и говорил спокойно:

— Это бесполезно, мама.

— Ты опоздаешь, — сказала она, думая, что он все еще не проснулся и плохо соображает.

— Я не сплю, мама, и говорю тебе, что это бесполезно. Лучше не трогай меня. Я не собираюсь вставать.

— Но ты лишишься работы! — воскликнула она.

— Я не собираюсь вставать, — ответил он чу-

жим, бесстрастным голосом.

В тот день она сама не пошла на работу. Эта болезнь была хуже всех болезней, какие она до сих пор видела. Лихорадку и бред она могла понять: но это было безумие. Она накинула на него одеяло и послала Дженни за доктором.

Когда тот пришел, Джонни мирно спал, мирно проснулся и позволил пощупать свой пульс.

— С ним все в порядке, — заявил доктор. — Очень изнурен, вот и все. Слишком худ.

— Он всегда был такой, — вставила мать.

— Теперь уйди, мама, и дай мне всхрапнуть.

Джонни говорил мягко и спокойно, и так же мягко и спокойно он повернулся на бок и заснул.

В одиннадцать он проснулся, оделся и прошел на кухню, где застал испуганную мать.

— Я ухожу, мама, — объявил он, — и пришел проститься.

Она закрыла лицо фартуком, опустилась на стул и заплакала. Он спокойно ждал.

— Я так и знала! — рыдала она. — Куда? — спросила она наконец, опустив фартук и глядя на него испуганным взглядом, в котором сквозило некоторое любопытство.

— Не знаю. Куда-нибудь.

Пока он говорил это, дерево на той стороне ули-

цы с ослепительной ясностью предстало перед его внутренним взором. Оно, казалось, притаилось как раз под его веками, и он мог видеть его, когда хотел.

— А твоя работа? — пролепетала она.

— Я никогда больше не буду работать.

— Господи! Джонни! — проскулила мать. — Не говори так.

То, что он сказал, было для нее кощунством. Она была потрясена его словами — словно он восставал против Бога.

— Да что же это такое с тобой стряслось? — спросила она, изо всех сил стараясь говорить строго.

— Цифры, — отвечал он. — Да, цифры. Я порядком над ними попотел всю эту неделю, и вышло очень удивительно.

— Я не понимаю, при чем тут это, — всхлипнула она.

Джонни снисходительно улыбнулся, и мать явственно ощутила неловкость оттого, что исчезла былая его раздражительность.

— Я тебе объясню, — сказал он. — Я вконец измучен. Что меня измучило? Движения. Я все время двигался, с самого рождения. Я устал от движения и никогда больше не намерен двигаться. Помнишь, как я работал на стекольном заводе?

Я вырабатывал триста дюжин бутылок в день. Теперь я высчитал, что совершал над каждой бутылкой около десяти различных движений; это будет тридцать шесть тысяч движений в день; в месяц — миллион восемьдесят тысяч движений. Скостим восемьдесят тысяч, — он говорил приветливым тоном филантропа, — скостим восемьдесят тысяч; остается миллион движений в месяц, двенадцать миллионов движений в год. У ткацких станков я двигаюсь вдвое больше. Выходят двадцать пять миллионов движений в год, и мне кажется, что я двигался таким манером больше миллиона лет. Ну, на этой неделе я вовсе не двигался. Я целыми часами не шевелился. Знатно было, скажу я тебе, сидеть этак час за часом и ничего не делать. Никогда до сих пор я не был счастлив. У меня никогда не было времени. Я все время двигался. Таким манером нельзя стать счастливым. Так вот, кончено. Я буду сидеть и сидеть, отдыхать и отдыхать, а после опять отдыхать.

— Но что будет с Вилли и с детьми? — спросила она с отчаянием.

— Вот то-то и оно: Вилли и дети, — повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он знал о часто-

любивых мечтах матери относительно младшего сына, но мысль об этом его больше не грызла. Ему все было безразлично, и это — тоже.

— Я знаю, мама, что ты думала, когда отдавала Вилли учиться: ты хотела, чтобы он стал бухгалтером. Из этого ничего не выйдет. С меня хватит. Пусть работает он.

— Я не так тебя воспитывала, — заплакала она, собираясь опять спрятать лицо в фартуке, но затем передумав.

— Ты никак меня не воспитывала, — ответил он с печальной нежностью. — Я сам себя воспитал, мама, и я же воспитал Вилли. Он больше меня, и толще, и выше. Когда я был малышом, меня, вероятно, не кормили вдоволь. Когда он появился, я работал и зарабатывал ему на еду. Но теперь этому конец. Вилли может пойти на работу, как я, или пойти к черту — мне все равно. Я устал. Я ухожу. Хочешь, простимся?

Она не отвечала. Фартук опять взвился над ее головой. Она плакала. Он на минуту остановился на пороге.

— Уж, кажется, я делала все, что могла, — рыдала она.

Он вышел из дома и пошел вниз по улице. Тусклая радость вспыхнула на его лице при виде

одинокого дерева.

— Не может ничего не делать, — сказал он себе вполголоса, как бы напевая. Он задумчиво поглядел на небо, но яркое солнце сверкало и ослепляло его.

Он прошел большой путь медленным шагом. Он прошел мимо ткацкой фабрики. Приглушенный гул донесся до его ушей, и он улыбнулся. Он никого не ненавидел — даже стучащие и скрипящие машины. В душе его не было горечи, не было ничего, кроме непомерной жажды покоя.

Дома и фабрики постепенно редели, и пустыри попадались все чаще, по мере того как он продвигался к окраине. Наконец город остался позади, и он шел по зеленой тропинке вдоль полотна железной дороги. Он шел не так, как все люди. И он ни на кого из людей не походил. Это было какое-то подобие человеческого существа. Это был искалеченный, хилый кусок жизни, тащившийся, как больная обезьяна, с болтающимися руками, сутулыми плечами, узкой грудью — причудливый и страшный.

Он прошел мимо маленькой железнодорожной станции и улегся на траве под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, причем мышцы его судорожно сжимались во сне.

Проснувшись, он лежал без движения, следя за птицами или глядя на небо сквозь нависавшие над ним ветки дерева. Раз или два он громко рассмеялся, но без всякого отношения к тому, что он видел или чувствовал.

Когда сумерки скрылись в вечерней тьме, у станции с грохотом остановился товарный поезд. Пока паровоз отводил несколько вагонов на запасный путь, Джонни подполз к поезду. Он открыл боковую дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом вскарабкался внутрь. Затем задвинул дверь. Свисток. Джонни лежал и в темноте улыбался.

Гадкая женщина

Лоретта отправилась в Санта-Клару, потому что рассталась с Билли. А Билли не мог этого понять. Сестра его рассказывала, что он всю ночь ходил взад и вперед по комнате и плакал. Лоретта тоже не спала всю ночь и большую часть ее проплакала. Дэйзи это знала доподлинно, ибо на ее груди Лоретта выплакала свое горе. Знал это и муж Дэйзи, капитан Китт: слезы Лоретты и утешения Дэйзи отчасти и его лишили сна.

А капитан Китт не любил жертвовать сном. Кроме того, он вовсе не хотел, чтобы Лоретта выходила замуж — за Билли или кого-нибудь другого — безразлично. Капитан Китт считал, что Дэйзи нуждается в помощи младшей сестры по хозяйству. Но вслух он этого не высказывал. Вместо этого он настаивал на том, что Лоретта еще слишком молода, чтобы думать о замужестве. Поэтому-то капитану Китту и пришла в голову мысль отправить Лоретту погостить к миссис Хемингуэй. Там уж не будет никакого Билли.

Лоретта не успела прожить и недели в Санта-Кларе, когда убедилась, что идея капитана Китта была хорошей идеей.

Во-первых — хотя Билли и отказывался в это верить, — она не собиралась выходить замуж за него, а во-вторых — хотя капитан Китт и отказывался этому верить, — она не собиралась покидать Дэйзи.

Прожив две недели в Санта-Кларе, она окончательно уверилась в том, что не хочет выходить за Билли; но была далеко не так уверена в том, что не желает покидать Дэйзи. Не то чтобы она стала меньше любить Дэйзи, но… у нее появились сомнения.

В день приезда Лоретты в мозгу миссис Хемингуэй начал слагаться неясный план. На второй день она сказала своему мужу, Джеку Хемингуэю, что Лоретта невероятно невинное юное создание и что если бы не ее милое простодушие, то ее положительно можно было бы назвать дурой. В доказательство этого миссис Хемингуэй рассказала своему супругу несколько случаев, которые его заставили разразиться хохотом. На третий день план миссис Хемингуэй принял определенные очертания. Тогда-то она написала письмо, обозначив на конверте: «М-ру Эдварду Бешфорду, Афинский Клуб, Сан-Франциско».

«Дорогой Нед» — так начиналось письмо. Когда-то, до ее замужества, он безумно был влюблен

в нее в течение трех недель. Она же связала себя с Джеком Хемингуэем, претендентом более ранним, да к тому же владевшим ее сердцем; но это не очень огорчило философски настроенного Неда Бешфорда. Он только прибавил этот опыт к обширному фонду собранных таким же путем данных, из которых сфабриковал свою философию. В плане художественного вкуса и темперамента он был эллином — усталым эллином. Он любил приводить цитаты из Ницше в знак того, что он тоже пережил долгую болезнь, следующую за пламенными поисками истины, и вышел из нее слишком опытным, слишком мудрым, слишком глубоким, чтобы когда-нибудь снова впасть в безумие юношей с их любовью к истине. «Поклоняться видимости, — часто цитировал он, — верить в формы, в оттенки, в слова, в целый сонм видимостей!» Эту оригинальную цитату он всегда заканчивал словами: «Эти греки были поверхностны… *в силу самой своей глубины*!»

Он был довольно молодым эллином, усталым и разочарованным. Женщины вероломны и лживы, думал он… в минуты рецидивов, когда он спускался до пессимизма с идеальных высот философского спокойствия. Он не верил в женскую

правдивость; но, верный своему германскому учителю, он не срывал с них воздушного флера, прикрывавшего их вероломство. Он довольствовался тем, что воспринимал их как «видимости», и извлекал из этого все возможные удовольствия. Он был поверхностен… *в силу самой своей глубины*!

«Джек от души приглашает Вас погостить, — писала миссис Хемингуэй, — а также рекомендует захватить с собой рыболовные снасти». Миссис Хемингуэй написала еще многое другое. Она сообщала ему, что наконец в состоянии показать ему абсолютно правдивую, чистую и невинную женщину. «Еще никогда ни один более прямодушный, незапятнанный, женственный бутон не алел на этой планете» — такова была одна из тех многочисленных фраз, в которые она облекла свое приглашение. А мужу она заявила с торжеством:

— Если я на этот раз не женю Неда… — не разглашая страшную альтернативу, которую она отказывалась выразить и даже вообразить.

Вопреки всем предположениям, Лоретта не чувствовала себя в Санта-Кларе очень несчастной. Правда, Билли писал ей ежедневно, но его письма приводили ее в меньшее отчаяние, чем

его присутствие.

Кроме того, жертва — разлука с Дэйзи — оказалась менее тяжкой, чем она ожидала. Впервые в жизни ее не затмевала блестящая и зрелая красота Дэйзи. При столь благоприятных обстоятельствах Лоретта быстро выдвинулась на передний план, в то время как миссис Хемингуэй скромно отошла в глубину сцены.

Лоретта начала убеждаться, что она не является лишь бледной звездой, сияющей отраженным светом. Совершенно неосознанно она стала центром небольшого круга событий. Когда она садилась за рояль — всегда кто-нибудь переворачивал страницы нот и выказывал предпочтение тем или иным песням. Если она роняла платок — всегда находился кто-либо, чтобы его поднять. Ее всегда сопровождали во время прогулки. Кроме того, она научилась закидывать крючок с мухой в тихие прудки и под коряги и не запутывать в кустарнике шелковую лесу.

Джек Хемингуэй не очень любил обучать новичков и ловил рыбу больше особняком, либо вовсе не ловил; таким образом, он предоставил Неду Бешфорду достаточно времени, чтобы воспринять Лоретту как видимость. Как таковая, она удовлетворяла всем требованиям философии

Неда. Ее голубые глаза глядели по-мальчишески прямо, и он любовался ими, забывая содрогнуться перед коварством, которое, согласно его философии, таилось в их глубине. Она обладала грацией стройного цветка, нежностью красок и линий тонкого фарфора, и всем этим он наслаждался вполне, не думая о Жизненной Силе, клокочущей под всем этим, и забыв про Бернарда Шоу, в которого верил.

Лоретта расцветала. Она быстро развивала свою индивидуальность. Она открыла в себе собственную волю, собственные желания, не связанные на вечные времена с волей и желаниями Дэйзи. Джек Хемингуэй ее баловал, Алиса Хемингуэй лелеяла, Нед Бешфорд преданно ей служил. Они потворствовали ее прихотям, смеялись ее проказам, в то время как она развивала в себе милые замашки тирана, скрытые во всякой красивой и изнеженной женщине. Окружающие действовали как снотворное средство на ее прежнее желание всегда жить при Дэйзи. Это желание теперь уже не мучило ее, как во дни ее дружбы с Билли. Чем чаще она видела Билли — тем больше убеждалась, что не может жить вдали от Дэйзи. Чем чаще она видела Неда Бешфорда — тем больше забывала свою настоятельную потребность

в Дэйзи.

Нед Бешфорд, со своей стороны, тоже кое о чем забывал. Он смешивал поверхностность с глубиной, спутывал видимость с реальностью, пока не слил их воедино. Лоретта была не похожа на других женщин. В ней не было ничего замаскированного. Она была реальна. Все это он высказал миссис Хемингуэй, которая с ним согласилась и в то же время заметила, как веки ее мужа на мгновение сомкнулись в недвусмысленном подмигивании.

В эти дни Лоретта получила от Билли письмо, несколько отличающееся от остальных. В сущности, оно — как и все его письма — было патологическим. Это был длинный перечень симптомов и страданий: нервность, бессонница, сердечные перебои. Затем следовали упреки, такие, каких он ей до сих пор никогда не делал. Они были достаточно резки, чтобы заставить ее расплакаться, и достаточно справедливы, чтобы вызвать на ее лице трагическое выражение. С трагическим лицом она и спустилась к первому завтраку. Это заставило Джека и миссис Хемингуэй призадуматься и обеспокоило Неда. Супруги взглядами искали у него объяснения, но он покачал головой.

— Я выясню это сегодня вечером, — сказала миссис Хемингуэй своему мужу.

Но Нед застал Лоретту после полудня в большой гостиной. Она попыталась отвернуться. Он поймал ее руки, и она взглянула на него; ресницы ее были влажными, а губы дрожали. Он поглядел на нее молчаливо и нежно. Ресницы ее стали еще влажнее.

— Ну-ну, не плачьте, крошка, — сказал он ласково.

Он покровительственно обнял ее за плечи. И она прижалась к его плечу, как усталый ребенок. Он затрепетал — трепетом, необычным для эллина, преодолевшего долгую болезнь поисков истины.

— О Нед, — рыдала она на его плече. — Если бы вы только знали, какая я гадкая!

Он снисходительно усмехнулся и глубоко вдохнул воздух, пропитанный ароматом ее волос. Он подумал о своем светском знании женщин и вдохнул еще раз. Казалось, будто она излучает идеальную нежность детства, — «дуновение светлой души», как выразился он мысленно.

Тогда он заметил, что ее рыдания усиливаются.

— Что случилось, крошка? — спросил он лас-

ково и совсем по-отечески. — Не обидел ли вас Джек? Или горячо любимая сестрица не написала вовремя?

Она молчала, и он почувствовал, что непременно должен поцеловать ее волосы и что он ни за что не отвечает, если такое положение вещей будет продолжаться дальше.

— Расскажите мне все, — проговорил он мягко, — и посмотрим, что можно сделать.

— Я не могу. Вы будете меня презирать. О Нед, мне так стыдно!

Он недоверчиво рассмеялся и легко коснулся губами ее волос — так легко, что она не заметила.

— Дорогая крошка, забудем все, что бы там ни было. Я хочу сказать вам, как я люблю…

Она испустила громкий крик, весь исполненный радости, но затем простонала:

— Слишком поздно!

— Слишком поздно? — повторил он с изумлением.

— О, зачем я это сделала? Зачем я это сделала? — стонала она.

Он ощутил быстрый холодок, пробежавший по спине.

— Что такое? — спросил он.

— О… я… он… Билли… Я такая гадкая женщина,

Нед. Я знаю, вы навсегда перестанете со мной разговаривать.

— Этот… хм… этот Билли, — начал он запинаясь. — Это ваш брат?

— Нет… он… я не знала. Я была так молода. Я ничего не могла сделать. О, я с ума сойду! Я с ума сойду!

Тут Лоретта почувствовала движение его плеча, а обнимающая рука вдруг обмякла. Он мягко отстранился от нее и столь же мягко усадил ее в глубокое кресло, где она спрятала лицо в ладонях и снова зарыдала. Он свирепо щипал ус, потом придвинул другое кресло и сел.

— Я… я не понимаю, — сказал он.

— Я так несчастна, — всхлипывала она.

— Почему несчастны?

— Потому что… он… он хочет, чтобы я вышла за него замуж.

Лицо его вмиг прояснилось, и он, успокаивая, коснулся своей рукой ее руки.

— Это не может ни одну девушку сделать несчастной, — заметил он мудро. — То, что вы его не любите, еще не причина… вы, разумеется, его не любите?

Лоретта потрясла головой и плечами, бурно изображая отрицание.

— Что? — Бешфорду хотелось добиться полной уверенности.

— Нет! — воскликнула она горячо. — Я не люблю Билли! Я не хочу любить Билли!

— Итак, если вы его не любите, — резюмировал Бешфорд уверенно, — то у вас нет основания быть несчастной, оттого только, что он сделал вам предложение.

Она вновь зарыдала и сквозь рыдания крикнула:

— В том-то и дело! Я хотела бы полюбить его! О, я хотела бы быть мертвой!

— Но, дорогое дитя, вы волнуетесь из-за пустяков. — Другая его рука тоже улеглась на ее руку. — Женщины поступают так каждый день. Оттого, что вы переменили мнение или не знали своего мнения… оттого, что вы — простите мне слишком резкое выражение — пококетничали с мужчиной…

— Кокетничала! — Она подняла голову и поглядела на него затуманенными от слез глазами. — О Нед, если бы это было все!

— Как? — спросил он глухим голосом, а руки его медленно сползли с ее рук. Он собрался было продолжать, но замолчал.

— Но я не хочу выходить за него, — протесто-

вала Лоретта.

— Ну не выходите, — посоветовал он.

— Но я должна выйти за него.

— *Должны* выйти?

Она кивнула головой.

— Это сильно сказано.

— Я это знаю, — согласилась она, стараясь приобрести власть над своими дрожащими губами. Затем она заговорила спокойнее. — Я гадкая женщина, ужасно гадкая женщина. Никто не знает, какая я гадкая… кроме Билли.

Наступила пауза. Лицо Бешфорда было серьезно, и он странно поглядел на Лоретту.

— Он… Билли… знает? — спросил он наконец. Несмелый кивок и загоревшиеся щеки послужили ответом.

Он некоторое время советовался с собой, словно пловец, готовящийся нырнуть.

— Расскажите мне. — Он сказал это очень твердо. — Вы должны рассказать мне все.

— А сумеете ли вы… когда-нибудь… простить меня? — спросила она его тихим, слабым голосом.

Он поколебался, глубоко вздохнул и… вошел в воду.

— Да, — оказал он с отчаянием. — Я прощу.

Начинайте.

— Некому было мне сказать, — начала она. — Мы так часто бывали вместе. Я тогда не знала ничего о жизни.

Она остановилась, чтобы обдумать. Бешфорд нетерпеливо кусал губы.

— Если бы я только знала…

Она снова остановилась.

— Хорошо. Продолжайте… — торопил он.

— Мы бывали вместе почти каждый вечер.

— С Билли? — спросил он с яростью, которая заставила ее вздрогнуть.

— Да, разумеется, с Билли. Мы так часто бывали вместе… Если бы я только знала… Некому было мне сказать… Я была так молода…

Ее губы раскрылись, как бы для того, чтобы продолжать, и она с беспокойством взглянула на него.

— Подлец!

С этим возгласом Нед Бешфорд вскочил на ноги — отнюдь не как утомленный эллин, а как разгневанный юнец.

— Билли не подлец, он хороший человек, — защищала его Лоретта с твердостью в голосе, поразившей Бешфорда.

— Не собираетесь ли вы сказать мне, что вина

всецело лежит на вас? — произнес он саркастически.

Она кивнула.

— Что?!! — заорал он.

— Я виновата во всем, — упрямо повторила она. — Я не должна была ему позволить. Я заслуживаю наказания.

Бешфорд перестал шагать взад и вперед, и когда он заговорил, голос его прозвучал покорно.

— Хорошо, — сказал он. — Я не порицаю вас, Лоретта. Вы поступили весьма честно. Но Билли прав, а вы не правы. Вы должны выйти замуж.

— За Билли? — спросила она приглушенным, далеким голосом.

— Да, за Билли. Я возьму это на себя. Где он живет? Я заставлю его.

— Но я не хочу выходить за Билли! — воскликнула она с отчаянием. — О Нед, вы этого не сделаете!

— Сделаю, — отвечал он непреклонно. — Вы должны. И Билли должен. Вы понимаете?

Лоретта спрятала лицо в мягкую спинку кресла и разразилась бурным потоком рыданий.

Сначала Бешфорд, как он ни прислушивался, мог уловить только:

— Но я не хочу покидать Дэйзи! Я не хочу по-

кидать Дэйзи!

Он сердито зашагал взад и вперед, но потом остановился, прислушиваясь с любопытством.

— Как я могла знать? У-у… у-у… — плакала Лоретта. — Он мне не сказал. А никто другой никогда не целовал меня. Мне и не снилось, что поцелуй — это что-то такое ужасное… пока… у-у… он не написал мне. Я только сегодня получила письмо.

Его лицо просияло. Казалось, будто заря на нем взошла.

— Так вы плачете об этом?

— Н-нет…

Его сердце упало.

— Так о чем же вы плачете? — спросил он безнадежным голосом.

— Потому что вы сказали, что я должна выйти за Билли. А я не хочу выходить за Билли. Я не хочу расставаться с Дэйзи. Я не знаю, чего я хочу. Я хочу умереть.

Он напрягся для последнего усилия.

— Послушайте, Лоретта, будьте благоразумны. Так что насчет поцелуев? Вы мне не все рассказали.

— Я… я не хочу рассказывать вам все.

Во время наступившего молчания она глядела

на него умоляюще.

— Должна я рассказать? — пролепетала она наконец.

— Вы должны, — сказал он повелительно. — Вы должны рассказать мне все.

— Ну хорошо… так я должна?

— Вы должны.

— Он… я… мы… — начала она, путаясь, и вдруг выпалила: — Я позволила ему, и он меня поцеловал.

— Продолжайте, — в отчаянии приказал Бешфорд.

— Это все, — отвечала она.

— Все? — Бесконечное недоверие прозвучало в его голосе.

— Все? — В ее голосе звучал не менее бесконечный вопрос.

— Я… хотел сказать… хм… ничего хуже этого не случилось? — Он чувствовал себя подавленным собственной неуклюжестью.

— Хуже этого? — Она откровенно недоумевала. — Точно может быть что-нибудь хуже! Билли сказал…

— Когда он сказал это? — отрывисто спросил Бешфорд.

— В письме, которое я получила сегодня утром.

Билли говорит, что мои… что наши… наши поцелуи — это нечто ужасное, если мы не поженимся.

У Бешфорда закружилась голова.

— Что еще говорит Билли? — спросил он.

— Он говорит, что если женщина позволила мужчине поцеловать ее, то она всегда выходит за него замуж. А если она этого не делает, то это ужасно. Таков обычай, говорит он. А я говорю, что это скверный, гадкий обычай, и мне он не нравится. Я знаю, что я отвратительна, — прибавила она, — но я ничего не могу поделать.

Бешфорд рассеянно вынул сигару.

— Позволите мне закурить? — спросил он, чиркая спичкой.

Затем он пришел в себя.

— Простите, — воскликнул он, бросая спичку и папиросу. — Я не хочу курить. Я совсем не то хотел сказать. Я хотел сказать…

Он склонился над Лореттой, взял ее руки в свои, затем уселся на ручку кресла и нежно обнял ее.

— Лоретта, я дурак. Это я хотел сказать. И еще кое-что. Прошу вас, будьте моей женой.

Наступило молчание. Он тревожно ждал.

— Ответьте же мне, — торопил он.

— Я согласна… если…

— Так продолжайте же. Если… что?

— Если я не должна буду выйти за Билли.

— Вы же не можете выйти за нас обоих! — почти закричал он.

— И нет такого обычая… как… как говорит Билли?

— Нет, нет такого обычая. Итак, Лоретта, хотите вы быть моей женой?

— Не сердитесь на меня. — Она притворно надула губки.

Он заключил ее в свои объятия и поцеловал.

— О, я хотела бы, чтобы такой обычай существовал, — говорила она слабым голосом между двумя поцелуями, — потому что тогда я должна была бы выйти за вас, Нед… дорогой… правда?

Просто мясо

Он добрался до угла и поглядел вправо и влево по поперечной улице, но не увидел ничего, кроме оазисов света, отбрасываемого уличными фонарями на перекрестках. Затем он побрел назад по той же дороге, по какой пришел. Он был тенью человека, бесшумно скользившей сквозь полумрак, не совершая ни одного лишнего движения. К тому же он был чрезвычайно ловок — как дикий зверь в джунглях, — зорко наблюдателен и впечатлителен. Он не смог бы заметить в этой темноте только самое мельчайшее и призрачное движение.

Вдобавок к постоянным сигналам, которые ему посылали чувства, у него был еще более тонкий способ восприятия — как бы *чутье* окружавшей его атмосферы. Он знал, что в доме, перед которым он на минуту остановился, были дети. Это знание сообщалось ему без сознательного усилия. И поэтому он даже не отдавал себе отчета в своем знании — настолько впечатление было бессознательным. И все же, если бы нужно было что-то в этом доме сделать, — он поступил бы, исходя из того, что там есть дети. Он не сознавал всего, что

было ему известно об окружающей обстановке.

В силу того же свойства он — неведомо как — почувствовал, что ему не грозит никакой опасности от шагов, приближавшихся к нему с другой стороны улицы. Раньше, чем он увидал идущего, он распознал в нем запоздалого пешехода, торопившегося домой. Прохожий показался на перекрестке и исчез в глубине улицы. Наблюдавший человек заметил свет, мелькнувший в окне углового дома, и, когда свет исчез, сообразил, что потухла спичка. Это было сознательное определение привычного явления, и в мозгу его мелькнула мысль: «Интересно знать, который час». В другом доме одна комната была освещена. Свет был неярким, и он почуял, что это — комната больного.

Он особенно интересовался одним домом напротив — как раз посредине квартала. На этот дом он обращал особое внимание. Куда бы он ни глядел, куда бы ни шел, — все равно его шаги и взгляды неизменно возвращались к этому дому. За исключением открытого окна прямо над парадной дверью, в доме не было ничего необыкновенного. Никто не входил и не выходил. Ничего не происходило. Окна не были освещены, более того, в них даже не мелькал свет. И тем не

менее этот дом был центральным пунктом его наблюдений. Он возвращался к нему всякий раз после какого-нибудь откровения о состоянии соседних домов.

Несмотря на свое чутье, он не был самоуверен. Он в высшей степени сознавал непрочность своего положения. Хотя его и не смутили шаги случайного прохожего, все же он был возбужден, впечатлителен и подвержен страху, как пугливый олень. Он признавал возможность существования других сознаний, рыщущих в темноте, — сознаний, равных его собственному по остроте, впечатлительности и прозорливости.

Далеко, в конце улицы он усмотрел какую-то движущуюся фигуру и понял, что это не запоздалый прохожий, спешащий домой, а угроза и опасность. Он дважды свистнул в сторону дома напротив, затем скользнул, как тень, к углу и за угол. Здесь он остановился и тщательно огляделся. Успокоившись, он вернулся обратно и стал всматриваться в приближавшуюся фигуру. Он правильно угадал: то был полисмен.

Человек спустился по переулку к ближайшей подворотне, под прикрытием которой он принялся наблюдать только что покинутый угол. Он увидел, как полисмен прошел мимо, направляясь

прямо вверх по улице. Он двинулся параллельно полисмену и из следующей подворотни опять убедился, что тот прошел мимо; затем он вернулся той же дорогой.

Он один раз свистнул в сторону дома напротив, а немного погодя свистнул еще раз. В этом свистке был отбой тревоги, точно так же, как первоначальный двойной свисток был предостережением.

Он увидел, как что-то темное показалось на козырьке крыльца и медленно стало съезжать по столбу. Затем оно спустилось вниз по лестнице, миновало узенькую железную калитку и, выйдя на тротуар, приняло форму человека. Прежний наблюдатель остался на своей стороне улицы и двинулся прямо к углу, где перешел на другую сторону и присоединился к появившемуся. Он казался совсем маленьким рядом с тем, к кому подошел.

— Хорошо поработал, Мэтт? — спросил он.

Другой промычал что-то неопределенное и молча прошел несколько шагов.

— Кажется, выгрузил товар, — сказал он.

Джим хихикнул в темноте и ждал дальнейших сведений. Они все шли и шли, и он становился нетерпеливее.

— Ну, так что же с этим товаром? — спросил он. — Какого рода улов? Ну?

— Я был слишком занят, чтобы считать, но, должно быть, жирный. Ничего больше не могу сказать, Джим, — жирный. Подожди, пока вернемся в комнату.

Джим зорко взглянул на него при свете фонаря на ближайшем перекрестке и увидел, что лицо его хмуро и он как-то странно держит левую руку.

— Что с твоей рукой? — спросил он.

— Парень укусил меня. Надеюсь, у меня не начнется водобоязнь. Правда, что иногда можно взбеситься от человеческого укуса?

— Пришлось с ним побороться? А? — спросил Джим, подзадоривая.

Тот что-то промычал.

— Легче из ада что-нибудь вытянуть, чем из тебя, — вспыхнул Джим. — Расскажи, как было. Рассказ-то ведь денег не стоит.

— Я, кажется, слегка пристукнул его, — послышался ответ. Затем — в виде объяснения: — Он проснулся, когда я вошел.

— Ты это чисто сработал. Я ни звука не слыхал.

— Джим, — сказал тот серьезно. — Дело пахнет виселицей. Я уложил его. Пришлось. Он проснул-

ся. Нам с тобой придется на время спрятаться.

Джим понимающе присвистнул.

— Слышал ты, как я свистел? — спросил он внезапно.

— Разумеется. Я уже был совсем готов. Как раз собирался вылезать.

— Это был легавый. Но он ни черта не заметил. Прошел мимо и шел все прямо, пока не скрылся из виду. Тут я вернулся и дал свисток. Почему ты и после того так долго не выходил?

— Ждал для верности, — объяснил Мэтт. — Я здорово обрадовался, когда услышал твой второй свист. Тяжелое это дело — ждать. Я все сидел и все думал, думал… о разных вещах. Чудно! О чем только человек не думает! Да, кроме того, еще кошка треклятая все ходила по дому и беспокоила меня своим шумом.

— А улов-то жирный! — воскликнул Джим некстати и с радостью.

— Уверенно говорю тебе, Джим, жирный. Я жду не дождусь взглянуть еще раз.

Оба бессознательно ускорили шаг. И все же осторожность не покидала их. Два раза меняли они направление, чтобы избежать полисменов, и только окончательно уверившись, что за ними не следят, нырнули в темный подъезд дома

с дешевыми меблированными комнатами на окраине города.

Так они и шли в темноте до своей комнаты под самой крышей. Пока Джим зажигал лампу, Мэтт запер дверь и задвинул засов. Обернувшись, он увидел, что его товарищ напряженно ждет. Мэтт про себя улыбнулся его нетерпению.

— Светилка-то в порядке, — сказал он, вынимая маленький карманный электрический фонарик и рассматривая его. — Но нам надо приобрести новую батарею. Эта работает совсем слабо. Раз или два я думал, что она оставит меня в потемках. Странное устройство в этом доме. Я едва не заблудился. Его комната оказалась налево, и это меня чуточку сбило.

— Я говорил тебе, что она слева, — прервал Джим.

— Ты говорил, что она справа, — продолжал Мэтт. — Я, думается, помню, что ты говорил. А вот и план, который ты нарисовал.

Порывшись в жилетном кармане, он вытащил сложенный кусок бумаги. Когда он его развернул, Джим наклонился и принялся разглядывать.

— Я ошибся, — произнес он.

— Вот именно. Потому-то мне пришлось сначала действовать наудачу.

— Но теперь-то уже все равно, — воскликнул Джим. — Дай взглянуть, что тебе досталось.

— Нет, не все равно, — возразил Мэтт, — совсем не все равно… для меня. Мне пришлось нести весь риск. Я сунул голову в ловушку, пока ты стоял на улице. Ты должен взять себя в руки и работать лучше. Ну да ладно. Сейчас покажу.

Он небрежно запустил руку в карман и вытащил пригоршню мелких бриллиантов. Он высыпал их блестящим потоком на засаленный стол. Джим крепко выругался.

— Это пустяки, — сказал Мэтт с торжествующим самодовольством. — Я еще и не начинал.

Он продолжал вынимать добычу из всех карманов. Тут было много бриллиантов, завернутых в замшу, — и все они были крупнее, чем те, что в первой пригоршне. Из одного кармана он вытащил горсть совсем мелких камней.

— Солнечная пыль, — заметил он, сложив их отдельно на столе.

Джим стал их разглядывать.

— Как раз такие, какие продаются в розницу за пару долларов каждый, — сказал он. — Это все?

— Разве не довольно? — спросил тот раздосадованным тоном.

— Разумеется, довольно, — отвечал Джим с без-

условным одобрением. — Лучше, чем я ожидал. Я не возьму меньше десяти тысяч долларов за всю партию — ни центом меньше.

— Десять тысяч, — осклабился Мэтт. — Они стоят вдвое или я ничего не понимаю в камнях. Погляди-ка на этого крепыша!

Он вытащил его из сверкающей груды и поднес к лампе с видом знатока.

— Стоит тысячу, — быстрее его определил Джим.

— Тысячу за твою бабушку, — прозвучал гневный ответ Мэтта. — Такого и за три не купишь.

— Разбуди меня! Я вижу сон! — Блеск камней отражался в глазах Джима, и он принялся отбирать крупные камни и рассматривать их. — Мы — богатые люди, Мэтт. Мы будем настоящими буржуями.

— Понадобится несколько лет, чтобы избавиться от них, — рассудительно заметил Мэтт.

Глаза его сверкали — хотя и мрачно, — но все сильнее, по мере того как пробуждалась его флегматичная натура.

— Я говорил тебе: мне и в голову не приходило, что выйдет так жирно, — пробормотал он тихо.

— Какой улов! Какой улов! — воскликнул Джим еще восторженнее.

— Я едва не забыл, — сказал Мэтт, запуская руку во внутренний карман пиджака.

Нитка крупного жемчуга вынырнула из папиросной бумаги и замшевой обертки. Джим еле взглянул на нее.

— Она стоит денег, — сказал он и возвратился к брильянтам.

Молчание воцарилось между ними. Джим играл камнями, пропуская их между пальцев, разделяя на кучки или широко раскладывая по столу.

Это был стройный худой человек, нервный, раздражительный, анемичный и всегда напряженный — типичное дитя улицы, с некрасивыми, измятыми чертами лица, узкими глазами, с постоянно голодным ртом — похожий на зверя из кошачьей породы, насквозь прожженный клеймом вырождения.

Мэтт не перебирал бриллианты. Он сидел, опершись локтями на стол, положив подбородок на ладони, и глядел тяжелым взглядом на сверкающие россыпи. Во всех отношениях он был полной противоположностью своему товарищу. Он не был взращен городом. Мускулистый и волосатый, своей силой и обликом он походил на гориллу. Для него не существовало незримого мира. Глаза

его были чуть навыкате и широко расставлены, и в них как бы светилось что-то вроде живого человеческого чувства. Они внушали доверие. Но, всмотревшись, можно было обнаружить, что его глаза слишком уж выпуклые, слишком широко расставлены. В них было что-то ненормальное, и то же можно было сказать о его характере.

— Вся партия стоит пятьдесят тысяч, — заметил вдруг Джим.

— Сто тысяч, — сказал Мэтт.

Опять наступило молчание и продолжалось долго, пока Джим снова его не нарушил.

— Какого черта он делал со всем этим в своей квартире? Вот что хочу я знать. Я думал, что он держит их в несгораемом шкафу внизу, в магазине.

Мэтту как раз в этот момент представился образ задушенного им человека — каким он видел его, оглянувшись напоследок, при слабом свете электрического фонарика. Но он не вздрогнул при упоминании о нем.

— Что тут говорить? — ответил он. — Может быть, он готовился объегорить своего компаньона. Может быть, он наутро улепетнул бы в неведомые страны, если бы мы не подвернулись вовремя. Я думаю, что среди честных людей

ровно столько же воров, сколько среди воров. О таких вещах постоянно читаешь в газетах, Джим. Компаньоны всегда надувают друг друга.

Глаза Джима странно вспыхнули. Мэтт ничем не выдал, что заметил это, но сказал:

— О чем ты подумал, Джим?

Джим на мгновение слегка смутился.

— Ни о чем, — ответил он. — Я только подумал, как это странно: все эти камни у него в квартире. Почему ты спрашиваешь?

— Так… Мне просто хотелось знать, вот и все.

Воцарилось молчание, изредка прерываемое тихим и нервным хихиканьем Джима. Он был потрясен грудой драгоценных камней. Не то чтобы он чувствовал их красоту. Он не замечал, что они прекрасны сами по себе. Но в камнях его острое воображение видело радости, которые могли быть на них куплены, и все страсти и аппетиты его нездорового ума и хилого тела пробудились к жизни. Он строил чудесные замки, а в них видел нескончаемые оргии, и устрашился своих видений. Тогда он хихикнул. Все это было слишком невозможным, чтобы стать реальным, и все-таки… вот они сверкали перед ним на столе, обвевая его пламенем вожделения. И он снова хихикнул.

— Я думаю, нам лучше сосчитать их, — неожиданно сказал Мэтт, отрываясь от своих собственных видений. — Ты следи за мной и смотри, чтобы было по совести, потому что ты и я, Джим, — мы должны действовать по совести… Понял?

Джиму это не понравилось, и он выдал себя взглядом; а Мэтту не понравилось то, что он прочел в глазах компаньона.

— Понял? — повторил Мэтт почти с угрозой.

— Разве мы когда-нибудь не по совести поступали? — отвечал тот, насторожившись, ибо уже ощутил в себе неясный шепот вероломства.

— Ничего не стоит быть честным в тяжелые времена, — возразил Мэтт. — Быть честным, когда повезет — вот что ценится. Когда у нас ничего нет, мы поневоле честны. Теперь мы разжились и становимся деловыми людьми — честными деловыми людьми… Понял?

— Правильно сказано, — одобрил Джим, но далеко — в самой глубине его жалкой душонки — против его воли беззаконные мысли бились на привязи, как пленные звери.

Мэтт шагнул к полкам, висевшим за двухфитильной керосинкой. Он высыпал из одной картонной коробки чай, а из другой — немного красного перца. Возвратившись с коробками

к столу, он положил в них обе кучки мелких брильянтов, затем пересчитал крупные камни и завернул их в папиросную бумагу и замшу.

— Сто сорок семь камней приличных размеров, двадцать крупных, два здоровенных, один великан и пара пригоршней мелочи. — Он взглянул на Джима.

— Верно, — был ответ.

Он записал это на листке блокнота, снял копию и отдал один листок компаньону, а другой оставил себе.

— Только для справки, — сказал он.

Снова он подошел к полкам, с которых снял и опорожнил от сахара большую картонную коробку. В эту последнюю он сложил все брильянты — крупные и мелкие, — завернул ее в ситцевый носовой платок и спрятал под свою подушку. Затем он присел на край постели и снял башмаки.

— И ты думаешь, они стоят сотню тысяч? — спросил Джим, перестав развязывать свои ботинки и взглянув на него.

— Разумеется, — был ответ. — Я видел однажды танцовщицу, там, в Аризоне. На ней — на этой танцовщице — было несколько больших блестяшек. Они были ненастоящие. Будь они настоящие, говорила она, так она бы не плясала.

Они бы стоили до пятидесяти тысяч, а у нее всех-то их было меньше дюжины.

— Кому охота работать за пропитание? — с торжеством спросил Джим. — Киркой да лопатой! — Он презрительно усмехнулся. — Работай всю жизнь, как собака, сберегай всякую получку — и все-таки не скопишь и половины того, что нам в одну ночь досталось.

— Посуду мыть — это тебе под стать. А этим не заработаешь больше двадцатки в месяц и харчи. Цифры твои никуда не годятся, но мысль попадает в точку. Пусть работает тот, кому охота. Я был ковбоем за тридцать долларов в месяц, когда был молод и глуп. Ну-с, теперь я стал старше — и уже не хочу быть ковбоем.

Он улегся в постель в одном углу комнаты. Джим потушил свет и сделал то же в другом углу.

— Как твоя рука? — любезно осведомился Джим.

Такое внимание было необычным, Мэтт это подметил и ответил:

— Кажется, симптомов водобоязни нет. Зачем ты спрашиваешь?

Джим почувствовал смутное сознание вины и мысленно проклял манеру товарища задавать

неприятные вопросы, но вслух ответил:

— Да так, просто. Только ты сначала как будто беспокоился об этом. Что ты собираешься делать со своей долей, Мэтт?

— Купить ранчо со скотом в Аризоне, сидеть смирно и нанимать других людей, чтобы они работали у меня ковбоями. Есть там несколько таких, которых я с радостью увидел бы вымаливающими у меня работу, черт их побери! Ну, заткни фонтан, Джим. Немало времени пройдет, пока я куплю это ранчо. А теперь я хочу спать.

Но Джим долго лежал с открытыми глазами, нервно подергиваясь, беспокойно ворочаясь, и этим будил себя каждый раз, когда начинал задремывать. Бриллианты все еще сверкали перед глазами — сверкали так, что глазам больно было. Мэтт, несмотря на грубость своей натуры, спал чутко, всегда начеку во время сна — как дикое животное; и Джим заметил, что при каждом его движении тело товарища тоже шевелилось. И потому Джим часто не знал, проснулся тот или нет. Один раз Мэтт сказал ему, словно был в полном сознании:

— Да спи же, Джим. Не беспокойся об этих камнях. Целы будут. — И Джим подумал, что именно в этот момент Мэтт безусловно спал.

Поздно утром Мэтт проснулся от первого движения Джима; а потом они прохлаждались до полудня, после чего одновременно встали и начали одеваться.

— Я иду купить газеты и немного хлеба, — сказал Мэтт. — А ты свари кофе.

Джим слушал, а взгляд его бессознательно оторвался от Мэтта и блуждал по подушке, под которой хранилась коробка, завернутая в ситцевый носовой платок. В то же мгновение лицо Мэтта исказилось от звериной ярости.

— Смотри, Джим, — прорычал он. — Ты должен играть честно. Если будешь мне гадить, — прикончу. Понял? Я сломаю тебя, Джим. Так и знай. Перегрызу тебе горло и съем, как кусок бифштекса.

Его загорелая кожа почернела от прилива крови, а рычащий рот обнажил зубы, пожелтевшие от табака. Джим вздрогнул и невольно съежился. Человек, на которого он глядел, нес смерть. Не далее как прошлой ночью этот смуглый человек своими руками убил другого, и это не помешало ему спокойно спать. И в собственном своем сердце Джим ощутил вину и замыслы, за которые он заслуживал все то, чем ему грозили.

Мэтт вышел, оставив его еще дрожащим. То-

гда гнев исказил лицо Джима, и он неслышно пробурчал свирепое проклятие в сторону двери. Он вспомнил о камнях и поспешил к кровати. Он тщательно прощупал под подушкой платок, чтобы убедиться, что бриллианты все еще там. Уверившись в их сохранности, он виновато поглядел на керосинку. Затем поспешно зажег ее, доверху наполнил кофейник и поставил его на огонь.

Кофе кипел, когда Мэтт вернулся, и пока этот последний резал хлеб и выкладывал на стол масло, Джим разливал кофе. Только усевшись за стол и хлебнув кофе, Мэтт вытащил из кармана утреннюю газету.

— Мы здорово обсчитались, — сказал он. — Я говорил тебе, что я никак не мог вычислить, какой жирный кусок мы отхватили.

Он указал на заголовки первой страницы.

«*Немезида настигла Буянова мгновенно,* — прочли они. — *Его убили во сне, после того как он обокрал своего компаньона*».

— Вот видишь! — воскликнул Мэтт. — Он обокрал своего компаньона, обокрал, как грязный вор.

— «Пропало на полмиллиона драгоценных камней», — вслух прочитал Джим. Он положил

газету на стол и уставился на Мэтта.

— Что я тебе говорил? — сказал тот. — Черта лысого мы понимаем в камнях! Полмиллиона! А я-то не мог насчитать больше ста тысяч. Ну-ка, прочти остальное.

Они продолжали читать молча, голова к голове; а нетронутый кофе стал остывать, и поминутно то тот, то другой выкрикивал какой-нибудь сенсационный факт.

— Я бы хотел видеть рожу Метцнера, когда он сегодня утром открыл сейф в магазине! — Джим пожирал газету глазами.

— Он догадался, что добыча ушла на квартиру к Буянову, — пояснил Мэтт. — Читай дальше!

— «Должен был вчера вечером отплыть на «Саджоде» в Индийский океан… Отъезд задержался из-за непредвиденной погрузки…»

— Потому-то мы и застали его в постели, — прервал его Мэтт. — Вот уж действительно повезло. Все равно что выиграть в лотерею при одном шансе на пятьдесят билетов.

— «Саджода» отчалила сегодня утром в шесть…

— Он не успел к отплытию, — сказал Мэтт. — Я видел, что его будильник был поставлен на пять часов. Потому-то у него было еще много времени впереди… Но пришел я и сказал его времени

«стоп!». Продолжай.

— «Адольф Метцнер в отчаянии… Знаменитое Хейторнское жемчужное ожерелье… великолепно подобранные жемчужины… оценено экспертами в пятьдесят — семьдесят тысяч».

Джим остановился, чтобы торжественно произнести очень скверное проклятие, закончив его так:

— …что эти проклятые пасхальные яйца стоят таких деньжищ! — Он облизал губы и прибавил: — Ну, да ведь и красота-то какая!..

— «Крупный бразильский камень, — продолжал он читать, — восемьдесят тысяч долларов… много ценных камней чистой воды… несколько тысяч мелких брильянтов, стоящих, по меньшей мере, сорок тысяч».

— Очень полезные сведения, — благодушно улыбнулся Мэтт.

— «Как считают сыщики, — читал Джим, — грабители, несомненно, знали… Ловко следили за тем, что делал Буянов… проведали о его плане и шли за ним до самого его дома, вместе с награбленной добычей»…

— Ловко… черт! — вырвалось у Мэтта. — Так составляются репутации… по газетам. Как могли мы знать, что он собирается обокрасть компа-

ньона?

— Как бы то ни было, а товар достался нам, — осклабился Джим. — Поглядим-ка на него еще раз.

Он удостоверился, что дверь заперта на засов, а Мэтт вынул из-под подушки ситцевый узелок и развернул его на столе.

— Ну, разве не красота! — воскликнул Джим при виде жемчужного ожерелья и некоторое время только на него и смотрел. — Согласно экспертизе, стоит от пятидесяти до семидесяти тысяч.

— А женщины любят такие штучки, — комментировал Мэтт. — Что угодно они готовы сделать, чтобы их получить: продать себя, совершить убийство — словом, все!

— Совсем как мы с тобой.

— Вот уж нет, — возразил Мэтт. — Я совершил убийство, но не ради этих штучек, а ради того, что они мне принесут. В этом — разница. Женщины хотят камней для камней. А я хочу камней для женщин и всего, что они мне доставят.

— Счастье, что мужчины и женщины не хотят одних и тех же вещей, — заметил Джим.

— На том и зиждется торговля, — согласился Мэтт, — что люди хотят разного.

После полудня Джим вышел, чтобы закупить еды. Во время его отсутствия Мэтт очистил стол от камней, снова завернул их в платок и положил под подушку. Затем он зажег керосинку, чтобы вскипятить воду для кофе. Через несколько минут Джим вернулся.

— Удивительно! — заметил он. — Улицы, магазины, люди — все, как и всегда. Ничто не изменилось. А я хожу среди них — я, миллионер. И никто на меня не поглядел и не догадался.

Мэтт промычал что-то недружелюбно. Он не понимал легких причуд и капризов фантазии своего компаньона.

— Мясо купил? — спросил он.

— Еще бы, в дюйм толщиной. Настоящий персик. Посмотри на него.

Он развернул бумагу и показал купленный кусок мяса Мэтту. Затем сварил кофе и накрыл на стол, пока Мэтт жарил мясо.

— Не клади туда слишком много красного перца, — предупредил Джим. — Я не привык к твоей мексиканской стряпне. Ты всегда переперчиваешь.

Мэтт что-то насмешливо пробормотал и продолжал готовить. Джим разлил кофе, но перед тем всыпал в надтреснутую фарфоровую чашку

порошок, завернутый в папиросную бумагу; порошок он достал из своего жилетного кармана. В этот момент он стоял спиной к своему компаньону, но не решался на него оглянуться. Мэтт расстелил на столе газету, а на газету поставил горячую сковороду; он разрезал мясо пополам и положил Джиму и себе.

— Ешь, пока горячее, — посоветовал он и сам подал пример, вооружившись ножом и вилкой.

— Объедение, — оценил Джим, проглотив первый кусок. — Но одно я тебе скажу напрямик: я не приеду к тебе в гости на твое ранчо в Аризоне, можешь не просить.

— В чем дело? — спросил Мэтт.

— Да в том, что мексиканская стряпня на твоем ранчо — не для меня. Меня и так ждет ад после смерти, зачем же я буду терзать свои внутренности, пока я жив. Проклятый перец!

Он улыбнулся, с силой выдохнул, чтобы охладить горящий рот, выпил кофе и продолжал есть мясо.

— Что ты думаешь о загробной жизни вообще, Мэтт? — спросил он немного погодя, втайне удивляясь, почему тот не притрагивается к своему кофе.

— Нет никакой загробной жизни, — отвечал

Мэтт, отрываясь от трапезы, чтобы выпить первый глоток кофе. — Ни неба, ни ада — ничего. Все, что следует, человек получает на земле.

— А после? — допытывался Джим со свойственным ему болезненным любопытством, ибо знал, что смотрит на человека, который скоро умрет. — А после? — повторил он.

— Видел ты когда-нибудь труп двухнедельной давности? — спросил Мэтт.

Джим покачал головой.

— Ну а я видел. Он походил на этот бифштекс, который мы с тобой едим. Раньше это был бык, бегавший на воле. А теперь это *только мясо. Только мясо* — вот и все. Вот чем станем и ты, и я, и все люди — мясо!

Мэтт допил кофе и налил еще.

— А ты боишься умереть? — спросил он.

Джим покачал головой.

— Нечего бояться. Я все равно не умру. Я исчезну и появлюсь снова…

— Чтобы красть, лгать и хныкать в течение еще одной жизни и продолжать так без конца, без конца, без конца? — презрительно ухмылялся Мэтт.

— Я, может быть, исправлюсь, — предположил Джим тоном, полным надежды. — Может

быть, в будущей жизни не будет необходимости красть…

Он вдруг осекся и уставился прямо перед собой с выражением испуга на лице.

— В чем дело? — спросил Мэтт.

— Ни в чем. Я только подумал… — Джим сделал над собой усилие и пришел в себя. — О смерти подумал, вот и все.

Но он не мог стряхнуть с себя сковывавший его ужас. Казалось, что-то невидимое и мглистое прошло мимо него, отбрасывая неуловимую тень своего присутствия. Он ясно ощутил предчувствие беды. Что-то зловещее должно было произойти. Несчастье повисло в воздухе. Он пристально посмотрел через стол на другого человека. Он ничего не понимал. Неужели он ошибся и отравился сам? Нет! Надтреснутая чашка стояла перед Мэттом, а он, несомненно, высыпал яд в надтреснутую чашку.

Это только воображение, подумал он в следующий миг. Оно и раньше играло с ним разные шутки. Дурак! Ну разумеется! Разумеется, что-то должно случиться — случиться с Мэттом. Разве Мэтт не выпил весь свой кофе?

Джим просиял и доел свою порцию, а потом куском хлеба подобрал и соус.

— Когда я был мальчишкой… — начал он, но вдруг осекся. Снова пролетело незримое мглистое существо, полное грозных предостережений о грядущих бедствиях. Он почувствовал разрушительную силу, действующую в его теле и во всех его мышцах; казалось, вот-вот его пронзит судорога.

Он внезапно откинулся назад и столь же внезапно наклонился вперед и уперся локтями в стол. Неясная дрожь пробежала по мышцам его тела. Это было похоже на первое трепетание листьев перед порывом ветра. Он заскрежетал зубами. Вновь повторилось судорожное сокращение мышц. Он испугался до паники, чувствуя, что теряет контроль над своим телом. Снова они судорожно сократились, вопреки его воле, ибо он хотел, чтобы они не сокращались. Это была революция в нем самом, это была анархия. И ужас бессилия охватил его, когда его, казалось, сжала его собственная плоть. Мурашки забегали по спине, а на лбу выступил пот. Он оглядел комнату, и все подробности обстановки показались ему странно близкими и привычными — точно он только что вернулся из долгого путешествия. Он взглянул через стол на своего компаньона. Мэтт наблюдал за ним и улыбался. Выражение

ужаса разлилось по лицу Джима.

— Господи, Мэтт! — завизжал он. — Ты что, отравил меня?!

Мэтт еще шире улыбнулся и продолжал наблюдать за ним. Во время последовавшего затем приступа сильных судорог Джим не потерял сознания. Мускулы его сокращались, сжимались, скручивались, терзая и ломая его в своих свирепых объятиях. Но несмотря на эти муки, он заметил, что Мэтт ведет себя странно. С ним происходило то же. Улыбка сползла с его лица, и на нем осталось внимательное выражение, точно он прислушивался к каким-то словам внутри себя и старался угадать их смысл. Мэтт встал, прошелся по комнате туда и назад, затем сел снова.

— Это твоих рук дело, Джим, — спокойно сказал он.

— Но я не думал, что ты захочешь прикончить *меня*, — отвечал Джим укоризненно.

— О, я уже прикончил тебя, — сказал Мэтт, сжав зубы и содрогаясь всем телом. — Что ты дал мне?

— Стрихнин.

— Так же, как и я тебе, — признался Мэтт. — Это чертовская штука, не правда ли?

— Ты врешь, Мэтт, — умоляюще сказал Джим. — Ты не отравил меня. Правда?

— Я уверен, что — да, Джим, я не переборщил. Я насыпал как раз столько, сколько тебе нужно, в твою порцию… Стой? Куда ты?

Джим скользнул к двери и хотел отодвинуть засовы. Мэтт вскочил, загородил ему дорогу и оттолкнул его.

— Аптека, — скулил Джим, — аптека…

— Нет, ты не пойдешь. Ты останешься здесь. Нечего выбегать и устраивать комедию с отравлением на улице… да еще имея все эти камни под подушкой. Спастись? Даже если ты не умрешь, так попадешь в руки полиции, а потом иди — объясняйся с ней. Рвотное — вот что нужно при отравлении. Я в таком же скверном положении, как и ты, и собираюсь принять рвотное. Все равно ничего другого тебе не дадут и в аптекарском магазине.

Он толкнул Джима обратно на середину комнаты и опять задвинул засовы. Пройдя через комнату к посудной полке, он провел рукой по лбу и смахнул выступивший пот. Джим, в агонии, наблюдал, как Мэтт взял банку с горчицей и чашку и подбежал к крану. Он наполнил чашку водой, всыпал горчицы и выпил. Джим последовал за ним и дрожащей рукой потянулся за пустой чашкой. Снова Мэтт оттолкнул его прочь.

Наливая вторую чашку, он спросил:

— Думаешь, мне хватит одной чашки? Подожди, когда я закончу.

Джим попытался дотащиться до двери, но Мэтт удержал его.

— Если ты не прекратишь свои обезьяньи штучки с дверью, я тебе шею сверну. Спастись? Можешь принять свою дозу, после меня. А если это тебе поможет, я все равно сверну тебе шею. Ни так, ни этак у тебя нет шансов. Я много раз говорил тебе, что тебя ждет, если будешь мне гадить.

— Но ведь и ты мне подгадил, — с трудом выговорил Джим.

Мэтт пил вторую чашку и не отвечал. Пот заливал Джиму глаза, и он с трудом видел стол, с которого взял чашку для себя. Но Мэтт, делая себе третью порцию, опять оттолкнул его.

— Я же велел тебе ждать, — прорычал Мэтт. — Убирайся с дороги.

Джим, подергиваясь всем телом и цепляясь за раковину, чтобы не упасть, тоскливо глядел на желтоватую смесь, в которой была жизнь. Только страшное напряжение воли помогало ему стоять на ногах.

Мэтт выпил третью чашку, с трудом подошел к стулу и сел. Его первый приступ проходил.

Терзавшие его судороги ослабевали. Он приписал это воде с горчицей. Как бы то ни было, он спасся. Он стер пот с лица и поглядел на своего компаньона.

Судорога выбила банку с горчицей из рук Джима, и содержимое просыпалось на пол. Он наклонился, чтобы набрать немного горчицы в чашку, но следующий спазм заставил его скорчиться на полу. Мэтт улыбнулся.

— Не упусти, — подзадоривал он. — Это то, что нужно. Меня оно поставило на ноги.

Джим услышал его и обратил к нему лицо, искаженное болью и мольбой. Теперь судороги следовали одна за другой, пока он не начал кататься по полу в конвульсиях, пачкая в горчице лицо и волосы.

Мэтт при виде этого хрипло засмеялся, но смех его вдруг оборвался. Дрожь пробежала по его телу. Начинался новый приступ. Он встал и поплелся через комнату к раковине и там, всунув указательный палец в рот, тщетно попытался ускорить действие рвотного. В конце концов он вцепился в раковину, как только что цеплялся Джим.

У Джима же приступ прошел, и он сидел на полу, усталый и изнемогающий, слишком сла-

бый, чтобы встать на ноги, с испариной на лбу и с губами, покрытыми пеной, пожелтевшей от горчицы, в которой он вымазался. Он пальцами протирал глаза, и стоны, похожие на плач, исходили из его горла.

— О чем хнычешь? — спросил Мэтт среди агонии. — Ведь ты только умрешь… А умрешь — так будешь мертвым.

— Я… не… хнычу… Это… горчица… щиплет… мне глаза, — скулил Джим медленно и с трудом.

Это была его последняя попытка говорить. После этого он стал бессвязно бормотать, ударяя по воздуху руками, пока новая конвульсия не растянула его на полу.

Мэтт снова дотащился до стула и скрючился на нем, обхватив колени руками. Приступ закончился, он чувствовал холод и слабость. Он взглянул на Джима, чтобы узнать, что с ним. Тот лежал неподвижно.

Он попробовал говорить сам с собой, пошутить, урвать у жизни последний свирепый смех, но губы его издавали только бессвязные звуки. Ему пришла мысль, что рвотное не подействовало и остается только аптека. Он поглядел в сторону двери и заставил себя встать на ноги. Ухватившись за стул, он удержался от падения.

Начался новый приступ. И эта конвульсия, казалось, разрывала и скручивала его тело. Он уцепился за стул и стал толкать его перед собой по полу. Воля его иссякла, когда он добрался до двери. Он повернул ключ и отодвинул один засов. Затем нащупал второй, но открыть его ему не удалось. Тогда он всей своей тяжестью налег на дверь и мягко соскользнул по ней на пол.

Китаеза

Коралл растет, пальма растет, а человек — умирает.

Таитянская пословица

А Чжо не понимал по-французски. Он сидел в переполненном зале суда, испытывая страшную усталость и скуку и слушая бесконечные взрывы французской речи, исходившие из уст то одного, то другого чиновника. А Чжо все это казалось пустой болтовней, и он изумлялся глупости французов, которые потратили столько времени на поиск убийцы Чун Ха и все-таки его не нашли. Все пятьсот кули на плантации знали, что убийство совершил А Сан, а А Сан стоял тут, и никто его не арестовывал. Правда, кули втайне сговорились не свидетельствовать друг против друга; однако дело было таким простым, что французы не могли не выяснить, что виновником был А Сан. Дураки эти французы.

А Чжо нечего было бояться: он не принимал участия в убийстве. Правда, он при нем присутствовал, и Шеммер — надсмотрщик на плантации, — вломившийся в бараки сразу после

убийства, застал его там с четырьмя или пятью другими китайцами. Но что из того? Чун Ха получил только две раны. Было ясно, что пять или шесть человек не могли нанести две ножевые раны. В крайнем случае, даже если каждый ударил по разу, дело было сделано не более чем двумя людьми.

Так рассуждал А Чжо, после того как он, вместе со своими четырьмя товарищами, дал ложное показание, а затем повторил его снова и снова. Они, мол, слышали шум и, так же, как и Шеммер, побежали к месту преступления. Они прибежали раньше Шеммера — вот и все. Правда, Шеммер показал, что, когда он проходил мимо и услышал шум, возле бараков никого не было, а войдя, он застал подсудимых уже на месте; следовательно, они не могли зайти незадолго перед тем, ибо он стоял у единственной двери, ведущей в барак. Но что из того? А Чжо и его товарищи вместе показали, что Шеммер ошибся.

В конце концов, их отпустят. Все они были в этом уверены. Нельзя отсечь голову пятерым из-за двух ножевых ран. Кроме того, ни один иноземный дьявол не видел убийства. Да и французы — такие дураки. В Китае — это А Чжо хорошо знал — чиновники повелели бы их всех пытать

и узнали бы истину. Истину чрезвычайно легко выведать под пыткой. Но эти французы не пытали: отчаянное дурачье! Поэтому-то они никогда и не узнают, кто убил Чун Ха.

Но А Чжо понимал не все. Английская компания, которой принадлежали плантации, сильно потратилась на то, чтобы привезти на Таити пятьсот кули. Акционеры настойчиво требовали дивидендов, а компания до сих пор еще таковых не платила; поэтому-то она и не желала, чтобы ее дорогостоящие наемные рабочие усвоили привычку убивать друг друга. Кроме того, тут были французы, страстно желавшие продемонстрировать «китаезам» достоинства и превосходство французских законов. Не было лучшего средства, как показать пример один раз — и надолго. Да и зачем существовала Новая Каледония, как не затем, чтобы посылать туда людей мучиться, доживая свой век, в наказание за человеческие слабости?

А Чжо всего этого не понимал. Он сидел в зале суда и ждал решения обманутого судьи, который, конечно, освободит его вместе с товарищами и вернет их на плантацию. Скоро это решение будет объявлено. Процесс подходил к концу. Это было ясно. Свидетелей уже допросили, и бол-

тология кончилась. Французские черти тоже, очевидно, устали и ждали приговора. Ожидая, он вспоминал то время, когда подписал контракт и отплыл на корабле к Таити. В его приморской деревне настало тяжелое время, и он считал себя счастливчиком, когда нанялся на пять лет работать в Тихом океане за пятьдесят мексиканских центов в день. В его деревне были мужчины, работавшие за десять мексиканских долларов в год, и женщины, которые круглый год плели сети за пять долларов; а в домах лавочников были девушки-служанки, получавшие четыре доллара за год службы. А тут ему должны были платить по пятьдесят центов в день. За один день, за один только день ему предстояло получать эту княжескую сумму! Что из того, что работа будет трудной? Зато по истечении пяти лет он вернется домой — так гласил контракт, — он вернется домой, и ему больше никогда не придется работать. Он станет богатым человеком, у него будет жена и собственный дом, появятся дети, которые станут почитать его, когда вырастут. А позади дома у него будет маленький садик — место для размышления и отдыха — с золотыми рыбками в крошечном бассейне и воздушными колокольчиками, звенящими в листве деревьев, а вокруг

он построит стену, чтобы размышлениям его и отдыху никто не мешал.

Так вот, из этих пяти лет он отработал три. Теперь он уже был зажиточным человеком (по меркам своей родины) благодаря своему заработку, и еще только два года — и с хлопковой плантации на Таити он уйдет к отдыху и размышлениям. Но в настоящий момент он терял деньги из-за несчастного случая, из-за того, что на его глазах убили Чун Ха. Три недели он провалялся в тюрьме, и в каждый из этих дней он потерял по пятьдесят центов. Но теперь скоро огласят приговор, и он вернется на работу.

А Чжо было двадцать два года. У него был веселый добродушный характер, он охотно улыбался. Тело его было, как у многих азиатов, стройным, а лицо — круглым, как луна, и светилось оно мягким дружелюбием, необычайным среди его соотечественников. Притом внешний вид его не был обманчив. Он никогда не бывал зачинщиком ссор, не участвовал в драках. В карты не играл. Душа его была недостаточно груба, чтобы быть душой игрока. Он довольствовался малым, и любимые его развлечения были очень примитивны. Тишина и покой после трудной работы на хлопковом поле доставляли ему бес-

конечное удовлетворение. Он мог сидеть часами, созерцая одинокий цветок и философствуя по поводу тайн и загадок бытия. Голубая цапля на узкой излучине песчаного берега, серебристые всплески убегающей рыбы, жемчужно-розовый закат, встающий над лагуной, — все это помогало ему забыть и бесконечную тяжелую работу, и тяжелый бич Шеммера.

Шеммер — Карл Шеммер — был скотиной, скотиной из скотин. Но он честно зарабатывал свое жалованье. Он выжимал последнюю каплю силы из пяти сотен рабов, ибо до окончания срока службы они были рабами. Шеммер работал вовсю, чтобы выжать силу из этих пятисот потеющих тел и превратить ее в тюки пушистого хлопка, готовые к экспорту. Именно его начальственная, непроницаемая как броня, примитивно-скотская грубость и давала ему возможность осуществить это превращение. Кроме того, он пользовался толстым кожаным бичом шириной в три дюйма, а длиной в один ярд; с бичом он ездил всегда, и бич, при случае, мог опуститься на голую спину смиренного кули с щелканьем, подобным пистолетному выстрелу. Это щелканье можно было слышать весьма часто, когда Шеммер ехал вдоль перепаханных полей.

Однажды, в начале первого года контракта, он убил одного кули ударом кулака. Не то чтобы он расшиб ему голову, как яичную скорлупу, но удар был достаточно силен, чтобы испортить все, что было в голове, и, проболев с неделю, человек умер. Но китайцы не пожаловались французским дьяволам, которые правили на Таити.

У них имелась на то своя точка зрения. Шеммер для них был проблемой. Они должны были избегать его гнева, как избегали яда сороконожек, подстерегавших их в траве или заползавших дождливой ночью в спальные бараки. «Чинки», как называли их беспечные коричневые островитяне, старались не вызывать у Шеммера слишком большое недовольство. А это означало — достичь наивысшей производительности труда. Упомянутый выше удар Шеммерова кулака принес компании тысячи долларов, и Шеммер не имел от этого никаких неприятностей.

Французы, не обладающие способностями к колонизации, любящие помечтать о развитии производительных сил на острове, были чрезвычайно рады успеху английской компании. Какое им дело до Шеммера и его грозного кулака? Умерший китаец? Но ведь это был только «китаеза»! Кроме того, он умер от солнечного удара,

как подтверждало свидетельство врача. Правда, во всей истории Таити никто не умирал от солнечного удара, но именно это и сделало смерть избитого китайца единственной и последней: доктор в своем отчете предупредил компанию. Он был чрезвычайно добродушен. Надо ведь было платить дивиденды, а не то новое банкротство добавилось бы к длинной серии таитянских банкротств.

Невозможно было понять этих белых дьяволов. А Чжо размышлял о неисповедимости их природы, сидя в зале суда в ожидании приговора. Никак нельзя было понять, что происходит в глубине их сознания. Он видел уже многих белых дьяволов. Все они были одинаковы: офицеры и матросы на корабле, французские чиновники, различные белые люди на плантации, включая и Шеммера. Их мысли работали по каким-то таинственным законам, которые невозможно было постичь. Они сердились без видимой причины, и гнев их всегда был опасен. В такие моменты они походили на диких зверей. Они хлопотали о ничтожных вещах, и при случае могли работать даже больше китайца. Умеренности они совсем не знали: были обжорами — невоздержанными в еде и еще более в напитках. Китаец никогда не мог угадать,

понравится ли им какой-нибудь поступок или вызовет бурю гнева. Что один раз нравилось — то другой раз вызывало вспышку негодования. За их зрачками была какая-то завеса, скрывавшая их мысли от взора китайцев. А над всем этим возвышалась ужасающая продуктивность белых дьяволов, их уменье делать любые вещи, пускать их в ход, добиваться нужных результатов, и даже стихии — и те подчинять своей воле.

Да, белые люди были необычайны и удивительны; они были дьяволами. Взгляните хоть на Шеммера.

А Чжо удивлялся, почему приговор так долго не выносят. Ни один из подследственных не коснулся Чун Ха, А Сан один убил его. А Сан сделал это так: одной рукой ухватив Чун Ха за косу, он оттянул его голову назад, а затем сзади, перекинув другую руку через его плечо, всадил нож в тело. Два раза он всадил нож. Здесь, в зале суда, А Чжо, закрыв глаза, воссоздавал картину убийства — перебранку, злобные слова, которыми обменивались они оба, позор и поношение, падавшие на голову почтенных предков, проклятия, посылаемые незачатым еще потомкам. Видел он прыжок А Сана, захват косы Чун Ха, нож, дважды погрузившийся в тело, с шумом открывшуюся дверь,

ворвавшегося Шеммера и бегство А Сана; взвившийся бич Шеммера, загнавший остальных в угол, и слышал револьверный выстрел — сигнал, призывавший к Шеммеру подкрепление. Переживая все это вновь, А Чжо содрогнулся. Один удар бича полоснул его по щеке, отхватив кусок кожи. Шеммер указал на рубец, когда опознал А Чжо при опросе свидетелей. Только теперь след стал незаметен. Вот это был удар: на полдюйма ближе к носу, и он вышиб бы ему глаз! Затем А Чжо позабыл обо всем происшествии, погрузившись в мысленное созерцание сада покоя и размышления, который станет его собственностью по возвращении на родину.

Он сидел с невозмутимым лицом, пока судья читал приговор. Равно невозмутимыми оставались и лица его четырех товарищей. Невозмутимыми они остались и тогда, когда переводчик объяснил, что все пятеро признаны виновными в убийстве Чун Ха — и что А Чжоу отрубят голову, а А Чжо отработает двадцать лет на каторге в Новой Каледонии, Вон Ли — двенадцать лет, А Тон — десять. Бесполезно было волноваться по этому поводу. Даже А Чжоу не выказал никаких признаков волнения — словно мумия, хотя голова, которую собирались отсечь, принадлежала ему. Судья

добавил несколько слов, а переводчик объяснил, что лицо А Чжоу, наиболее сильно пострадавшее от бича Шеммера, позволило совершенно безошибочно его опознать, и раз уж кто-нибудь один должен умереть, то лучше всего, чтобы это был он. Равным образом и то, что лицо А Чжо тоже пострадало, также доказывало его присутствие во время убийства и несомненное соучастие, за что он и заслужил двадцать лет каторжных работ. Так были объяснены мотивы всех приговоров, вплоть до десятилетнего заключения А Тона. Пусть китайцы примут к сведению этот урок, под конец добавил судья, ибо они должны понять, что закон будет исполняться на Таити, даже если обрушатся небеса.

Пятерых китайцев отвели обратно в тюрьму. Они не были ни потрясены, ни опечалены. Неожиданный приговор вполне соответствовал тому, к чему они привыкли, имея дело с белыми дьяволами. Китаец редко ждал от них чего-нибудь, кроме неожиданностей. Тяжкое наказание за преступление, которого они не совершали, было отнюдь не более странным, чем бесчисленные странные поступки белых дьяволов.

В последующие недели А Чжо часто созерцал А Чжоу с нежным любопытством. Ему долж-

ны были отсечь голову на гильотине, которую воздвигали на плантации; для него не будет ни быстротекущих лет, ни садов успокоения. А Чжо философствовал и размышлял о жизни и смерти. Относительно себя он не беспокоился. Двадцать лет — это только двадцать лет. Ровно настолько его сад отдалялся от него — вот и все. Он был молод, и азиатское терпение укоренилось у него в костях. Он мог ждать эти двадцать лет; а за это время жар в его крови потухнет, и он станет более достойным сада спокойной радости. Он придумал имя для него: Сад Утреннего Покоя. Он весь день был счастлив от этой мысли и вдохновился настолько, что сочинил притчу о благодетельной силе терпения, каковая притча была весьма утешительна, в особенности для Вон Ли и А Тона. А Чжоу, однако, не обратил на нее внимания: его голове предстояло отделиться от тела через столь короткий срок, что ему не требовалось терпения, чтобы дождаться этого события. Он хорошо ел, хорошо спал, хорошо курил и не заботился о медленном течении времени.

Жандарма звали Крюшо. Он двадцать лет отслужил в колониях, от Нигера и Сенегала до Тихого океана, но эта двадцатилетняя служба нимало не прояснила его туманный рассудок. Он остался

таким же тугодумом и тупицей, каким был во дни своей работы на полях южной Франции. Он знал дисциплину и страх перед начальством; для него между Богом и другими чинами, вплоть до сержанта жандармерии, разница была только в степени рабского послушания, которое он им оказывал. Фактически же сержант в его представлении был много важнее Бога, — за исключением воскресений, когда ходатаи перед Богом могли замолвить за него слово. Бог обычно был очень далек, в то время как сержант был тут же — под боком.

Этому-то Крюшо и вручили приказ председателя суда начальнику тюрьмы. В приказе предписывалось выдать преступника А Чжоу жандарму Крюшо. Случилось, однако, что председатель суда накануне угощал обедом капитана и офицеров французского крейсера. Рука его дрожала, когда он писал приказ, а глаза так ужасно болели, что он не перечитал написанного. Все равно — ведь он подписывал смертный приговор какому-то «китаезе». Так он и не заметил, что пропустил последнюю букву имени А Чжоу. В приказе стояло: «А Чжо», и когда Крюшо предъявил его, то начальник тюрьмы и вручил ему особу А Чжо. Крюшо посадил означенную особу

рядом с собой на скамейку повозки, запряженной двумя мулами, и поехал.

А Чжо был рад, что очутился на солнце. Он сидел подле жандарма и сиял. Он засиял еще ярче, когда заметил, что мулы сворачивают на юг к Антимаоно. Несомненно, Шеммер послал за ним, чтобы его привезли обратно. Шеммер хотел, чтобы он работал. Очень хорошо. Он будет превосходно работать. У Шеммера никогда не появится повод жаловаться.

День был жаркий. Они остановились. Мулы вспотели, Крюшо вспотел, и А Чжо вспотел. Но легче всех жару переносил А Чжо. Три года он проработал под этим солнцем на плантации. Он сиял, и сиял так радостно, что даже тугодум Крюшо пришел в изумление.

— Забавный ты человек, — сказал он наконец.

В противоположность судьям, Крюшо говорил с ним на языке канаков; а это наречие А Чжо понимал, так же как все китайцы и белые дьяволы.

— Ты слишком много смеешься, — пожурил его Крюшо. — Сердце человека в такой день должно обливаться слезами.

— Я рад, что вышел из тюрьмы.

— И это все? — Жандарм пожал плечами.

— Разве этого мало? — был ответ.

— Но ведь не радуешься же ты тому, что тебе отрубят голову?

А Чжо поглядел на него с внезапным изумлением и сказал:

— Как? Ведь я еду в Антимаоно, чтобы работать на плантации у Шеммера. Разве вы не везете меня в Антимаоно?

Крюшо в раздумье потянул себя за длинный ус.

— Так… так, — сказал он наконец, ударив бичом одного из мулов. — Значит, ты не знаешь?

— Чего не знаю? — А Чжо начинал ощущать смутное беспокойство. — Разве Шеммер больше не позволит мне работать?

— Только не после сегодняшнего дня, — от души рассмеялся Крюшо. Это была хорошая шутка. — Видишь ли, после сегодняшнего дня ты уже не в состоянии будешь работать. Человек с отрубленной головой не может работать, хе-хе…

Он дал китайцу пинок в ребро и затрясся от хохота.

А Чжо хранил молчание в течение одной мили пути. Затем он заговорил:

— Неужели Шеммер хочет отрубить мне голову?

Крюшо кивнул головой и осклабился.

— Это ошибка, — сказал серьезно А Чжо. — Я не тот китаец, которому должны отрубить голову, я — А Чжо. Достопочтенный судья постановил, что я должен пробыть двадцать лет в Новой Каледонии.

Жандарм рассмеялся. Это была хорошая шутка: этот смешной китаец пытался обмануть гильотину. Мулы миновали кокосовую рощу; и когда они ехали вдоль сверкающего моря, А Чжо снова заговорил:

— Повторяю, я не А Чжоу. Достопочтенный судья не сказал, что мою голову надо отрубить.

— Не пугайся, — сказал Крюшо с гуманным намерением ободрить арестанта. — Умереть таким образом совсем не больно. — Он прищелкнул пальцами. — Это делается быстро, вот так! Это не то, что висеть на конце каната, барахтаться и корчить рожи целых пять минут. Все равно что убить цыпленка тесаком. Отрубаешь ему голову — и все тут. То же и с человеком. Пуф! — и готово. Совсем не больно. Ты даже не думаешь, что больно. Ты вообще не думаешь. Твоя голова слетела — так что думать ты не можешь. Очень хорошо. Вот так бы я хотел умереть: быстро-быстро. Тебе повезло, что ты умрешь таким образом. Ты бы мог схватить проказу и медленно распадаться на

части — палец за пальцем. Я знал одного человека, который ошпарился кипятком. Он умирал целых два дня. За километр слышно было, как он кричал. А тебе что? Легко! Чик! — нож отрезает тебе голову. Вот так. И кончено. Возможно даже, что нож щекотный. Кто знает? Никто из умерших не возвращался назад, чтобы рассказать.

Эту последнюю шутку он счел дьявольски удачной и позволил себе сотрясаться от смеха целых полминуты. Веселость его после этого поубавилась, но он считал своим долгом поднять настроение китайца.

— Но я же вам говорю, что я А Чжо, — настаивал тот. — Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.

Крюшо нахмурился. Шутка зашла слишком далеко.

— Я не А Чжоу… — начал А Чжо.

— Ну, довольно, — перебил его жандарм. Он надул щеки и старался казаться сердитым.

— Я говорю вам, что я не… — снова начал А Чжо.

— Заткнись! — заорал Крюшо.

После этого они поехали дальше в молчании. От Папеэтэ до Антимаоно было двадцать миль, и они проехали половину пути, когда китаец снова заговорил.

— Я видел вас в зале суда, когда достопочтенный судья разбирался в нашей вине, — начал он. — Хорошо. Так вот, помните ли вы, что А Чжоу — тот, которому должны отрубить голову, — помните ли вы, что он, А Чжоу, был высокий человек? Взгляните на меня!

Он неожиданно встал, и Крюшо увидел, что он был маленького роста. И так же неожиданно перед Крюшо мелькнула фигура А Чжоу: да, кажется, А Чжоу был высоким. Для жандарма все китайцы были на одно лицо. Но между высоким и низким ростом он чувствовал разницу и понял, что рядом с ним на скамейке сидит не тот человек. Он резко остановил мулов, так что дышло дернулось вперед и потянуло за собой хомуты.

— Вы видите, это была ошибка, — сказал А Чжо улыбаясь.

Но Крюшо размышлял. Он уже жалел, что остановил повозку. Он не знал, что председатель суда ошибся, и догадаться об этом не мог; но он знал, что ему вручили этого китайца, чтобы отвезти его в Антимаоно. И знал, что он обязан отвезти его в Антимаоно. А что, если у него не тот человек и голову отрубят не тому, кому следует? Но, в конце концов, это был только «китаеза»! А что такое, в сущности, «китаеза»? Да к тому же, быть может,

и ошибки не было. Ведь ему ничего не было известно о намерениях начальства. Они там лучше знали свое дело. Кто он такой, чтобы думать за них? Однажды, давным-давно, он было пытался подумать за них, но сержант сказал ему: «Крюшо, ты дурак! Чем раньше ты это поймешь, тем лучше для тебя. Не твое дело думать: твое дело слушаться и предоставить думать тем, кто поблагороднее». Он страдал от этого воспоминания. К тому же, если он вернется в Папеэтэ, то задержит казнь в Антимаоно, и если он без достаточного основания повернет назад — то получит выговор от сержанта, ожидающего преступника. Кроме того, он и в Папеэтэ тоже получил бы выговор.

Он хлестнул мулов бичом и покатил дальше. Затем взглянул на часы. Уже сейчас он опаздывал на полчаса, и сержант непременно рассердится. Он погнал мулов быстрее. Чем больше А Чжо настаивал, тем упрямее становился Крюшо. Уверенность, что с ним едет не тот «китаеза», не улучшила его настроения; уверенность же, что это произошло не по его вине, утверждала его во мнении, что он поступает правильно. Чтобы избежать недовольства сержанта, он охотно помог бы казнить десять невинных китайцев.

Что же касается А Чжо, то, после того как жан-

дарм хватил его по голове рукояткой бича и сердито приказал заткнуться, ему больше ничего не оставалось, как именно заткнуться. А Чжо размышлял о странных поступках белых чертей. Для них нельзя было придумать никакого объяснения. То, что они с ним делали, — было так похоже на все то, что они вообще делали. Сначала они осудили пять невинных людей, а теперь хотят отрубить голову человеку, которого сами же считали заслуживающим не более двадцати лет каторги. Тут он ничего не мог поделать. Он только мог сидеть смирно и принять все, что эти господа жизни ему уготовили. На одну минуту он впал в панический страх и покрылся холодным потом; но он справился с этим. Он старался примириться со своей участью, вспоминая и повторяя некоторые места из «Трактата о Спокойствии»; но вместо того он все время видел перед собой свой воображаемый сад размышления и покоя. Это тревожило его до тех пор, пока он не отдался этой мечте и не очутился в своем саду, слушая перезвоны колокольчиков в ветвях деревьев. И вот, сидя так, погруженный в свою мечту, он уже был в состоянии вспомнить некоторые отрывки из «Трактата о Спокойствии».

Так приятно проходило время, пока они не

достигли Антимаоно и мулы не подъехали к самому подножию эшафота, у которого стоял нетерпеливый сержант. А Чжо втолкнули вверх по лестнице на эшафот. Позади него он увидел всех кули плантаций, которых согнали туда. Шеммер решил, что это событие — прекрасный наглядный урок, и поэтому согнал кули с полей и заставил их присутствовать при казни. Увидев А Чжо, они стали перешептываться между собой. Они поняли, что произошла ошибка, но хранили это при себе. Непонятные белые дьяволы, без сомнения, изменили решение. Вместо того чтобы лишить жизни одного невинного человека, они убивали другого невинного. А Чжо или А Чжоу, не все ли равно — кто? Они никогда не могли понять белых собак — так же как белые собаки не могли понять их. А Чжо отрубят голову, но они — через два года рабства — вернутся в Китай.

Шеммер сам соорудил гильотину. Он был человек умелый, и хотя никогда раньше гильотины не видал, но французские власти объяснили ему устройство. По его предложению они назначили казнь в Антимаоно, а не в Папеэтэ. Лучше всего, доказывал Шеммер, наказывать именно там, где было совершено преступление; вдобавок это окажет благодетельное влияние на пятьсот

китайцев, работающих на плантациях. Шеммер предложил также свои услуги в качестве палача и, как таковой, стоял теперь на помосте, испытывая построенное им орудие. Ствол бананового дерева, равного по диаметру и по упругости человеческой шее, лежал на гильотине. А Чжо смотрел на него завороженно. Немец, поворачивая рукоятку небольшого вала, поднял лезвие к верху сооруженных им маленьких козел. Дернув толстый канат, он освободил нож, и тот, сверкнув в воздухе, чисто рассек пополам банановый ствол.

— Как работает? — Этот вопрос задал сержант, поднявшийся на помост.

— Великолепно! — с восторгом отвечал Шеммер. — Давайте я вам покажу!

Он снова стал вращать рукоятку, поднимавшую нож, потянул за веревку и с шумом опустил нож на мягкое дерево. Но на этот раз он врезался не глубже чем на две трети. Сержант нахмурился.

— Это не годится!

Шеммер отер пот со лба.

— Нужен больший противовес, — объявил он.

Подойдя к краю помоста, он приказал кузнецу принести кусок железа в двадцать пять фунтов. Когда он отошел, чтобы привязать железо к ту-

пому концу ножа, А Чжо поглядел на сержанта и понял, что может воспользоваться случаем.

— Достопочтенный судья сказал, что нужно отрубить голову А Чжоу, — начал он.

Сержант нетерпеливо кивнул головой. Он думал о том, что ему после обеда придется проскакать пятнадцать миль до наветренной стороны острова, думал и о метиске Берте — хорошенькой дочери торговца жемчугом Лафьера, — ожидавшей его в конце этого пути.

— Так вот, я не А Чжоу, я — А Чжо. Достопочтенный тюремщик допустил ошибку. А Чжоу — высокий человек, а я, как видите, маленький.

Сержант быстро взглянул на него и увидел ошибку.

— Шеммер! — властно позвал он. — Подойдите сюда.

Немец проворчал что-то в ответ, но оставался на месте, склонившись над своей работой, до тех пор, пока не привязал железную болванку так, как ему хотелось.

— Готов ваш «китаеза»? — спросил он.

— Поглядите на него, — был ответ. — Тот ли это китаец?

Шеммер удивился. Он сочно ругался в течение нескольких секунд и с сожалением покосился на

дело рук своих, которое ему не терпелось увидеть в работе.

— Видите ли, — сказал он наконец, — мы не можем отложить это дело. Эти пятьсот кули и так три часа не работали. Я не могу больше терять времени из-за всей этой истории. Давайте совершим всю процедуру сейчас, ведь это только «китаезы».

Сержант вспомнил предстоящую ему длинную поездку, дочку торговца жемчугом и стал рассуждать сам с собой.

— Они накажут Крюшо, если дело откроется, — подзадоривал немец. — Только мало шансов, чтобы оно открылось. А Чжоу во всяком случае не выдаст.

— Вина все равно не падет на Крюшо, — сказал сержант. — Это, наверное, ошибка тюремщика.

— В таком случае, приступим. Они не могут к нам придраться. Кто может отличить одного «китаезу» от другого? Мы можем сказать, что только выполнили приговор над тем китайцем, которого нам привели. Кроме того, я, право, не могу вторично оторвать всех этих кули от работы.

Они говорили по-французски, но А Чжо, ни слова не понимавший, все же знал, что решается его судьба. Он знал также, что решение зависит

от сержанта, и не сводил взгляда с его губ.

— Ладно, — объявил сержант. — Валяйте! Ведь это только «китаеза».

— Я хочу еще раз попробовать для верности.

Шеммер подвинул банановый ствол вперед под нож, который подтянул до верха козел.

А Чжо пытался вспомнить изречения из «Трактата о Спокойствии». «Живите в согласии», вспомнилось ему, но это не подходило: ему не придется жить, ему придется умереть. Итак, это не подходило. «Прощай злобу»... Да, но здесь не было злобы. Шеммер и остальные совершали все это без злобы. Для них это было просто работой, которую нужно было сделать, — совсем как корчевка зарослей, рытье канав и посадка хлопка. Шеммер потянул за веревку, и А Чжо позабыл «Трактат о Спокойствии». Нож со стуком упал и чисто разрезал дерево.

— Великолепно, — воскликнул сержант, закуривая папиросу, — великолепно, мой друг!

Шеммеру очень польстила похвала.

— Подойди, А Чжоу, — сказал он по-таитянски.

— Но я не А Чжоу, — начал А Чжо.

— Молчать! — услышал он. — Если ты еще раз откроешь рот, я разобью тебе голову.

Надсмотрщик погрозил ему сжатым кулаком, и

он замолчал. Какой смысл протестовать? У этих иноземных дьяволов на все был свой ответ. Он позволил привязать себя к вертикальной доске, по длине равнявшейся его телу. Шеммер завязал узлы крепко, так крепко, что веревка болезненно врезалась в его плоть. Но он не жаловался. Боль не будет долго продолжаться. Он почувствовал, как доска, повернувшись в воздухе, приняла горизонтальное положение, и закрыл глаза. В этот момент ему в последний раз привиделся сад покоя и размышления. Ему казалось, что он сидит в этом саду. Веял прохладный ветер, и колокольчики в листве тихо звенели. И птицы тихим щебетанием навевали сон, и из-за высокой стены раздавался приглушенный шум деревенской жизни. Затем он ощутил, что доска перестала вращаться, и по напряжению мускулов понял, что лежит на спине. Он открыл глаза. Прямо над собой он увидел подвешенный нож. Ему бросился в глаза добавочный груз, и он заметил, что один из Шеммеровых узлов развязался. Затем он услышал команду сержанта. А Чжо поспешно закрыл глаза. Он не хотел видеть, как падает нож. Но он почувствовал это в одно мимолетное мгновение. И в этот момент он вспомнил Крюшо и то, что Крюшо сказал. Но Крюшо ошибался. Нож вовсе

не щекотал. Это он ясно понял перед тем, как вообще перестал что бы то ни было понимать.

Держи на запад

Что бы ни случилось — держи на запад!.. Держи на запад!

Лоция для мыса Горн

Семь недель «Мэри Роджерс» болталась между пятидесятым градусом южной широты в Атлантическом океане и пятидесятым градусом южной широты в Тихом океане, а это значит, что в течение семи недель она выбивалась из сил, чтобы обогнуть мыс Горн.

Целых семь недель она боролась со штормом или уходила от шторма, кроме одного случая, когда после тяжелых шести дней нашла прибежище у грозных берегов Огненной Земли, да и то едва не села на мель во время внезапно наступившего штиля. Семь недель она боролась с бурунами мыса Горн и получала от них в отместку толчки и пощечины. Она была деревянным судном, и непрерывные усилия ослабили сшивку, так что два раза в день команда вставала к насосам.

«Мэри Роджерс» устала, команда устала, и Дэн Келлен, шкипер, тоже устал. Быть может, он устал больше всех, ибо на нем лежала ответственность

за эту титаническую борьбу. Спал он по большей части одетым, да и вообще ему редко приходилось спать. Он то и дело возникал на палубе, как большое, грузное, коренастое привидение, почерневший от загара за тридцать лет жизни на море и волосатый, как орангутанг. А в голове у него непрерывно крутилась строка из лоции для капитанов, плавающих у мыса Горн: «Что бы ни случилось — держи на запад! Держи на запад!» Это было наваждение.

Ничто иное ему не приходило в голову, кроме, пожалуй, одного: проклинать Бога, пославшего такую мерзкую погоду.

«Держи на запад!» Он огибал Горн и раз двенадцать ложился в дрейф, так что железный мыс оказывался на двадцать миль к северо-востоку; и каждый раз западный ветер относил его назад, и он невольно возвращался на восток. Он с боем отступал при каждом порыве ветра на юг, до шестьдесят четвертого градуса, в самую гущу антарктических плавучих льдов, и готов был продать свою бессмертную душу за то, чтобы хоть немного продвинуться к западу.

Напрасно. Его относило к востоку. В отчаянии он сделал попытку пройти через пролив Ле Мера. Не прошли и половины пути, как ветер подул

— северо-западный ветер, барометр упал до 28,88 дюйма и пришлось, повернув назад, убегать от бешеного циклона, который едва-едва не посадил «Мэри Роджерс» на чернозубые скалы. Два раза он сворачивал к западу, к скалам Диего Рамирес; во время одной из этих попыток он спасся лишь благодаря тому, что в промежутке между двумя снежными шквалами вовремя увидел кладбище кораблей прямо перед собой, на расстоянии четверти мили.

Ну и ветер был! Капитан Дэн Келлен перебрал в памяти все тридцать лет своей морской службы и понял, что такого ветра никогда он прежде не видывал. «Мэри Роджерс» дрейфовала в тот момент, когда он думал об этом, и, как бы в подтверждение его слов, через полчаса она погрузилась в воду до самых люков. Ее новый грот и новехонький спенкер были сорваны, как папиросная бумага, и пять парусов, свернутых и укрепленных под двойными ревантами, ветер размотал и сорвал с рей. До наступления зари «Мэри Роджерс» погрузилась еще два раза, и пришлось прорубить отверстия в фальшборте, чтобы хоть немного освободить палубу от массы воды, придавливавший корабль ко дну.

Приблизительно раз в неделю капитан Дэн

Келлен урывками видел солнце. Однажды в полдень солнце сияло целых десять минут, а еще через десять минут уже завывала новая буря, обе вахты убавляли паруса, и все вокруг погрузилось во мрак продолжительного снежного шквала. В течение трех недель капитан Дэн Келлен не мог заниматься вычислениями. Редко когда он знал свое местоположение с точностью больше чем полградуса, если не находился в виду берега, ибо солнце и звезды оставались скрытыми за облаками, и было так темно, что наблюдения были почти невозможны. Серая мгла заволокла мир: серые тучи и огромное, волнующееся, свинцово-серое море; пенистые волны казались серым взбитым маслом; пролетали серые альбатросы, и даже хлопья снега были серыми под серым покровом туч.

Жизнь на «Мэри Роджерс» тоже была серой — серой и сумрачной. Лица моряков приняли темно-серый оттенок; все они были покрыты ранами и волдырями и невыносимо страдали. То были не люди, а тени. Семь недель их одежда не просыхала, ни одной вахты они не спали спокойно, каждый раз слыша: «Все на палубу!» Они ловили обрывки беспокойного сна, спали в своих клеенчатых одеждах, всегда готовые броситься на

зов. Они смертельно устали и измучились, и требовалось две вахты, чтобы сделать работу одной. И ни одна из этих человеческих теней не могла увильнуть от своих обязанностей. Человек должен был, по меньшей мере, сломать ногу, чтобы освободиться от работы; двое были опрокинуты и искалечены ринувшимся на палубу валом.

Одной из таких человеческих теней был Джордж Дорти — единственный пассажир на борту; он был другом владельца судна и решил совершить путешествие для поправки здоровья. Но семь недель, проведенных у мыса Горн, не поправили его здоровья. Он вздыхал и охал на своей койке во время долгих бурных ночей. А выходя на палубу, так кутался, что напоминал лавку старьевщика. В полдень, обедая в кают-компании (было так темно, что приходилось зажигать висячие лампы), он выглядел таким же иссиня-серым, как самый больной и измученный матрос на нижней рее фок-мачты. Вид капитана Дэна Келлена тоже не мог его ободрить. Капитан Дэн Келлен жевал, хмурился и хранил молчание. Хмурился он на Бога, и с каждым глотком повторял про себя единственную мысль, овладевшую всем его существом: «Держи на запад!» Он был большой волосатой скотиной, и вид его не воз-

буждал аппетита у сотрапезника. Он считал, что именно из-за Джорджа Дорти, как из-за библейского Ионы, начались все его беды, и повторял ему это каждый раз за трапезой, все хмурясь, то ли из-за Господа Бога, то ли из-за пассажира.

Старший помощник тоже не мог прибавить ему аппетита. Звали его Джошуа Хиггинс. Моряк по профессии и по необходимости, судомойка по призванию, он был расхлябанным, гнусавым созданием. Бессердечный, бездушный, эгоистичный и трусливый, дрожащий за свою шкуру перед Дэном Келленом и грубый с матросами, знавшими, что за спиной помощника стоит капитан Келлен. Пока длились эти бури на южном краю земли, Джошуа Хиггинс не умывался. Его чумазая физиономия обычно лишала Джорджа Дорти последних остатков с трудом накопленного аппетита. В другое время эта небрежность в отношении умывания заставила бы поупражняться язык капитана Келлена; но в настоящий момент капитан помнил только «держи на запад!» — и больше ничего. После, когда они достигнут пятидесятого градуса южной широты в Тихом океане, Джошуа Хиггинс сразу же умоется. А до тех пор в кают-компании, где серые сумерки разбавлял ламповый свет, Джордж Дорти сидел

между этих двух людей — между тигром и гиеной — и удивлялся, зачем Господь создал их. Второй помощник — Мэтью Тернер — был подлинным моряком и настоящим человеком; но Джордж Дорти был лишен возможности найти утешение в его обществе, ибо тот ел отдельно, в одиночестве, по окончании обеда.

В субботу утром, 24 июля, Джордж Дорти проснулся и почувствовал, что корабль ожил и стремительно движется вперед. Взойдя на палубу, он увидел, что «Мэри Роджерс» мчится, подгоняемая воющим юго-восточным ветром. Парусов, кроме нижних марселей и фокселя, не было. Только их она и могла нести, и все же делала четырнадцать узлов (это мистер Тернер крикнул Дорти в ухо, когда тот вышел на палубу), держа курс на запад.

Наконец-то она обогнет Горн… если ветер не спадет. Мистер Тернер казался счастливым. Скоро конец борьбе. Но капитан Келлен счастливым не казался. Проходя мимо Дорти, он бросил на него мрачный взгляд. Капитан Келлен не хотел, чтобы Бог знал, что он доволен ветром. Бога он представлял существом весьма злокозненным и в глубине души был уверен: знай только Бог, что этот ветер ему желателен, и он быстро его пре-

кратит и пошлет шторм с запада. Так раздумывал он не спеша перед лицом Господа, скрывая свою радость под хмурыми взглядами и негромкими проклятиями, надувая таким образом Бога, ибо Бог был единственным в мире существом, которого Дэн Келлен боялся.

В течение всей субботы и ночи на воскресенье «Мэри Роджерс» неслась на запад. Неукоснительно она отмеряла свои четырнадцать узлов, так что к утру воскресенья покрыла триста пятьдесят миль. Если ветер будет держаться, она обогнет мыс. Если же нет, если ветер подует с северо-запада или севера, — она будет отброшена обратно и очутится в таком же положении, как и семь недель назад. И вот в воскресенье утром ветер стал спадать. Море улеглось и мягко колебалось. Обе вахты были на палубе и ставили парус за парусом. А капитан Келлен теперь разгуливал перед лицом Господа, весь сияя, куря огромную сигару и восторженно улыбаясь, точно спадающий ветер его радовал, в то время как в глубине души злился на Бога за то, что тот отнимал жизнь у благодатного ветра. «Держи на запад!» Он бы и держал, если бы только Бог оставил его в покое. Втайне он снова посулил свою душу силам мрака, если они позволят ему держать на запад. Он

закладывал себя с легкой душой, ибо не верил в силы мрака.

На самом деле он верил только в Бога, хотя и не знал об этом. Но в его извращенном религиозном представлении Бог был некем иным, как князем тьмы. Капитан Келлен был дьяволопоклонником; только дьявола он звал другим именем — вот и все.

В полдень, после восьми склянок, капитал Келлен скомандовал:

— Поднять бом-брамсели! — Люди вскарабкались наверх быстрее, чем когда-либо за все эти недели. И не только из-за курса на запад, но и потому, что сияло благодатное солнце, согревая их окостеневшие тела.

Джордж Дорти стоял на корме возле капитана Келлена, менее укутанный, чем обыкновенно, впитывая ласковое тепло и наблюдая за происходящим. Это случилось быстро и неожиданно. Раздался крик с бом-брам-реи:

— Человек за бортом!

Кто-то бросил через борт спасательный круг, и в тот же миг раздался взволнованный голос второго помощника:

— Держи против ветра!

Рулевой не повернул штурвал. Он знал, что де-

лал, ибо бок о бок с ним стоял капитан Келлен. О, он бы и рад был повернуть штурвал ради товарища, тонувшего в море. Он посмотрел на капитана Дэна Келлена, но тот не подал знак.

— Держи против ветра! — кричал второй помощник, вскакивая на корму.

Но он остановился, увидев Дэна Келлена у штурвала. А капитан попыхивал сигарой и молчал. За кормой еще был виден матрос, но он отставал все больше. Он поймал спасательный круг и вцепился в него. Все молчали. Никто не двигался. Люди на мачтах припали к брам-реям и наблюдали с застывшими от ужаса лицами. А «Мэри Роджерс» неслась вперед, держа курс на запад. В молчании прошла долгая минута.

— Кто это был? — спросил капитан Келлен.

— Монс, сэр, — поспешно ответил рулевой.

Монс уже почти скрылся в волнах.

Волны были большие, но это были не буруны. Шлюпка могла бы свободно плыть по такому морю. И «Мэри Роджерс» могла бы подойти к бедняге. Но нельзя было одновременно и подойти к нему, и держать курс на запад.

И первый раз в своей жизни Джордж Дорти видел настоящую драму жизни и смерти — драму, где на чашах весов колебались неизвестный

матрос по имени Монс и несколько миль долготы. Сначала он наблюдал за человеком позади корабля, но теперь следил за Дэном Келленом — черным и волосатым, облеченным властью над жизнью и смертью и курившим сигару.

Капитан Келлен продолжал курить в течение еще одной долгой минуты. Тогда он вынул сигару изо рта. Он поглядел вверх, на стеньги «Мэри Роджерс», а затем — через борт, на море.

— Натянуть бом-брамсели! — крикнул он.

Спустя четверть часа они сидели в кают-компании за накрытым столом. По одну сторону от Джорджа Дорти сидел Дэн Келлен — тигр, по другую — Джошуа Хиггинс, гиена. Все молчали. Наверху матросы натягивали верхние паруса, и Джордж Дорти мог слышать их крики. И неотступно его преследовало видение: человек по имени Монс, живой и здоровый, вцепившийся в спасательный круг, на много миль позади корабля, в пустынном океане. Он взглянул на капитана Келлена, и его затошнило: этот человек ел с большим аппетитом, перемалывая пищу зубами.

— Капитан Келлен, — сказал Дорти, — вы — командир судна, и мне не пристало критиковать ваши действия. Но одно я хочу сказать: загробная жизнь есть, и вам будет там очень жарко.

Капитан Келлен даже не нахмурился и сказал с сожалением:

— Дул сильный ветер. Невозможно было спасти человека!

— Он упал с брам-реи, — сказал Дорти, — вы в это время поднимали бом-брамсели. Через пятнадцать минут вы подняли верхние паруса.

— Дул сильный ветер, не правда ли, мистер Хиггинс? — сказал капитан Келлен, обращаясь к помощнику.

— Если бы вы подвели ее к матросу, ветер сбил бы все мачты, — ответил помощник. — Вы правильно поступили, капитан Келлен.

Джордж Дорти не ответил, и до конца обеда все молчали. После этого Дорти стали подавать еду в каюту. Капитан Келлен больше не хмурился на него, хотя с того момента они не сказали друг другу ни слова. А «Мэри Роджерс» все спешила на север — к более теплым широтам. В конце недели Дэн Келлен остановил Дорти на палубе.

— Что вы собираетесь делать, когда мы приедем в Фриско? — спросил он напрямик.

— Я собираюсь добиваться приказа о вашем аресте, — спокойно ответил Дорти. — Я собираюсь обвинить вас в убийстве и хочу посмотреть, как вас будут вешать.

— А вы очень уверены в себе, — презрительно усмехнулся капитан Келлен, поворачиваясь на каблуках.

Прошла еще неделя. Однажды Джордж Дорти стоял на входе в кают-компанию и обозревал палубу. «Мэри Роджерс» шла без крена, при свежем ветерке. Все паруса были подняты, включая и стаксели. Капитан Келлен шел к носу, вдоль кормы. Он шел беззаботно, краем ока поглядывая на пассажира. Дорти смотрел в другую сторону, высунув из каюты голову и плечи, так что можно было видеть только его затылок. Капитан Келлен быстрым взглядом окинул грот-стакселя и голову пассажира, определяя расстояние. Он огляделся вокруг. Никто на него не смотрел. Позади Джошуа Хиггинс, прохаживавшийся взад и вперед, как раз в этот момент повернулся спиной и пошел в обратную сторону. Капитан Келлен неожиданно перегнулся и снял край стакселя со шпинька. Тяжелый блок, раскачиваясь, промелькнул в воздухе, раздробил голову Дорти, как яичную скорлупу, и продолжал раскачиваться взад и вперед, в то время как стаксель болтался по ветру.

Джошуа Хиггинс обернулся, чтобы посмотреть, что оборвалось, и получил от капитана залп смачных ругательств.

— Я сам укрепил шкот, — проскулил помощник, дождавшись первой передышки, — и специально проверял. Я ясно помню.

— Укрепил? — орал в ответ капитан в назидание команде, старавшейся поймать развевающийся парус, прежде чем он будет разорван в клочки. — Вы не смогли бы укрепить своей бабушке — вы — негодный дьявольский поваренок! Если вы укрепили этот шкот, да еще и проверяли — какого же черта он не держится? Вот что я хотел бы знать. Да, какого черта он не держится?

Помощник нечленораздельно скулил.

— Заткнитесь! — закончил свою речь капитан Келлен.

Через полчаса, когда труп Джорджа Дорти нашли на полу кают-компании, он был удивлен не менее других. После обеда, один в своей каюте, он занес в судовой журнал:

«Матрос Карл Монс, — писал он, — в шторм свалился через борт с брам-реи. Шли полным ходом, и ради безопасности корабля я не решился повернуть при таком ветре. И шлюпки нельзя было спустить на воду из-за волнения».

На другой странице он написал:

«Часто предупреждал мистера Дорти об опасности, которой он подвергался из-за своей

неосторожности на палубе. Однажды я сказал ему, что когда-нибудь блок размозжит ему голову. Небрежно укрепленный шкот был причиной несчастного случая, о чем глубоко сожалею, так как мистер Дорти был у нас общим любимцем».

Капитан Келлен с восхищением перечитал свое литературное упражнение, промокнул страницу и закрыл журнал. Затем зажег сигару и посмотрел прямо перед собой. Он почувствовал, как «Мэри Роджерс» поднялась, накренилась и понеслась вперед, и знал, что она делает девять узлов.

Улыбка удовлетворения медленно разгоралась на его черном, волосатом лице.

Что бы там ни случилось, он все время держал на запад — и надул Бога.

«Френсис Спейт» Рассказ об истинном происшествии

«Френсис Спейт» шел под одним только крюйселем, когда все это произошло. Причиной катастрофы была не столько небрежность, сколько недисциплинированность матросов и то обстоятельство, что они были, по меньшей мере, равнодушны к морской службе. В частности, рулевой, уроженец Лимерика, не имел никакого морского опыта, если не считать сплав леса по Шаннону от квебекских судов до берега устья. Он пугался гигантских волн, которые поднимались из мрака за кормой и обрушивались на нее, и чаще пытался спрятаться от них, вместо того чтобы держать штурвал в руках, направляя бег корабля им навстречу.

Было около трех часов утра, когда его поведение, недостойное моряка, вызвало катастрофу. При виде вала более высокого, чем все остальные, он струсил и выпустил из рук штурвал. «Френсис Спейт» повернулся, его корма поднялась над водой и приняла на себя всю мощь удара волн. В следующее мгновение он очутился в яме между

двумя валами, причем его палуба оказалась погребена под водой, так что вода была на высоте люков, и волна за волной перемахивали через наветренные перила и заливали все, что осталось на палубе, ледяными потоками.

Матросы совершенно растерялись. В своей беспомощности они отупели от страха и держались только одного твердого решения — не исполнять приказаний. Одни хныкали, другие молча цеплялись за наветренные ванты, а третьи бормотали молитвы или изрыгали гнусные проклятия; ни капитан, ни помощник не могли заставить их приложить руку к насосам или поставить паруса, чтобы корабль мог противостать волнам и ветру.

В течение часа судно лежало на боку, а трусливые лентяи ползали по нему и цеплялись за снасти. Когда оно опрокинулось, помощник захлебнулся в кают-компании, равно как и два матроса, искавшие убежища на баке.

Помощник был самым дельным человеком на судне, и капитан был теперь почти столь же беспомощен, как и матросы. Он ничего не делал, а только проклинал их за тунеядство. Один матрос по имени Маэни, родом из Белфаста, и юнга О'Брайен из Лимерика догадались срубить

фок-мачту и грот-мачту. Совершили они это с риском для жизни на перпендикулярно стоящей палубе опрокинутого корабля, перебросив крюйс-стеньгу через борт. «Френсис Спейт» выпрямился. Хорошо, что он был нагружен строевым лесом, иначе он пошел бы ко дну, так как зачерпнул уже много воды. Грот-мачта, все еще державшаяся на вантах, била, как громовой молот, по борту корабля, и каждый удар вызывал у матросов стоны.

Заря взошла над бушующим океаном, и в холодном сером свете над водой виднелись только корма корабля, сломанная бизань-мачта и изуродованные фальшборты. Стояла самая середина зимы на севере Атлантического океана, и несчастные люди замерзали. Но не было места, где они могли бы укрыться. Волны перекатывались через разбитое судно, смывая с их тел налипшую соль и покрывая их новым налетом соли. Кают-компания была полна воды до колен; но здесь, по крайней мере, можно было найти убежище от ледяного ветра, и здесь сгрудились оставшиеся в живых, стоя на ногах, держась за мебель и опираясь друг на друга.

Тщетно Маэни пытался установить смену вахтенных, чтобы с бизань-мачты не пропустить случайного корабля. Ледяной ветер был им

невыносим, и они предпочитали убежище в кают-компании. О'Брайен, юнга всего пятнадцати лет от роду, сменял Маэни на обледенелой рее. Этот-то мальчик и закричал в три часа пополудни, что завидел парус. Крик выманил их из кают-компании, и они облепили перила кормы и наветренные ванты бизани, глядя на чужой корабль. Но он проходил недостаточно близко, и когда исчез за горизонтом, они, дрожа от холода, вернулись в кают-компанию, и ни один из них не предложил вахтенному сменить его на верхушке мачты.

Но под конец второго дня Маэни и О'Брайен отказались от своих попыток, и после этого судно стало носиться по ветру без всякого управления и без вахты. В живых осталось тринадцать человек, и в течение семидесяти двух часов они стояли в кают-компании по колено в хлюпающей воде, замерзшие, голодные, с тремя бутылками вина, которые они кое-как поделили между собой. Вся провизия и пресная вода находились внизу, и никак нельзя было добраться до них, ибо судно было почти все залито водой. Дни проходили, а во рту у них не было ни куска пищи. Пресную воду они могли добывать, поставив суповую миску у подножия бизань-мачты. Но дождь шел редко,

и им приходилось тяжко. Когда шел дождь, они смачивали носовые платки и затем выжимали их себе в рот и в башмаки. Когда ветер и волнение несколько улеглись, они могли собирать пресную воду с палубы, теперь не заливаемой волнами. Но все же у них не было ни пищи, ни какой-либо надежды ее достать, хотя морские птицы беспрестанно пролетали над судном.

В тихую погоду они шли по ветру. Простояв на ногах девяносто шесть часов, они смогли найти в кают-компании сухие доски и улечься на них. Но от соленой воды на их ногах появились язвы, чрезвычайно болезненные. Малейшее прикосновение или трение вызывало острую боль, а в каюте было так тесно, что они постоянно друг друга толкали. Никто не мог пошевелиться без того, чтобы не вызвать поток ругательств, проклятий и стонов. Так велики были их мучения, что сильные стали сталкивать слабых с сухих досок, предоставляя им устраиваться, как знают, в сырости и холоде. Особенно скверно обращались с юнгой О'Брайеном. Хотя на корабле было еще трое юнг, на долю О'Брайена выпадало наибольшее количество оскорблений. Это можно было объяснить только тем, что по натуре он был более независимым, чем другие юнги, и упорнее отста-

ивал свои права, острее чувствуя мелкие обиды. Всякий раз, когда О'Брайен подходил к матросам в надежде устроиться на сухом местечке, чтобы выспаться, его толкали и били. В ответ он ругал их за хамское себялюбие, и толчки, удары, ругательства сыпались на него градом. Несчастный, как и все они, он становился еще несчастнее. И только горевший в нем с необычайной силой огонь жизни помогал ему не сломиться.

Дни шли, и матросы все слабели. Усиливалась их раздражительность, и все хуже они обращались с О'Брайеном. На шестнадцатый день все уже совершенно изнемогали от голода и стали перешептываться, изредка поглядывая на О'Брайена. Около полудня собрался совет. Капитан был председателем. Все сошлись на корме.

— Ребята, — начал капитан, — мы уже долго сидим без еды: две недели и два дня, но нам они кажутся двумя годами и двумя месяцами. Мы дольше не сможем выдержать. Это выше человеческих сил — голодать так долго. Серьезного рассмотрения заслуживает следующий вопрос: лучше ли умереть одному или всем? Мы стоим одной ногой в могиле. Если один из нас умрет, остальные смогут выжить, пока не покажется какой-нибудь корабль. Что скажете?

Майкл Биэйн, матрос, стоявший у руля во время крушения «Френсиса Спейта», крикнул, что это правильная мысль. Остальные присоединились к нему.

— Пусть это будет юнга! — крикнул Сэлливен, уроженец Тарберта, многозначительно взглянув при этом на О'Брайена.

— Я думаю, — продолжал капитан, — что доброе дело совершит тот, кто умрет для общего блага.

— Доброе дело! Доброе дело! — закричали матросы.

— И думаю я, лучше всего умереть кому-нибудь из юнг. Им не надо кормить семью. У нас ведь есть жены и дети.

— Это верно. Совершенно верно. Так и надо поступить, — перешептывались матросы.

Но юнги громко восстали против такой несправедливости.

— Наши жизни так же дороги нам, как и ваши — вам, — протестовал О'Брайен. — А что до жен и до детей — так кто, кроме меня, позаботится о моей старой матери, вдове? Ты это хорошо знаешь, Майкл Биэйн, ведь ты из Лимерика. Это бесчестно! Давайте все бросим жребий, и матросы, и юнги.

Маэни был единственным, кто подал голос в

защиту мальчиков, заявляя, что, по совести, все должны быть в одинаковом положении. Сэлливен и капитан настаивали на том, чтобы жребий бросали только юнги. Началась перебранка. И внезапно Сэлливен набросился на О'Брайена.

— Давно пора избавиться от тебя, ты этого стоишь. Это будет тебе по заслугам, и по заслугам мы с тобой и поступим.

Он шагнул к О'Брайену с намерением схватить его и тут же с ним расправиться. Стали на него напирать и другие. Он попятился от них, крича, что согласен на то, чтобы жребий тянули только юнги.

Капитан сделал четыре палочки разной длины и вручил их Сэлливену.

— Ты, может, думаешь, что жеребьевка будет нечестной, — закричал тот О'Брайену. — Хорошо, ты сам будешь назначать жребий.

На это О'Брайен согласился. На глаза ему надели повязку, так что он ничего не видел, и он стал на колени на палубе, спиной к Сэлливену.

— Умрет тот, кому ты назначишь самую короткую щепку, — сказал капитан.

Сэлливен поднял одну из палочек. Остальные были зажаты в его руке, так что никто не мог видеть, какой длины эта палка.

— Чья будет эта? — спросил Сэлливен.

— Маленького Джонни Шихена, — ответил О'Брайен.

Сэлливен отложил палочку в сторону. Зрителям не было видно, жребий это или нет. Сэлливен поднял вторую.

— А это чья будет?

— Джорджа Бернса, — был ответ.

Палочка легла рядом с первой, и Сэлливен поднял третью.

— А это чья?

— Моя, — сказал О'Брайен.

Быстрым движением Сэлливен перемешал палочки. Никто этого не заметил.

— Ты сам выбрал жребий, — объявил Сэлливен.

— Доброе дело, — пробормотали некоторые.

О'Брайен был очень спокоен. Он встал на ноги, снял повязку и огляделся.

— Где она? — спросил он. — Короткая палочка, та, что для меня.

Капитан указал на четыре щепки, лежавшие на палубе.

— Откуда вы знаете, что эта палка — моя? — спросил О'Брайен. — Видел ли ты, Джонни Шихен?

Джонни Шихен, самый младший юнга, ничего не ответил.

— А ты видел? — спросил затем О'Брайен у Маэни.

— Нет, я не видел!

Матросы стали роптать.

— Жеребьевка была честной, — крикнул Сэлливен. — У тебя был шанс, но ты проиграл — вот и все.

— Да, честная жеребьевка, — прибавил капитан. — Я сам видел. Палка была твоя, О'Брайен. Давай, готовься. Где кок? Подойди, Гормен. Эй, кто-нибудь! Возьмите миску. Гормен, исполни свой долг, как мужчина.

— Но как мне это сделать? — спросил кок. Это был нерешительный человек с усталыми глазами.

— Это подлое убийство! — крикнул О'Брайен.

— Я не притронусь к нему, — заявил Маэни. — Ни одного куска в рот не возьму.

— Тогда твоя доля достанется кому-нибудь получше тебя, — огрызнулся Сэлливен. — Делай, что должен, кок!

— Не мое дело — убивать мальчиков, — нерешительно запротестовал кок.

— Если ты не приготовишь нам мясо, мы сде-

лаем отбивную из тебя самого, — пригрозил Биэйн. — Кто-нибудь должен умереть. Так не все ли равно: ты или другой.

Джонни Шихен заплакал. О'Брайен слушал с замиранием сердца. Лицо его было бледным, губы дрожали, все тело его временами вздрагивало.

— Я нанимался на должность кока, — заявил Гормен, — и стряпать я согласен, хоть гром греми. Но я не совершу убийство. Этого нет в контракте. Я кок...

— Ты останешься им не больше минуты! — зарычал Сэлливен. В то же мгновение он обхватил кока сзади за шею. — Где твой нож, Майк? Давай его сюда!

Почувствовав прикосновение стали, Гормен захныкал:

— Я сделаю это, если вы будете держать мальчишку!

Жалкий вид кока вселил некоторое мужество в О'Брайена.

— Ладно, Гормен, — сказал он. — Валяй. Я и сам вижу, что ты это делаешь не по своей воле. Хорошо, сэр, — обратился он к капитану, который тяжелой рукой удерживал его за плечо. — Отпустите меня, сэр. Я буду стоять смирно.

— Прекрати хныкать и сходи за миской, — ско-

мандовал Биэйн Джонни Шихену, отвесив ему крепкий подзатыльник.

Юнга — почти ребенок — принес миску. Он шатался и падал, пробираясь по палубе — так он ослабел от голода. Слезы все еще текли по его щекам. Биэйн взял из его рук миску и тут же дал ему еще один подзатыльник.

О'Брайен снял куртку и обнажил правую руку. Нижняя губа его все еще дрожала, но он держал себя в руках. Раскрыли складной нож капитана и вручили Гормену.

— Маэни, расскажи моей матери, что со мной случилось, если вернешься, — попросил О'Брайен.

Маэни кивнул.

— Это подлое убийство, подлое и низкое, — сказал он. — Мясо мальчика никому из вас не пойдет на пользу. Помяните мое слово. Никому из вас оно не пойдет на пользу… никому…

— Приготовься, — приказал капитал. — Ты, Сэлливен, держи миску. Вот так. Совсем близко. Не пролей ни капли. Это — ценная вещь!

Гормен сделал над собой усилие. Нож был тупой. Сам он был слаб. Кроме того, его рука так сильно дрожала, что он едва не выронил нож. Трое юнг, плача, сбились в кучку. Все, за

исключением Маэни, столпились вокруг жертвы, вытягивая головы, чтобы лучше видеть происходящее.

— Будь мужчиной, Гормен, — подбодрял его капитан.

Несчастный кок решился. Он стал пилить ножом кисть руки О'Брайена. Вены были вскрыты. Сэлливен держал миску под самой раной. Вскрытые вены широко зияли, но кровь не показалась. Ее вовсе не было. Вены были пустыми и сухими. Все молчали. Мрачные и безмолвные фигуры раскачивались на палубе корабля. Глаза их были прикованы к невероятному, чудовищному явлению: к сухим венам живого существа.

— Это знак, — крикнул Маэни. — Отпустите мальчика. Помяните мое слово. Его смерть никому из вас не принесет пользы.

— Попробуй у локтя, у левого локтя... он — ближе к сердцу, — наконец сказал капитан приглушенным и хриплым голосом.

— Дай нож, — резко сказал О'Брайен, выхватывая нож из рук кока. — Я не могу смотреть на то, как вы меня кромсаете.

Совершенно хладнокровно он вскрыл вену у левого локтя, но снова не показалось ни капли крови.

— Все это бесполезно, — сказал Сэлливен. — Лучше всего избавить его от мук и пустить ему кровь горлом.

Это уже было чересчур для мальчика.

— Не делайте этого, — кричал он. — В горле у меня тоже не будет крови. Дайте мне немного времени. Погода холодная, и я слаб. Дайте мне лечь и чуточку поспать. Тогда я согреюсь, и кровь потечет.

— Это бесполезно, — возразил Сэлливен. — Разве ты заснешь сейчас! Ты не уснешь и не согреешься. Погляди на себя. Ты в лихорадке.

— Однажды ночью в Лимерике я заболел, — торопливо говорил О'Брайен, — и доктор не мог пустить мне кровь. Но после того как я выспался и согрелся в постели, кровь потекла свободно. То, что я говорю вам, — истинная правда! Не убивайте меня!

— Его вены вскрыты, — сказал капитан. — Нет смысла его долго мучить. Сделайте это поскорее, и пусть ему придет конец!

Они шагнули к О'Брайену, чтобы схватить его, но он отступил.

— Тут вам и смерть! — взвизгнул он. — Прочь руки от меня, Сэлливен! Я вернусь! Я буду преследовать тебя! Во сне и наяву я буду преследовать

тебя до самой смерти!

— Это безобразие! — кричал Биэйн. — Если бы я вытащил короткую палку, я позволил бы товарищам отрезать мне голову — и был бы счастлив!

Сэлливен подскочил и поймал несчастного юнгу за волосы. Остальные помогали ему. О'Брайен отчаянно отбивался руками и ногами. Маленький Джонни Шихен дико завопил, но никто не обратил на него внимания. О'Брайена растянули на палубе лицом вверх, а миску положили ему под голову. Гормена вытолкнули вперед. Кто-то сунул ему в руку большой кухонный нож.

— Исполняй свой долг! Исполняй свой долг! — кричали матросы. Кок наклонился, но встретил взгляд мальчика и замялся.

— Если ты не хочешь, так я своими руками тебя убью! — заорал Биэйн.

Со всех сторон на кока хлынул поток ругательств и угроз. Все-таки он колебался.

— Может быть, в его жилах будет больше крови, чем у О'Брайена, — многозначительно заметил Сэлливен.

Биэйн схватил Гормена за волосы и запрокинул ему голову назад, в то время как Сэлливен попытался завладеть кухонным ножом. Но Гормен отчаянно сжимал его в руке.

— Пустите. Я сделаю! — визжал он, обезумев. — Не режьте мне горло! Я сделаю это! Я сделаю!

— Ну, смотри же, сделай, — грозил ему капитан.

Гормен позволил вытолкнуть себя вперед. Он поглядел на мальчика, зажмурил глаза и пробормотал молитву. Затем, не открывая глаз, он взмахнул ножом. О'Брайен испустил вопль, быстро перешедший в гортанное всхлипывание. Люди держали его, пока не прекратились судороги, после чего его положили на палубу. Они были жадными и нетерпеливыми, и с проклятиями и угрозами требовали, чтобы Гормен поторапливался со стряпней.

— Отступитесь вы, кровавые мясники, — спокойно сказал Маэни. — Отступитесь, говорю вам. Вам ни куска не понадобится. Все будет, как я сказал: кровь мальчика не пойдет вам на пользу. Выплесни ее за борт, Биэйн. Выплесни за борт!

Биэйн, все еще державший в обеих руках миску, взглянул на подветренную сторону. Он подошел к перилам и вылил содержимое миски в море. Хорошо оснащенный корабль шел к ним и был уже на расстоянии мили. Они были так поглощены убийством, что раньше никому не пришло в голову оглянуться. Все глаза впились в корабль.

Ярко сверкающий медью форштевень рассекал воду, как золотой нож, верхние паруса — обвисшие и пустые — болтались, когда волна опускала корабль, а надутые нижние — словно кланялись при каждом величавом колебании волн. Никто не произнес ни слова.

Когда он приблизился на один кабельтов, капитан «Френсиса Спейта» опомнился и приказал накрыть брезентом труп О'Брайена. С чужого судна спустили шлюпку, и она стала к ним приближаться. Джон Гормен засмеялся. Сначала он смеялся тихо, затем, с каждым взмахом весла на шлюпке, стал хохотать громче и громче.

Этот безумный смех встретил спасательную лодку, когда она подошла к борту и старший офицер взобрался на палубу.

Любопытный отрывок

«Капиталист, или, вернее, олигарх-промышленник, Роджер Вандеруотер, о котором пойдет речь в этом повествовании, является, как известно, девятым из рода Вандеруотеров, заправлявших хлопчатобумажной промышленностью в Южных Штатах в течение нескольких сотен лет.

Этот Роджер Вандеруотер процветал в последние десятилетия двадцать шестого века от Рождества Христова, т. е. в пятый век ужасающей олигархии промышленников, созданной на развалинах прежней Республики.

У нас достаточно данных утверждать, что нижеследующий текст не был создан ранее двадцать девятого столетия. Не только закон запрещал писать или печатать подобные вещи до этого времени, но и рабочий класс был настолько неграмотен, что лишь немногие его представители умели читать и писать. То было мрачное царство главного надсмотрщика, на языке которого огромное большинство людей носило кличку «стадо». На грамотность косились и старались искоренять ее. В уложениях того времени был страшный закон, который приравнивал к

уголовному преступлению обучение рабочего хотя бы азбуке. Такое узкое сосредоточение просвещения в одном только правящем классе было необходимо, чтобы этот класс мог оставаться у власти.

Одним из следствий такого положения вещей было возникновение типа профессионального сказителя. Этим сказателям платили олигархи, и рассказываемые ими сказки были легендарного, мифического, романтического — словом, безобидного содержания. Но дух свободы никогда иссякнуть не мог, и агитаторы под видом сказителей проповедовали восстание в среде рабов. Нижеследующая повесть была запрещена олигархами. Доказательством служит протокол уголовного полицейского суда в Эшбери. Из этого протокола мы видим, что 27 ноября 2734 года некто Джон Терни, признанный виновным в том, что рассказывал эту историю в рабочем трактире, был осужден на пять лет каторжных работ в рудниках Аризонской Пустыни». — *Примечание издателя*.

Послушайте, братья, я расскажу вам историю о руке. То была рука Тома Диксона, а Том Диксон был первоклассным ткачом на фабрике этого адского пса, хозяина Роджера Вандеруотера. Эта

фабрика называлась Дно Ада… среди тех, кто на ней трудился; и я думаю, они знали, о чем говорили. Фабрика была расположена в Кингсбери, на окраине города, противоположной той, где высился летний дворец Вандеруотера. Вы не знаете, где находится Кингсбери? Много есть вещей, о братья, которых вы не знаете, и это очень грустно.

Вы — рабы именно потому, что не знаете. Когда я расскажу вам эту историю, я охотно организую для вас курсы обучения грамоте. Наши хозяева читают и пишут; у них много книг. Вот почему они — наши хозяева, живут во дворцах и не работают. Когда рабочие — все рабочие — научатся читать и писать, они станут сильными. Тогда они используют свои силы для того, чтобы разорвать оковы, и не будет больше ни господ, ни рабов.

Кингсбери, братья мои, находится в древнем штате Алабама. В течение трехсот лет Вандеруотеры владеют Кингсбери, его загонами для рабов и фабриками, а также загонами для рабов и фабриками во многих других городах Штатов. Вы слышали о Вандеруотерах. Кто о них не слышал? Но позвольте мне рассказать вам вещи, о которых вы ничего не знаете. Первый Вандеруотер был рабом, как мы с вами. Понимаете? Он был рабом;

это было более трехсот лет тому назад. Его отец был машинистом в загоне Александра Бюрелла, а мать его была прачкой в том же загоне. Это несомненный факт. Я говорю вам правду. Это — история. Она напечатана в исторических книгах наших хозяев, которых вы не можете прочесть, ибо хозяева запрещают вам учиться читать. Вы легко можете понять, почему они не позволяют вам учиться читать, раз в книгах написаны такие вещи. Они это знают; они очень мудры. Если бы вы читали такие вещи, вы ведь могли бы потерять уважение к вашим господам, а это было бы очень опасно… для них. Но я это знаю, ибо я умею читать; и вот я рассказываю вам то, что я собственными глазами прочел в исторических книгах наших хозяев.

Первого Вандеруотера на самом деле звали Вэндж, Билл Вэндж, он был сыном Джерри Вэнджа, машиниста, и Лауры Карнли, прачки. Молодой Билл Вэндж был очень силен. Он мог бы сохранить верность рабам и вывести их на свободу. Вместо этого он служил хозяевам и получал хорошее вознаграждение. Он начал свою службу еще маленьким ребенком — в качестве шпиона в своем родном загоне. Известно, что он донес на собственного отца за крамольные речи.

Это — факт. Я собственными глазами читал это в протоколах. Он был слишком хорошим рабом для рабского загона. Александр Бюрелл взял его оттуда, и он обучился читать и писать. Его обучили многим вещам, и он поступил в тайную полицию. Разумеется, он уже не носил рабскую одежду, кроме тех случаев, когда переодевался, чтобы выведать секреты и заговоры рабов. Это он — всего восемнадцати лет от роду — предал великого героя и товарища Ральфа Джейкобса, которого потом судили и казнили на электрическом стуле. Конечно, все вы слышали священное имя Ральфа Джейкобса, все вы знаете о его казни на электрическом стуле, — но для вас является новостью, что погубил его первый Вандеруотер, которого звали Вэндж. Я знаю. Я читал это в книгах. В книгах есть много таких интересных вещей.

И вот, после того как Ральф Джейкобс умер позорной смертью, и начал Билл Вэндж менять свои имена. Его теперь знали повсюду под кличкой Пройдоха Вэндж. Он сильно выдвинулся на секретной службе, и его щедро награждали; но все же он еще не был членом класса господ. Мужчины были за, но женщины господствующего класса отказались принять Пройдоху Вэнджа в свой круг. Пройдоха Вэндж хорошо служил своим

господам. Он сам был рабом и знал тайны рабов. Надуть его было невозможно. В те дни рабы были храбрее, чем теперь, и все время боролись за свою свободу.

Пройдоха Вэндж поспевал всюду, проникал во все их замыслы и планы, доводя эти замыслы и планы до провала, а вождей до электрического стула. В 2255 году его снова стали называть иначе. Это был год Великого Восстания. В местности, лежащей к западу от Скалистых гор, семнадцать миллионов рабов храбро сражались, чтобы свергнуть своих господ. Кто знает, если бы не Пройдоха Вэндж, они бы, может быть, восторжествовали. Но, увы, Пройдоха Вэндж погубил их. Хозяева поручили ему командование. В течение восьми месяцев борьбы было убито миллион триста пятнадцать тысяч рабов. Вэндж, Билл Вэндж, Пройдоха Вэндж убил их и сломил Великое Восстание. Его щедро вознаградили, и руки его были так красны от крови рабов, что с тех пор его стали называть Кровавым Вэнджем.

Вы видите, братья мои, какие интересные вещи можно отыскать в книгах, когда умеешь читать. И вот вам честное слово — в книгах есть еще гораздо более интересные вещи. И если только вы захотите у меня поучиться, то через год вы

сумеете сами прочесть эти книги. Да что там! Уже через шесть месяцев некоторые из вас научатся читать.

Кровавый Вэндж дожил до преклонного возраста и все время — до самого конца своих дней — он участвовал в Совете господ, но его самого господином не сделали; он, видите ли, увидел свет в рабском загоне. Но как хорошо его вознаградили! Он стал владельцем дюжины дворцов. Не будучи господином, он владел тысячами рабов. У него была на море яхта — настоящий плавучий дворец, ему принадлежал целый остров, где десять тысяч рабов трудились на его кофейной плантации. Но в старости он оказался одинок — ненавидимый своими братьями-рабами и презираемый теми, кому он служил, и никто не хотел иметь с ним дела. Господа презирали его, ибо он родился рабом. Он умер несказанно богатым; он умер в муках совести, сожалея обо всем, что сделал, о кровавом пятне на своем имени.

Но иначе обстояло дело с его детьми. Они не родились в рабском загоне и специальным приказом Верховного Олигарха были причислены к государственному классу. И тогда-то имя Вэндж исчезло со страниц истории. Они превратились в Вандеруотеров, а Джейсон Вэндж, сын Кровавого

Вэнджа, — в Джейсона Вандеруотера, основателя рода Вандеруотеров. Но это было триста лет тому назад, и теперешние Вандеруотеры забывают о своем происхождении и воображают, что тела их сделаны из какого-то другого материала, чем мое и ваше, и тела всех рабов. А я вас спрашиваю: почему раб может стать господином другого раба? И почему сын раба может стать господином над рабами? Я предлагаю вам самим ответить на этот вопрос, но не забывайте, что первоначально Вандеруотеры были рабами.

А теперь, братья, я возвращаюсь к началу своего рассказа — к истории о руке Тома Диксона. Фабрика Роджера Вандеруотера в Кингсбери по заслугам была названа Дном Ада, но люди, там работавшие, были, как вы сейчас увидите, настоящими людьми. Там же работали женщины и дети — маленькие дети. Все работавшие там имели установленные законом права, но… только на словах, ибо многих из этих прав лишали их двое надсмотрщиков Дна Ада — Джозеф Кленси и Адольф Мюнстер.

Это длинная история, но я не стану рассказывать ее вам целиком. Я расскажу только о руке. Было такое правило, что часть нищенской оплаты рабов ежемесячно удерживалась и отчислялась

в некий фонд. Этот фонд предназначался для помощи тем, кто пострадал от несчастных случаев или заболел. Как вы сами знаете, такие фонды находятся в ведении надсмотрщиков. Таков закон. Потому-то фонд в Дне Ада находился в ведении этих двух, проклятой памяти, надсмотрщиков.

Так вот, Кленси и Мюнстер пользовались этим фондом для личных надобностей. Когда с отдельными рабочими случались несчастья, их товарищи постановляли выдать им субсидии из фонда; но надсмотрщики отказывались выплачивать эти субсидии. Что могли поделать рабы? У них были права — по закону; но доступа к закону не было. Тех, кто жаловался на надсмотрщиков, наказывали. Вы знаете сами, в какую форму облекается такое наказание: штраф за некачественную работу, которая на самом деле — качественная; попытки завалить отчетностью; плохое обращение с женой и детьми рабочего; назначение его к плохим станкам, за которыми — работай, не работай — все равно умрешь с голоду.

Однажды рабы Дна выдвинули протест Вандеруотеру. Это было в то время года, когда он проводил несколько месяцев в Кингсбери. Один из рабов умел писать, его мать была грамотной

— случайно, и она втайне его обучила, так же, как ее мать обучила ее. Итак, этот раб написал коллективное заявление, содержавшее все их жалобы, и все рабы подписались знаками. Снабдив конверт подобающими печатями, они отправили его Вандеруотеру. А Роджер Вандеруотер взял да и передал заявление обоим надсмотрщикам. Кленси и Мюнстер взбесились. Ночью они впустили охранников в загон. Охранники были вооружены рукоятками от заступов. И на следующий день только половина рабов была в состоянии выйти на рабочие места. Их здорово избили. Раба, умевшего писать, так отделали, что он прожил только три месяца после этого. Но перед смертью он написал еще раз, и вы сейчас услышите, с какой целью.

Четыре или пять недель спустя некоему рабу по имени Том Диксон оторвало на фабрике руку приводным ремнем. Его товарищи, по обыкновению, постановили дать ему субсидию из средств фонда, а Кленси и Мюнстер — тоже по обыкновению — отказались ее выплатить. Раб, знавший грамоту, находившийся тогда как раз при смерти, снова составил перечень их жалоб. Этот документ вложили в пальцы руки, оторванной от тела Тома Диксона.

Случилось так, что Роджер Вандеруотер лежал больной в своем дворце на противоположном конце Кингсбери. Это была не та безжалостная болезнь, которая сбивает с ног нас с вами, братья мои, а просто маленькое разлитие желчи или, может быть, сильная головная боль от того, что он слишком плотно поел или выпил лишнее. Но для него этого было достаточно, ибо он был нежен и мягкотел. Такие люди, всю жизнь завернутые в вату, чрезвычайно нежны и мягкотелы. Верьте мне, братья, Роджер Вандеруотер так же страдал — или думал, что страдал — от головной боли, как Том Диксон из-за своей руки, оторванной у самого плеча.

Роджер Вандеруотер был большим любителем сельского хозяйства, и на своей ферме, в трех милях от Кингсбери, ему удалось вырастить новый вид клубники. Он очень гордился этой своей новой клубникой и охотно поехал бы посмотреть на нее и сорвать первые зрелые ягоды, но ему мешала болезнь. Поэтому он приказал старому рабу с фермы принести ему первую корзину с ягодами. Об этом сообщил дворцовый поваренок, каждую ночь спавший в загоне. Ягоды должен был доставить надсмотрщик огорода, но он лежал в постели с переломом ноги, после того как

упал с жеребца. Поваренок принес свое известие вечером, и все знали, что на следующий день ягоды должны прибыть. И рабы в загоне Дна Ада, будучи мужчинами, а не трусами, стали держать совет.

Раб, знавший грамоту, бывший почти при смерти, сказал, что он понесет руку Тома Диксона. Он сказал также, что все равно должен умереть и неважно, если он умрет немного раньше.

Итак, пятеро рабов в ту ночь выбрались из загона после последнего обхода охраны. Одним из них был тот, что умел писать. Они пролежали в валежнике на краю проезжей дороги до самого утра, пока старый раб с фермы не подъехал в повозке, везя драгоценные ягоды для своего хозяина. Так как раб с фермы был стар и страдал ревматизмом, а раб, умевший писать, был искалечен побоями, то походка их была почти одинаковой. Раб, знавший грамоту, переоделся в платье старика, надвинул на глаза его широкополую шляпу и поехал в город. Старого раба с фермы продержали связанным в кустах целый день до вечера; только вечером они его освободили и вернулись в загон, чтобы понести наказание за самовольную отлучку.

Тем временем Роджер Вандеруотер лежал,

в ожидании ягод, в своей великолепной опочивальне. Там были такие чудеса, которые, наверное, ослепили бы глаза вам или мне, никогда ничего подобного не видавшим. Раб, умевший писать, после рассказывал, что это было нечто вроде райского видения. Почему бы и не так? Труд и жизнь десяти тысяч рабов были отданы для создания этой спальни, в то время как сами они валялись в гнусных логовах, как дикие звери. Раб, умевший писать, принес туда ягоды на серебряном подносе. Роджер Вандеруотер хотел, видите ли, лично поговорить с ним о клубнике.

Раб, знавший грамоту, протащил свое умирающее тело через чудесную комнату и опустился на колени у ложа Вандеруотера, держа перед собой поднос. Большие зеленые листья сверху покрывали поднос, и камердинер, стоявший рядом, снял их, чтобы Вандеруотер мог видеть свою клубнику.

И Роджер Вандеруотер, приподнявшись на локте, увидел. Он увидел свежие, дивные ягоды, лежавшие подобно драгоценным камням, а среди них покоилась рука Тома Диксона, такая же, какой она была оторвана от тела, но, разумеется, братья мои, хорошо вымытая и резко отличавшаяся белизной от кроваво-красных ягод. И тут

же он увидел зажатое в окостенелых мертвых пальцах прошение своих рабов, трудившихся на Дне Ада.

— Возьмите и прочтите, — сказал раб, умевший писать. Но в тот же миг, когда хозяин взял прошение, камердинер, застывший вначале от изумления, ударил коленопреклоненного раба кулаком в зубы.

Рабу все равно мало оставалось жить, ему было безразлично. Он не издал ни звука и, упав на бок, лежал спокойно, а кровь от удара сочилась у него изо рта. Врач, побежавший за дворцовой стражей, вернулся вместе с ней, и раба насильно поставили на ноги. Но когда они его поднимали, он схватил с пола упавшую руку Тома Диксона.

— Бросьте его живьем на съедение собакам! — кричал камердинер в великом гневе. — Живьем на съедение собакам!

Но Роджер Вандеруотер, забыв про головную боль, приказал всем замолчать и продолжал читать прошение. И пока он читал, царило молчание; все стояли на ногах — сердитый камердинер, врач, дворцовая стража и среди них раб с окровавленным ртом, все еще державший руку Тома Диксона. А когда Роджер Вандеруотер дочитал, он повернулся к рабу со словами:

— Если в этой бумаге есть хоть крупица лжи — ты пожалеешь о том, что родился на свет.

А раб сказал:

— Я всю свою жизнь жалел, что родился на свет.

Роджер Вандеруотер поглядел на него пристально, и раб сказал:

— Вы сделали со мной самое худшее, что могли сделать. Я умираю. Через неделю я буду мертв. Поэтому мне все равно — убьете вы меня теперь или нет…

— Куда ты денешь это? — спросил хозяин, указывая на руку, а раб ответил:

— Я отнесу ее назад в загон, чтобы предать погребению. Том Диксон был мне другом. Мы работали бок о бок у станков.

Мне немного осталось рассказать вам, братья. Раб и рука были отвезены на телеге обратно в загон. Никто из рабов не был наказан за то, что они сделали. Напротив, Роджер Вандеруотер приказал произвести расследование и покарал обоих надсмотрщиков — Джозефа Кленси и Адольфа Мюнстера. Их имущество было конфисковано, обоим выжгли клейма на лбу, отрезали правые руки и выпустили на большую дорогу, чтобы они до смерти скитались, прося подаяние.

После этого фонд некоторое время функционировал… только некоторое время, братья мои. Ибо после Роджера Вандеруотера воцарился его сын Альберт, который был жестоким хозяином и наполовину сумасшедшим.

Братья! Раб, доставивший руку господину, — мой отец. Он был храбрым человеком. И точно так же, как его мать втайне обучала его чтению, так и он обучал меня. Он вскоре умер от побоев рукоятками от заступов, и Роджер Вандеруотер взял меня из загона и попытался сделать из меня кое-что получше. Я мог бы стать надсмотрщиком на Дне Ада, но предпочел стать сказителем, странствующим по земле и всегда близким моим братьям — рабам. И я рассказываю вам истории вроде этой, рассказываю тайно, зная, что вы меня не предадите. Ибо если вы это сделаете, то — вы знаете это не хуже меня — мне вырвут язык, и я уже никогда не буду ничего рассказывать.

А весть, которую я несу вам, братья, заключается в том, что близятся времена, когда все на свете будет хорошо и не будет ни господ, ни рабов. И вы должны приготовиться к этим хорошим временам — выучиться читать. Есть сила в печатном слове. И я здесь, чтобы научить вас читать, а когда я пойду своей дорогой — найдутся другие,

которые позаботятся о том, чтобы вы получали книги — исторические книги. Из них вы узнаете все о своих господах и научитесь быть сильными, как они.

Примечание издателя. «Извлечено из «Исторических фрагментов и очерков», впервые изданных в 15 томах в 4427 г. и теперь, по истечении двухсот лет, ввиду исторической ценности переизданных Национальным комитетом исторических изысканий».

Кусок мяса

Последним кусочком хлеба Том Кинг вытер дочиста мучной соус со своей тарелки и жевал этот кусок медленно и задумчиво. Встав из-за стола, он почувствовал, что голоден, — несомненно голоден. А ведь только один он и поел. Двоих детей рано уложили спать в соседней комнате, чтобы они во сне забыли о том, что остались без ужина; жена его ни к чему не притронулась и сидела молча, озабоченно наблюдая за ним. Это была худая, изможденная женщина, дочь рабочего, и с лица ее еще не исчезли следы былой красоты. Муку для соуса она заняла у соседки напротив. Последние два полпенни ушли на хлеб.

Он уселся у окна на расшатанном стуле, который гнулся под тяжестью его тела. Совершенно машинально он сунул в рот трубку и пошарил в боковом кармане куртки. Отсутствие табака заставило его отказаться от намерения покурить, и, рассердившись на собственную забывчивость, он отложил трубку. Движения его были медленными и тяжелыми, точно он сгибался под тяжким грузом своих мускулов. Это был крепко сложенный человек с тупым выражением

лица. Его наружность не отличалась излишней привлекательностью. Простая одежда его была поношенной и неряшливой. Башмаки его продырявились и разошлись по швам. А на его бумажной рубашке — дешевой двухшиллинговой тряпке — красовалось несколько невыводимых пятен от краски, и воротничок был потерт.

Но по лицу Тома Кинга сразу можно было безошибочно угадать, кто он такой. Это было типичное лицо боксера — человека, который много лет провел на ринге и поэтому развил в себе все бойцовские животные инстинкты. Выражение лица было определенно хмурым и — как бы для того, чтобы ни одна черта не ускользнула от наблюдателя, — лицо это было гладко выбрито. Губы были настолько бесформенными, что казались шрамами на лице. Челюсти были тяжелыми, массивными. Глаза с тяжелыми веками, медленно движущиеся под косматыми, насупившимися бровями, почти ничего не выражали. Он был настоящим животным, и самой животной чертой его были глаза — сонные, как у льва; глаза животного, готового к драке. Низкий лоб был покат, а коротко остриженные волосы не скрывали ни одной шишки на безобразной голове. Нос, дважды переломанный и исковерканный

бесчисленными ударами; ухо, похожее на кочан цветной капусты, вечно вспухшее и вдвое больше обычного, тоже его отнюдь не красили, а свежая щетина делала щеки синевато-черными.

Словом, это было лицо, которое страшно было бы увидеть в темной аллее или в пустынном месте. Все же Том Кинг не был преступником и никогда в жизни ничего преступного не совершил. За исключением поединков, являвшихся его профессией, он никому не причинял зла. Никто не видел, чтобы он когда-либо затеял ссору. Он был профессионалом, и вся его животная воинственность нужна была только для профессиональных выступлений. Вне арены это был человек медлительный, покладистый, а в молодые годы — когда денег было вдоволь — слишком щедрый в ущерб себе. Ни к кому он не питал злобы, и врагов почти не имел. Драка была для него только работой. На арене он бил до боли, бил до увечья, бил до смерти, но злой воли во всем этом не было: чисто деловое отношение. Публика собиралась и платила за то, чтобы один побил другого. Победителю доставался толстый кошелек. Когда Том Кинг двадцать лет тому назад выступил против Улумулу Гуджера, он знал, что челюсть Гуджера всего четыре месяца

назад зажила после перелома во время поединка в Ньюкасле. И он рассчитывал на эту челюсть и вторично ее сломал на девятом раунде — не потому что он питал вражду к Гуджеру, а потому что это был наиболее верный способ вывести Гуджера из строя и заполучить толстый кошелек. И Гуджер не озлобился на него за это. Это была игра: оба знали ее правила.

Том Кинг никогда не был разговорчив, и сейчас он сидел у окна в суровом молчании, уставившись на свои руки. Сосуды на них были набухшими и толстыми, а бесформенные суставы свидетельствовали о том, в каких переделках им довелось побывать. Он никогда не слыхал о том, что жизнь человека зависит от его артерий, но он хорошо знал, что означают эти большие, вздувшиеся сосуды: сердце его качало по ним слишком много крови, под слишком высоким давлением. Они отказывались дольше служить. Они расширились до пределов их эластичности, а с их растяжением исчезла его выносливость. Теперь он стал быстро уставать. Он уже не выдерживал двадцать раундов, один за другим; не мог биться, биться, биться от гонга до гонга — бешеный напор против такого же напора, — прижатый к веревке или прижимающий к ней противника, напирая все яростнее и

яростнее под самый конец, на двадцатом раунде, пока весь зал у его ног сотрясается от крика, а сам он наступает, бьет, уклоняется, обрушивает удары один за другим и получает в ответ такой же ливень ударов, а надежное сердце все качает бурлящую кровь в исправно работающие вены. В былое время надувшиеся жилы снова сжимались, однако с каждым разом они становились чуть-чуть шире. Он глядел на них и на свои сплющенные суставы, и на мгновение он вспомнил, какой совершенной была в юности форма этих рук, до перелома первого сустава о голову Бенни Джонса, более известного под кличкой Валлийский Ужас.

Чувство голода опять дало себя знать.

— Черт возьми, неужели нельзя достать кусочек говядины? — вслух пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки и изрыгая приглушенное проклятие.

— Я пробовала и у Берка, и у Соула, — сказала жена, как бы извиняясь.

— И они отказали? — спросил он.

— Ни полпенни, Берк сказал… — она осеклась.

— Ну! Что он сказал?

— Сказал, что, по его мнению, Сэндл побьет тебя нынче вечером, и что твой-де счет уж и без

того достаточно велик.

Том Кинг заворчал, но ничего не возразил. Он стал думать о бультерьере, который был у него в молодости и которому он скармливал несчетные куски говядины. Берк тогда дал бы ему в кредит тысячу отбивных. Но времена изменились. Том Кинг старел, а старый человек, дерущийся во второразрядном клубе, не мог рассчитывать на большой кредит у торговцев.

Он проснулся утром с тоской о куске говядины, и эта тоска не уменьшилась. Он не смог хорошо потренироваться перед предстоящим поединком. В этом году в Австралии была засуха, времена наступили тяжелые, и даже временную работу трудно было найти. У него не было тренера, и питался он очень плохо. Время от времени он, когда ему удавалось, работал землекопом, а по утрам совершал большие прогулки пешком вокруг усадьбы, чтобы держать ноги в «форме». Но нелегко было тренироваться без тренера, да еще с женой и детьми, которых нужно было кормить. Кредит у торговцев почти не вырос, когда был объявлен его матч с Сэндлом. Секретарь «Клуба Увеселений» дал ему аванс в три фунта — долю побежденного — и отказался повысить эту сумму. От случая к случаю он одалживал по нескольку

шиллингов у старых товарищей, которые дали бы ему и больше, не случись засухи и не окажись они сами в почти таком же положении. Нет — не имело смысла скрывать от себя этот факт — подготовлен он был плохо. Пищи должно было быть больше, а неприятностей меньше. Кроме того, человеку в сорок лет труднее приспособиться к обстоятельствам, чем в двадцать.

— Который час, Луиза? — спросил он.

Жена его пошла к соседям справиться и вернулась.

— Без четверти восемь.

— Первый бой начнется через несколько минут, — сказал он. — Это только разминка. Затем бой в четыре раунда, между Диллером Уэлсом и Гридли, затем десять раундов между Сторлайтом и каким-то чурбаном-матросом. Мне выходить не раньше чем через час.

Он помолчал еще минут десять и затем встал.

— Что правда, то правда, Луиза. Я не тренировался толком!

Он потянулся за шляпой и направился к двери. Он не предложил ей поцеловать ее — он никогда не делал этого перед уходом, — но в этот вечер она осмелилась поцеловать его, обняв его за шею и заставив склониться к ее лицу. Рядом с огромной

фигурой мужа она выглядела совсем маленькой.

— Ни пуха ни пера, Том, — сказала она. — Ты должен его побить.

— Да, я должен его побить, — повторил он. — В этом все дело. Я должен его побить.

Он деланно засмеялся, а она прижималась к нему все теснее. Он окинул взглядом пустую комнату за ее спиной. Это было все, что у него осталось на свете (причем он давно задолжал за аренду квартиры), да еще жена и малыши.

И он покидал этот дом и выходил в ночь, чтобы раздобыть мяса для своей самки и детенышей, — но не так, как современный рабочий, отправляющийся к своему станку, а старым, примитивным, царственным, животным способом — добыть мясо в бою.

— Я должен его побить, — повторил он, и на этот раз отчаяние прозвучало в его голосе. — Если побью — получу не меньше тридцати соверенов. Тогда смогу вернуть все долги, и еще куча денег останется. Если проиграю игру, то не получу ничего, ни одного пенни, чтобы доехать домой на трамвае. Секретарь уже выдал мне все, что полагается проигравшему. Прощай, старуха. В случае удачи вернусь прямо домой.

— Я буду ждать, — крикнула она ему вслед.

До клуба было полных две мили, и на ходу он вспоминал, как в дни своей славы — он был чемпионом-тяжеловесом Нового Южного Уэльса — ездил на поединок в экипаже, а какой-нибудь второразрядный тяжеловес платил извозчику только за то, чтобы сидеть с ним, самим Кингом, рядом. Теперь короли — Томми Бернс и еще этот американский негр: они ездят на автомобилях. А он идет пешком! Всем известно, что две мили пешком — неважная прелюдия к боксерскому поединку. Он — старик, а мир не очень-то считается со стариками. Он теперь ни на что не годен, кроме земляных работ, но и тут ему вредили сплющенный нос и распухшее ухо. Он теперь сожалел, что в свое время не научился какому-нибудь ремеслу. В конце концов, так было бы лучше. Но никто ему не посоветовал, а в самой глубине души он сознавал, что и не послушался бы советов. Это было так легко. Много денег, жаркие, славные бои, периоды отдыха и безделья в промежутках между боями, свита усердных льстецов, похлопывание по спине, рукопожатия, парни, готовые угостить его рюмочкой только лишь за то, что он с ними пять минут поболтает; а затем… слава, неистовствующая публика… вихрь утихает… объявление: «Кинг победил!»… И на следующий

день — его имя в столбцах спортивных газет.

Вот это было время! Но теперь-то он понимал — по своему обыкновению, медленно, как бы постепенно развивая мысль, — что он в то время оттирал стариков. Он был восходящая Юность, они — уходящая Старость.

Немудрено, что победы давались ему легко: у них были вздутые вены, перебитые суставы и кости, ставшие хрупкими после множества боев. Он вспомнил, как победил Стоушера Билла в Раш-Каттерс-Бей в одиннадцатом раунде, а старый Билл потом плакал в раздевалке, как ребенок. Быть может, старый Билл просрочил плату за квартиру; быть может, дома его ждали жена и пара малышей, а в самый день боя Билл был голоден и мечтал о куске говядины. Билл проиграл бой, Том здорово его отделал. Но теперь-то он видел, что в тот вечер, двадцать лет назад, Стоушер Билл поставил бóльшую ставку, чем молодой Том Кинг, бившийся ради славы и легкой наживы. Неудивительно, что Стоушер Билл плакал потом в уборной.

Да, каждому отпущено сил на определенное число поединков. Таков железный закон игры. Один победит в сотне, другой — только в двадцати; каждому, в зависимости от его сложения

и мастерства, отпущено свое время, и потом он конченый человек.

Что ж! Ему, Тому Кингу, было отпущено даже больше, чем многим другим, и на его долю пришлось гораздо больше, чем полагалось, жестоких, страшных боев — боев, которые едва не заставили его сердце и легкие лопнуть, боев, лишивших его артерии эластичности, превративших молодые, гладкие, гибкие мышцы в твердые комки, исчерпавших его душевные и физические силы, истощивших его тело и мозг чрезмерным напряжением. Да, он работал лучше их всех. Из его старых противников никого уже не осталось. Он был последним из старой гвардии. Он видел, как все они сошли со сцены, и сам был подчас виновником их ухода.

Его тренировали на стариках, и он приканчивал их одного за другим и смеялся, когда они, как старый Стоушер Билл, плакали в уборной. А теперь он сам был стариком, и на нем тренировали мальчишек. Вот, например, этот сопляк Сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где успел прославиться. Но в Австралии никто не слышал о нем, поэтому его выпустили против старого Тома Кинга. Если Сэндл покажет себя, то ему дадут лучших противников, посулят более высокий

приз. Поэтому он будет отчаянно драться. Он мог выиграть все — деньги, славу, карьеру. А Том Кинг был старым серым чурбаном для рубки мяса, преграждавшим дорогу к славе и богатству. Он ничего не мог выиграть, кроме тридцати соверенов, чтобы заплатить домовладельцу и лавочникам. И пока Том Кинг размышлял об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ Юности — сияющей Юности, радостной и непобедимой, с гибкими мышцами, с шелковистой кожей, со здоровыми, не знающими усталости сердцем и легкими, Юности, со смехом преодолевающей непреодолимое.

Да, Юность — это возмездие. Она сметала стариков с дороги и не беспокоилась о том, что, в сущности, уничтожает сама себя. Ее вены вздуются, суставы сплющатся, и ее, в свою очередь, побьет другая Юность. Ибо молодость всегда молода, только старость стареет.

На Кэслри-стрит он свернул налево и, миновав три квартала, добрался до клуба. Молодые зеваки, столпившиеся перед входом, почтительно расступились перед ним, и он слышал, как один сказал другому:

— Это он! Это Том Кинг!

Внутри, по дороге в раздевалку, он встретил

секретаря, остроглазого и язвительного молодого человека.

— Как вы чувствуете себя, Том? — спросил тот здороваясь.

— Настроен, как скрипка, — ответил Кинг, хотя знал, что лжет и будь у него соверен, он отдал бы его весь за хороший кусок говядины.

Когда он вышел из раздевалки в сопровождении своих секундантов и стал спускаться вдоль зрительских сидений к рингу в центре зала, он услышал бурю аплодисментов. Он видел, как его приветствовали со всех сторон, хотя не знал почти никого из них.

По большей части это были молокососы, которых еще не было на свете в те дни, когда он завоевывал первые лавры на арене. Он легко вскочил на площадку, пролез под канатами к своему углу и присел там на складной стул. Джек Болл, судья, подошел к нему и пожал руку. Болл, боксер-ветеран, уже больше десяти лет не дрался на ринге. Кинг был рад, что судьей назначили Болла. Оба они были стариками. Если он станет драться не по правилам, когда Сэндл начнет одолевать, судья наверняка посмотрит на это сквозь пальцы.

Молодые тяжеловесы, делавшие карьеру, один

за другим поднимались на площадку, и судья представлял их публике. Он также объявлял суммы ставок.

— Молодой Пронто, — объявил Болл, — из Северного Сиднея, вызывает победителя, ставка пятьдесят фунтов.

Публика аплодировала. Аплодисментами встретили и Сэндла, перескочившего через канаты и присевшего в своем углу. Том Кинг с любопытством посмотрел на него с другой стороны площадки: еще несколько минут — и они сойдутся в бою. Но он почти ничего не мог рассмотреть, ибо Сэндл, как и сам он, надел свитер и брюки поверх спортивного костюма. Его лицо было мужественным и красивым под курчавой шапкой светлых волос, а толстая мускулистая шея говорила о большой физической силе.

Молодой Пронто прошел в один угол, затем в другой, пожал руку участникам матча и спустился с арены. Вызовы продолжались. Через канат непрерывно перескакивали юнцы — ненасытная молодежь, заявляющая перед всем человечеством, что она готова помериться с прежними победителями силой и мастерством.

Несколько лет назад, на пике своей карьеры, Том Кинг только посмеивался и откровенно

скучал, глядя на них. Но теперь он сидел в оцепенении, не в силах прогнать образ Юности. Эти парни, перепрыгивающие через канаты и выкрикивающие свой вызов, постоянно в этой игре выигрывали, а старики непременно перед ними пасовали. На пути к успеху они переступали через тела стариков. А они все шли, один за другим, ибо Юность непобедима, и все время они оттирали стариков, а затем сами становились стариками и катились по той же наклонной плоскости, в то время как за их спиной, без устали напирая на них, снова поднималась вечная Юность — возмужавшие младенцы, сокрушающие старших, а позади их — новые младенцы, и так до скончания веков — Юность, настаивающая на своем и никогда не умирающая.

Кинг бросил взгляд на ложу прессы, кивнул Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Арбитра». Затем он протянул руки вперед, чтобы Сид Сэлливен и Чарли Бейтс, его секунданты, натянули на него рукавицы и крепко их зашнуровали под пристальным взглядом одного из секундантов Сэндла, который еще прежде критическим взором оглядел повязки на костяшках Кинга. Один из его собственных секундантов находился в углу Сэндла, выполняя ту же обязанность. С

Сэндла стянули брюки, а когда он встал, стащили с него свитер через голову. И Том Кинг, взглянув на него, увидал воплощенную Юность, широкогрудую, с тяжелыми мышцами, с мускулами, скользившими и переливавшимися, как живые существа, под белой шелковистой кожей. Все тело было насыщено свежестью, и Том Кинг знал, что из него еще не начала сочиться по капле жизнь через все поры после долгих схваток; в этих схватках Юность платила свою дань и выходила из них слегка постаревшей.

Оба боксера выступили друг другу навстречу, и когда прозвучал гонг и секунданты ушли с ринга, унося складные стулья, они пожали друг другу руки и немедленно встали в стойку. И тотчас же, как стальная пружина из часов, Сэндл сделал выпад, отступил, левой нанес удар в лицо, правой — под ребра, наклонился, легко отскочил назад и снова прыгнул. Он был проворен и искусен. Это был блестящий дебют. Публика криками выражала одобрение. Но Кинг не был ослеплен: он участвовал в стольких поединках против стольких юнцов, он видел эти удары такими, какими они были на самом деле, то есть слишком быстрыми и легкими и не представляющими никакой опасности. Очевидно, Сэндл намеревался

задать быстрый темп. Этого и следовало ожидать. Таков был обычай Юности, расточающей свой блеск и свое превосходство в диком наскоке, в бешеных атаках, ломая сопротивление мощью своей неограниченной силы и воли.

Сэндл нападал, отступал — легконогий и страстный, живое чудо сверкающего белизной тела и разящих мускулов; как челнок, снующий в станке, он блестяще атаковал, скользил, прыгал, делая тысячи движений, цель которых была одна — смести с пути Тома Кинга, стоявшего между ним и карьерой. А Том Кинг терпеливо сносил удары. Он знал свое дело и знал Юность, с тех пор как утратил ее. Не следует ничего предпринимать, пока противник хоть немного не выдохнется, думалось ему; и он ухмылялся про себя, умышленно наклоняясь так, чтобы получить тяжелый удар по темени. Это был подлый трюк, хотя и не запрещенный, так как предполагалось, что человек сам будет беречь свои суставы, но если он упорно бьет противника по темени, то пусть пеняет сам на себя. Кинг мог бы пригнуться пониже и позволить удару просвистеть мимо без всякого вреда для себя; но он помнил свои первые поединки и то, как он расплющил первый сустав об голову Валлийского Ужаса. Он только играл

в ту же игру. И Сэндл ничего не понял! Он явно собирался продолжать наносить удары с той же силой в течение всей схватки, горделивый и беззаботный, а после, когда частые поединки начнут сказываться, он пожалеет об этом суставе и вспомнит, как раздробил его об голову Тома Кинга.

В первом раунде преимущество было на стороне Сэндла, и весь зал приветствовал скорость его вихревых атак. Сэндл осыпал Кинга лавинами ударов, а Кинг ничего не делал. Он ни разу его не ударил, а только прикрывался, прижимался, нагибался, уклонялся, чтобы избежать кулаков противника. Порой он делал финт, качал головой, получая увесистый тычок, передвигался неуклюже, не прыгал, не скакал и не терял ни одной капли силы зря. Пусть из Сэндла испарится пена Юности, прежде чем осмотрительная Старость решится на противодействие. Все движения Кинга были неспешными и методичными, а его глаза с тяжелыми веками и застывший взгляд придавали ему вид полусонный и осоловелый. Однако эти глаза видели все, приучились замечать все за двадцать с лишком лет, проведенных на ринге. Эти глаза не мигали рефлекторно под угрозой удара, но смотрели холодно, измеряя дистанцию.

В перерыве после первого раунда, сидя на своем стуле, он вытянул ноги и откинулся назад, положив руки на канаты, дыша глубоко и свободно тем воздухом, что навевали на него полотенца секундантов. С закрытыми глазами прислушивался он к голосам из толпы.

— Почему не дерешься, Том? — кричали некоторые. — Ведь ты же не боишься его, не правда ли?

— Мускулы задеревенели, — услышал он пояснение какого-то человека на передних скамьях. — Он не может двигаться быстрее. Два соверена против одного за Сэндла.

Гонг зазвучал, и бойцы вышли из своих углов. Сэндл сделал прыжок на три четверти площадки в страстном желании возобновить бой; Кинг ограничился двумя-тремя шагами. Это отвечало его намерению экономить силы. Он не тренировался и слишком мало ел, так что каждый шаг имел значение. Кроме того, он только что прошагал две мили до места боя.

Второй раунд был повторением первого, причем Сэндл нападал как вихрь, а публика с возмущением спрашивала, почему Кинг не дерется. Кроме нескольких финтов и пары вялых и неэффективных ударов, он так и не сделал ничего, а только защищался и ускользал. Сэндл хотел

навязать ему быстрый темп, а Кинг, используя свой опыт, умело уклонялся. Он уклонялся с мудрым величием испытанной в боях выдержки и продолжал экономить силы со скупостью, на которую способна только Старость. А Сэндл играл своей силой с щедрой беззаботностью Юности.

Кинг обладал мудростью генерала ринга, опытом, воспитанным в долгих жестоких боях. Он наблюдал с холодным умом и холодным взглядом, медленно перемещаясь и ожидая, когда из Сэндла выйдет вся пена. Большинству зрителей казалось, будто Кинг потерял свой класс, и они громко выражали это мнение, ставя три против одного за Сэндла. Но были и мудрые — знавшие прежнего Кинга, — и они принимали ставки, считая, что это верные деньги.

Третий раунд начался, как и прежние, с того, что Сэндл сразу перехватил инициативу. Полминуты уже прошло, когда Сэндл, слишком понадеявшись на себя, слегка раскрылся. Глаза и правая рука Кинга сверкнули в один и тот же момент. То был его первый настоящий удар — хук напряженной рукой, согнутой в форме арки (чтобы придать ей твердости), усиленный всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Казалось, что лев, притворявшийся сонным, вдруг молние-

носно взмахнул лапой. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку, и он был сбит с ног, как теленок. Публика разинула рты и благоговейным шепотом выразила одобрение. Итак, у этого человека отнюдь не задеревенели мускулы, — он мог наносить удары, как кузнечный молот.

Сэндл был потрясен. Он откатился и попытался встать, но резкий оклик секунданта, потребовавшего, чтобы он выдержал время счета, остановил его. Он встал на одно колено, готовый подняться, и ждал, пока судья громко отсчитывал секунды над его ухом. На девятой он вскочил и встал в стойку, а Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что его удар не пришелся на дюйм ближе к краю челюсти. Это нокаутировало бы противника, и он уже бы нес тридцать соверенов своей жене и детям.

Раунд продолжался, причем Сэндл впервые почувствовал уважение к сопернику, а Кинг, как и прежде, двигался медленно, с сонным взглядом. Когда раунд подходил к концу, Кинг, видя, что секунданты присели, чтобы перепрыгнуть через веревки, перевел бой в свой угол и, как только ударил гонг, немедленно присел на ожидавший его стул, в то время как Сэндлу пришлось еще пройти все расстояние до своего угла по диагона-

ли квадрата. Это была мелочь, но именно сумма мелочей и шла в счет.

Сэндл был вынужден сделать несколько лишних шагов, чтобы потерять несколько мгновений отдыха. В начале каждого раунда Кинг медленно выступал из своего угла, вынуждая противника пройти большее расстояние. В конце каждого раунда Кинг искусно направлял схватку так, чтобы переместиться ближе к своему углу и немедленно сесть после удара гонга.

Прошло еще два раунда, и снова Кинг был скуп на движения, а Сэндл растрачивал силы. Попытки последнего перейти на быстрый темп причиняли Кингу большое неудобство, потому что порядочное количество сыпавшихся на него ударов попадало в цель. Тем не менее Кинг упорствовал в своей угрюмой медлительности, наперекор горячим головам, кричавшим, чтобы он, наконец, начал драться. В шестом раунде Сэндл снова допустил промах, снова грозная правая рука Кинга промелькнула в воздухе, и снова Сэндл, сраженный ударом в челюсть, ждал, когда судья отсчитает девять секунд.

В седьмом раунде преимущество Сэндла сошло на нет, и он понял, что ввязался в самый тяжелый бой за время своей карьеры боксера. Том

Кинг был стариком, но с таким стариком ему еще не приходилось встречаться. Он никогда не терял голову, был чрезвычайно искусен в защите, и удары этого старика были похожи на удары узловатой дубины. Тем не менее Том Кинг не решался бить часто. Он никогда не забывал о своих поврежденных суставах и знал, что каждый удар должен быть тщательно рассчитан, если он хочет выдержать до конца матча. Сидя в углу и поглядывая на своего противника, он подумал, что его опыт в сочетании с молодостью Сэндла дал бы миру чемпиона. Но вот в чем беда: Сэндл никогда не будет чемпионом мира — ему не хватает опыта, а получить его он может только ценой своей юности; когда же он наконец будет обладать мудростью, вся его юность будет истрачена на эту покупку.

Кинг воспользовался всеми доступными ему преимуществами. Он никогда не упускал случая перейти в клинч, и при этом его плечо обычно сильно давило на ребра противника. В философии ринга плечо было ничем не хуже кулака, поскольку речь шла о нанесении ущерба — пожалуй, даже много лучше в плане экономии сил. Кроме того, во время клинчей Кинг наваливался всей тяжестью на противника и не отлипал от

него, пока его не оттаскивал судья, которому помогал Сэндл, до сих пор еще не научившийся ценить отдых. Он не мог удержаться от того, чтобы не пускать в ход своих стремительно взлетающих рук, своих играющих мускулов, и когда Кинг наваливался плечом на его ребра, пряча голову под левую руку Сэндла, последний почти всегда заносил правую руку за спину и бил ею в склоненное лицо противника. Это был ловкий удар, вызывавший сильное восхищение публики, но он не был опасен, а потому являлся только излишней потерей силы. Но Сэндл был словно неутомим, а Кинг ухмылялся и сохранял свою выдержку.

Наконец Сэндл нанес свирепый хук правой рукой ему в грудь, так что казалось, будто Кинг получил толчок невероятной силы; но только старые боксеры оценили искусное прикосновение левой перчатки Кинга к бицепсу противника как раз перед попаданием удара. Да, каждый удар Сэндла достигал цели, но каждый раз это прикосновение к бицепсу лишало его силы. В девятом раунде правая рука Кинга, согнутая в локте, в течение одной минуты три раза ударила Сэндла в челюсть, и трижды тело Сэндла со всей тяжестью падало на циновку. Каждый раз он пользовался

предоставленными ему девятью секундами и поднимался потрясенный и оглушенный, но все еще сильный. Он заметно потерял в скорости и тратил меньше сил. Он сражался свирепо, но продолжал рассчитывать на свой главный козырь — на молодость. Главным же козырем Кинга был опыт. Так как жизненная энергия в нем ослабла и мощь уменьшилась, он заменил их хитростью, знанием, почерпнутым в долгих боях, а также тщательной экономией сил. Он умел не только не делать лишних движений, но и провоцировать противника на бесполезную трату сил. Вновь и вновь при помощи обманных движений рук, ног и корпуса он заставлял Сэндла отскакивать назад, наклоняться и парировать. Кинг отдыхал, но никогда не позволял отдыхать Сэндлу. Такова была стратегия Старости.

Уже с самого начала десятого раунда Кинг начал останавливать атаки противника прямыми хуками в лицо, а Сэндл, ставший осмотрительным, отвечал тем, что заносил левую руку, затем опускал ее, а правой наносил сбоку кривой удар в голову. Удар приходился слишком высоко, чтобы иметь серьезные последствия, но когда он впервые был нанесен, Кинг испытал знакомое чувство, точно черное покрывало опускается на

его сознание. На мгновение — вернее, на ничтожную долю мгновения — Кинг словно уснул. В этот миг он увидел, что противник исчез из его поля зрения, как и фон зрительного зала. В следующий миг он опять увидел и противника, и зал. Казалось, будто он проспал некоторое время и только что вновь открыл глаза. Но миг забвения был так ничтожно краток, что Кинг не успел даже упасть. Публика видела, как он зашатался, как колени его подогнулись, и как он затем ниже опустил подбородок, прикрыв его левым плечом.

Несколько раз Сэндл повторил этот удар, держа Кинга в состоянии частичного отупения; но затем тот выработал способ защиты, который одновременно был контратакой. Делая финт левой рукой, он отступал на полшага назад, одновременно со всей силой нанося удар правой рукой вверх. Первый выпад был так аккуратно рассчитан, что попал прямо в лицо Сэндла в самый момент наклона, и того подбросило вверх; он упал назад и ударился о циновку головой и плечами. Кинг повторил это два раза, затем участил удары и прижал противника к канату. Он не давал Сэндлу продохнуть, нанося удар за ударом, пока вся публика не встала с мест, и воздух наполнился несмолкающей бурей аплодисментов. Но сила и

выносливость Сэндла были великолепны, и он продолжал стоять на ногах. Нокаут казался неизбежным, и полицейский пристав, испуганный этим ужасным избиением, поднялся на ринг, чтобы прекратить бой. Гонг возвестил о конце раунда, и Сэндл, шатаясь, дотащился до своего места, уверяя пристава, что он здоров и полон сил. Чтобы доказать это, он два раза прыгнул, и пристав смягчился.

Том Кинг, развалившийся в своем углу и тяжело дышавший, был разочарован. Если бы поединок был прекращен, то судья, может быть, присудил бы победу ему. В отличие от Сэндла, он бился не ради славы и карьеры, а ради тридцати соверенов. Теперь же Сэндл получил возможность прийти в себя.

«Юность возьмет свое», — пронеслось в голове Кинга, и ему вспомнилось, что впервые он услышал эти слова в тот вечер, когда сокрушил Стоушера Билла. Поклонник, который угостил его рюмкой и похлопал по плечу после боя, употребил это выражение. Юность возьмет свое. Поклонник был прав. В тот давний вечер он представлял Юность. Теперь же Юность сидит в противоположном углу. Что же касается его, Тома Кинга, он ведь дрался уже в течение получаса,

а он — старик. Если бы он дрался, как Сэндл, его бы не хватило и на пять минут. Но все дело было в том, что он не мог восстановиться. Набухшие вены и истощенное сердце не позволяли ему накопить силу в перерывах между раундами. Да и с самого начала у него не было нужной силы. Ноги его отяжелели, по ним пробегали судороги. Не надо было идти эти две мили пешком! А тут еще это мясо, о котором он тосковал все утро. В нем поднималась страшная ненависть к мясникам, отказавшим ему в кредите. Тяжело старому человеку идти на бой, не поев вволю. А кусок говядины — это такая мелочь, всего несколько пенни, а для него — это тридцать соверенов.

При звуке гонга, возвещавшем начало одиннадцатого раунда, Сэндл бросился в атаку, показывая бодрость, которой у него на деле не было. Кинг знал этому цену: блеф, старый, как сама игра. Защищаясь, он вошел в клинч, затем оторвался и позволил Сэндлу сделать стойку. Кингу только этого и надо было. Он сделал обманное движение левой рукой, заставив противника нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх, затем отступил на полшага и нанес прямой хук Сэндлу в лицо, и тот, скорчившись, упал на циновку. После этого он уже не давал ему никакого отдыха,

сам получал удары, но наносил их куда больше; прижимая Сэндла к канатам, он безостановочно осыпал его ударами, отпрыгивая или отбрасывая его при попытках войти в клинч, и каждый раз, когда Сэндл готов был упасть, он подхватывал его одной рукой, а другой опять прижимал к канату, где он упасть не мог.

Тогда публика обезумела; все были на его стороне и почти все орали:

— Валяй, Том!.. Лупи его, Том!.. Лупи его!.. Твоя взяла, Том! Твоя взяла!.. — Намечался бурный финал, и именно за это зрелище публика и платила деньги.

А Том Кинг, который полчаса копил силу, теперь щедро расточал ее в единственном великом усилии, на которое он еще считал себя способным. Мощь его быстро иссякала, и вся его надежда заключалась в том, что прежде чем последняя капля силы его покинет, он отправит противника в нокаут. Продолжая бить, холодно оценивая тяжесть ударов и степень наносимых повреждений, он понял, как трудно нокаутировать такого человека, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости у него был неисчерпаем: то были сила и выносливость Юности. Сэндл, без сомнения, — парень с будущим. В нем были нужные

задатки. Только из такого крепкого материала и получались прекрасные боксеры.

Сэндл качался и шатался, но ноги Кинга подгибались, а суставы как будто отказывались служить. И все-таки он крепился, чтобы наносить жестокие удары, из которых каждый причинял боль его искалеченным рукам. Хотя ему сейчас почти не доставалось, он утомлялся так же быстро, как и его противник. Его удары попадали в цель, но в них не было прежней увесистости, и каждый был лишь результатом огромного усилия воли. Он заметно волочил ноги, точно они были свинцовые; в это время сторонники Сэндла, обрадованные этими признаками усталости Кинга, начали криками ободрять своего кумира.

Это подхлестнуло Кинга и заставило собраться с силами. Он ударил два раза подряд: левой — в солнечное сплетение, чуть-чуть выше, чем следовало; правой — в челюсть. Это были легкие удары, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что упал, содрогаясь. Судья стоял над ним и громко отсчитывал роковые секунды. Если на десятой он не встанет, то проиграет бой. Зал застыл в безмолвии. Кинг стоял на дрожащих ногах. Он чувствовал смертельное головокружение, а перед его глазами море лиц опускалось и поднималось,

а до ушей его, точно издалека, доносился счет судьи. И все же он считал, что победа за ним. Невозможно, чтобы человек, настолько избитый, мог встать на ноги.

Только Юность могла встать, и Сэндл встал. На четвертой секунде он перевернулся на живот и стал вслепую хвататься за канат. На седьмой секунде он поднялся на одно колено и остался в этой позе; голова его качалась на плечах, как у пьяного. Когда арбитр крикнул: «Девять!», Сэндл уже был на ногах, в стойке, левой рукой прикрывая лицо, а правой — живот. Защитив таким образом все уязвимые места, он наклонился вперед к Кингу, надеясь войти в клинч и выиграть время.

Не успел он встать, как Кинг бросился на него, однако оба его удара попали в защиту. В следующий миг Сэндл вошел в клинч и отчаянно сопротивлялся, когда судья пытался разнять противников. Кинг же помогал судье освободить его. Он знал, с какой быстротой восстанавливается Юность, и знал также, что Сэндл проиграет, если ему удастся помешать этому. Один крепкий толчок может решить дело. Сэндл отшатнулся назад и колебался, точно на волоске, между поражением и победой. Один хороший удар мог сбить его с ног и нокаутировать. И Том Кинг с внезапным

чувством горечи вспомнил о куске говядины и пожалел, что не подкрепился им для этого последнего необходимого толчка. Он собрался с силами, но его удар не оказался ни достаточно увесистым, ни достаточно быстрым. Сэндл покачнулся, но не упал, шатаясь, отступил к канатам и оперся на них. Кинг, тоже покачиваясь, двинулся за ним и с отчаянной тоской на душе отвесил еще удар. Но тело изменило ему. Все, что в нем оставалось — это боевая смекалка, затуманенная усталостью. Удар, направленный в скулу, попал не выше плеча. Он хотел ударить выше, но утомленные мышцы не повиновались. И Том Кинг сам едва не упал от собственного удара. Он сделал еще одну попытку. На этот раз удар прошел совсем мимо, и он, совершенно ослабев, вошел в клинч, чтобы самому не рухнуть на пол.

Кинг не пытался оторваться. Он выпустил последний заряд. Он проиграл. Юность взяла свое. Войдя в клинч, он почувствовал, как Сэндл восстанавливается. Когда судья разнял их, он своими глазами увидел, как возрождается Юность. Сэндл набирал силу с каждым мгновением. Его удары, вначале слабые и не достигавшие цели, становились все крепче и точнее. В тускнеющих глазах Кинга мелькнул кулак в перчатке, направленный

в его челюсть, и он хотел парировать, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но его рука была слишком тяжела. Казалось, она нагружена сотней фунтов свинца. Она не хотела подняться, а он пытался поднять ее силами своей души. И тут кулак попал в цель. Он услышал острый треск, как от электрического разряда, и немедленно черное покрывало заволокло его.

Когда он открыл глаза снова, он сидел в своем углу и слышал рев публики, подобный прибою у Бонди-бич. Ко лбу ему прикладывали мокрую губку, а Сид Сэлливен брызгал ему на грудь и лицо освежающе холодной водой. С него уже сняли перчатки, и Сэндл, склонившись к нему, пожимал ему руку. Он не злился на своего победителя и ответил на рукопожатие так сердечно, что его разбитые пальцы запротестовали. Потом Сэндл вышел на середину ринга, и публика прекратила свой адский шум, когда он заявил, что принимает вызов молодого Пронто, и предложил увеличить заклад до ста фунтов. Кинг глядел апатично, пока секунданты обтирали ручьями текущую с него воду, осушали его лицо и готовили к уходу с арены. Он чувствовал голод. Это было не обычное грызущее ощущение, но великое бессилие, дрожание в полости живота, передававшееся всему

телу. Он вспомнил тот момент схватки, когда Сэндл был на волосок от поражения.

Да, кусок говядины довершил бы дело! Только этого не хватало для решительного удара, и потому он проиграл. Все произошло только из-за кусочка говядины.

Секунданты почти несли его, помогая ему перелезть через канат. Он вырвался из их рук, пролез под канатом без их помощи, тяжело спрыгнул на пол и пошел следом за секундантами, которые прокладывали ему дорогу через толпу, собравшуюся в центре зала. Когда он выходил из раздевалки на улицу, с ним заговорил какой-то молодой парень.

— Почему вы не подналегли и не свалили его, когда он был в ваших руках?

— Пошел ты к черту! — рявкнул Том Кинг и спустился по ступенькам на тротуар.

Двери кабачка на углу широко распахнулись, и он увидел свет и улыбающихся кельнерш, услышал гул голосов, обсуждавших поединок, и благодатный звон монет о прилавок. Кто-то позвал его выпить рюмку. Он заметно поколебался, но затем отклонил приглашение и пошел своей дорогой.

У него в кармане не было ни одного медяка, и

две мили, которые ему нужно было пройти до дома, казались ему очень длинными. Без сомнения, он постарел. Проходя через предместье, он вдруг сел на скамейку, совершенно расстроенный из-за мыслей о жене, которая не спит, дожидаясь его, чтобы узнать об исходе поединка.

Это было тяжелее всякого поражения, и ему показалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу.

Он почувствовал себя слабым и больным, и боль в раздробленных суставах пальцев предупреждала его, что если даже ему удастся найти работу землекопа, то пройдет не меньше недели, пока он сумеет взяться за кирку или лопату.

Голодная дрожь в желудке вызывала тошноту.

Несчастье подавило его, и глаза его наполнились непривычной влагой. Он закрыл голову руками и, заплакав, вспомнил Стоушера Билла и то, как он обошелся с ним в тот давний вечер. Бедный старый Стоушер Билл! Теперь он мог понять, почему Билл плакал в раздевалке.

КОММЕНТАРИИ

Смирительная рубашка (странник по звездам)

Этот необычный роман был написан в 1915 году. «Смирительная рубашка» — роман мистический, эзотерический и одновременно — произведение большого мастера. В его основе лежит весьма необычная концепция героя как Единой Человеческой Личности, прошедшей этапы эволюционного развития и воплотившейся в парадоксальном персонаже по имени Даррел Стэндинг.

С современной биологической точки зрения человек как вид отличается от других млекопитающих, в том числе и от приматов, своим особым комплексом генов — геномом, который создается с участием особой структуры ДНК, и сам процесс этот осуществляется на химико-биологическом, кислотно-молекулярном уровне. Джек Лондон был хорошо знаком как с работами Дарвина и Менделя, основателя генетики как науки, так же как и с основами марксизма.

В последней четверти XIX века в западном обществе возник немалый интерес ко всякого

рода восточным учениям, парапсихологии и другим течениям философской и религиозной мысли, доказывающим возможность кармических воплощений человека и ищущим способы реконструировать, заставить «вспомнить» прежние жизни. Поскольку мать Джека Лондона увлекалась спиритизмом и эзотерикой, ему были известны основные индуистские практики отключения сознания, «отделения духа от тела», демонстрируемые йогами и поныне.

И писателя особенно интересовал способ передачи из поколения в поколение духовного опыта предшественников героя, что могло бы стать необычным и увлекательным сюжетом романа.

Трудно сказать, как относился Джек Лондон к такого рода экспериментам — скорее всего иронически, но как писатель, он не мог обойти такую необычную и потрясающую проблематику! Осталось ею лишь воспользоваться и развернуть в привлекательный сюжет…

Начало романа как бы ошарашивает читателя. Рассказчик, Даррел Стэндинг, был профессором агрономии в сонном калифорнийском городке Беркли и в порыве гнева неожиданно даже для себя в одной из геологических лабораторий убил собственного коллегу. В тюрьме его жизнь

осложняется провокацией некоего поэта-фальшивомонетчика Сесила Уинвуда, показавшего из шкурных соображений, что Стэндинг спрятал в тюрьме динамит. Напуганное начальство пытает несчастного Даррела, то и дело заключая его в смирительную рубашку. Она-то, как предметная деталь и символ пенициарной системы Америки, красной нитью проходит через все повествование и вынесена в заглавие. Уже этой весьма правдоподобной, реалистической ситуации хватило бы на роман.

Однако естественное желание всякого заключенного сохранить себе жизнь, вырваться из лап «грызунов-надзирателей» (тут они еще и великолепно типизированы) и уйти из ненавистной тюрьмы приводит его к попытке (и очень удачной) освоить методику предельного расслабления, приемы временного умирания, уже давно известные индийским йогам.

Этой традиции 2,5 тысячи лет. За 200 с лишним лет до н. э. она была изложена йогином Патанджали. Йоги не имели представления о генетике — по их теории, физическое тело разлагается (если не сжигается) и никакой информации передать не может. Однако некий психокомплекс передается от человека к человеку духовным

путем.

В основе тайного (оккультного) учения йогов лежит весьма поэтическая и гиперболизированная картина как мира, так и возможностей посвященного человека, нарисованная Патанджали и его учениками. Пройдя восемь ступеней самосовершенствования, йогин становится «сверхчеловеком», которому доступно ясновидение как «знание прошедших и будущих событий», «способность посылать душу в иные миры, то есть совершать межзвездное путешествие, видеть насквозь собственное тело и тела других людей».

Джеку Лондону было бы грех не воспользоваться таким богатым поэтическим материалом и не наделить своего героя, кроме всего прочего, чертами оккультного супермена. Разумеется, герой романа вовсе не йогин в нравственно-психологическом смысле слова. Он не может скорректировать свою карму и подавить собственную агрессию — «красный гнев» или отказаться от мщения своим угнетателям. Он лишь освоил оккультную практику снятия физической и душевной боли и погружения в самогипноз, отключения от внешнего мира и даже частичного умирания, что практикуют и настоящие йоги.

Человек, скованный смирительной рубашкой, обреченный тюремными порядками на полную неподвижность, получает невероятную свободу передвижений, погружаясь в галлюцинации, подобные состоянию наркотического опьянения, проносится по странам и континентам, даже прикасается непосредственно к звездным мирам, то есть нарушает всякие представления о привычном для читателя хронотопе — материальном единстве пространства и времени.

Повествуя о кармических воплощениях персонажа, автор исходит из чисто научной концепции единой человеческой личности, появляющейся на переломных или знаковых общественно-исторических этапах земного бытия. Здесь идет речь о пребывании под разными именами того же самого Стэндинга в каменном веке, в египетском рабстве, в Древней Иудее времен Пилата и Христа, в окружении французской средневековой королевской знати, в пустынных песках южной части современной Северной Америки, во времена сражений с индейцами и мормонами после присоединения Калифорнии к США, принадлежавшей когда-то Мексике, о плавании матроса в холодных восточных и северных морях, где он переживает на скалистом необитаемом острове

судьбу Робинзона Крузо, о заключении прапрадеда героя в тюрьму в период становления империи Чосон и преобразования ее в Корею.

Здесь автор опирался на романический опыт Г. Мелвилла, Р. Стивенсона, Д. Дефо, А. Дюма и на жизненный опыт самого Джека Лондона. Ведь не попади он сам в губительный шторм (и не раз!), не окажись он сначала в американской, а затем и в корейской тюрьме — во время Русско-японской войны, да еще в ожидании суда и смертного приговора, кто знает, насколько достоверным показалось бы читателю его повествование.

Итак, полезный для общества человек, знаток сельского хозяйства и современных способов производительного труда, Даррел Стэндинг должен уйти из жизни. Только виноват ли он в совершенном преступлении? Скорее всего — нет. Неукоснительно дает себя знать его воинственный генетический код — ведь за всю историю своих чудесных превращений и реинкарнаций герой отстаивал свое право на существование дубиной и мечом. Поэтому в его крови то и дело вспыхивает «красный гнев», тупая и беспричинная жажда крови и мести, которую он не может обуздать, даже будучи уважаемым профессором.

Такой ли уж матерый преступник Даррел Ст-

эндинг, борющийся то и дело как «вид» за свое выживание? Это отнюдь не праздный в данном случае вопрос. Именно в таком ракурсе повествования автор тесно соприкасается с концепцией «социального дарвинизма». Борьба за место под солнцем была чрезвычайно характерна для американской жизни четырех последних веков, а Джек Лондон благоговел перед точной наукой своего времени. Духовная атмосфера романа, как мы убеждаемся, пестра и многосоставна. Здесь имеют место и научная, и эзотерическая составляющие.

Порою в старой советской критике можно было прочесть обвинения писателя в расистской оценке людей и событий. Думается, однако, что образы вавилонского азиата или знатного корейца, римлянина, француза, шведа и стопроцентного американца, в личинах которых выступает поочередно предок Стэндинга, красноречиво свидетельствуют, что речь идет о единой истории и духовности человечества. Следовательно, писатель как романист пытается представить читателю концепцию особого, своеобразного гуманизма, опирающегося на общий многовековой опыт стран и народов планеты.

В книге, однако, больше внимания уделено

современности. Но нынешней жизни Стэндинга не позавидуешь — она ограничена не только тюремной камерой-одиночкой, но и сковывающей тело и доставляющей немалые мучения смирительной рубашкой, которую то и дело пытаются покрепче зашнуровать отпетые палачи по должности и душевному призванию — начальник тюрьмы Азертон, старший надзиратель капитан Джеми, тюремный врач доктор Джексон и их добровольный помощник — староста тюрьмы заключенный Эл Хэтчинс.

Обреченный Даррел продемонстрировал тюремщикам пример личного мужества и в конце концов заставил их отступить — прекратить зашнуровывать его в смирительную рубашку. Азертон испугался, что проверочная комиссия, вызванная по просьбам оказавшихся на свободе заключенных, до него таки доберется. Джеми тоже перестал приходить на процедуру затягивания веревок — то ли нервы не выдержали, то ли совесть заговорила. Типизируются эти персонажи с учетом их индивидуальности — тут своя художественная диалектика.

Но самое удивительное, истинным и неисправимым садистом в этой команде оказался человек гуманной профессии — доктор Джексон.

Он готов пытать, истязать, получать болезненное удовольствие, слушая, как у повешенного затухает пульс и прекращается дыхание. Писателю врачебная должность такого человека казалась изощренным кощунством.

Сообщество заключенных — не в пример единению тюремщиков — крайне антагонистично. С одной стороны — близкие по духу друзья Даррела, и прежде всего Джек Оппенхеймер, Человек-Тигр, выросший в трущобах, в банде «нехороших парней» и попавший в эти стены из-за предательства товарища-уголовника — «по совокупности» преступлений. По натуре своей он жизнелюбив и не в меру эмоционален. Но в вопросах чести суров и принципиален. Оппенхеймер, никогда не отказываясь от своего мнения, не склоняет головы перед палачами ни за какие блага.

Эд Моррелл — тихий интеллигент. Он обучил Даррела индуистской премудрости. Моральная поддержка старожилов тюрьмы для новичка Даррела значит немало. Он ведь и победил своих мучителей, пусть даже на какое-то время, благодаря друзьям по несчастью — их советам и одобрению.

Среди заключенных есть два отвратительных типа. Это упомянутый уже староста тюрьмы,

корыстолюбивый и хитрющий Эл Хэтчинс, усугубляющий муки своим же товарищам по несчастью. Не уступает Хэтчинсу в своей деградации и Сесил Уинвуд — поэт-фальшивомонетчик. Попав в тюрьму, он выступает как доносчик и провокатор, пытаясь организовать побег самых «безнадежных» заключенных и тут же вовремя его «предотвратить», заложив товарищей.

Общественно значимый парадокс судьбы Даррела и судьбы его вполне приличных друзей по несчастью в том, что лучшие люди гниют в таких тюрьмах, как Сен-Квентин, а подлецов за услуги трусливым и вспыльчивым администраторам часто выпускают на свободу.

Глава XIX повествует о временном пребывании Даррела Стэндинга на необитаемом острове в Атлантическом океане в облике некоего матроса Дэниэла Фосса, отплывшего на борту брига «Негоциант» из порта Филадельфия. Бриг столкнулся с айсбергом в 1809 году. В пору выхода романа в свет у всех в памяти была еще гибель «Титаника» при подобных обстоятельствах (1912). Само повествование развивается как бы по канве романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Но никакого Пятницы тут нет, климат куда более суров, пища более скудна, чем на острове Робинзона или его прото-

типа Александра Селкирка. Ни сочных южных плодов, ни собственных злаков на этом острове нет. Но степень сопротивляемости природе и мужества у человека, питающегося тюленями и натягивающего на себя их шкуры, конечно, неизмеримо выше. А степень свободы у Дэниэла Фосса куда больше, чем у заключенных калифорнийской образцовой тюрьмы Сен-Квентин.

Интересна и сцена встречи еще одного духовного прародителя Даррела — Рагнара Лодброга, теперь уже датчанина по происхождению, но римлянина по гражданству, с Понтием Пилатом и его женой накануне казни Иисуса Христа. Знатная еврейская дама по имени Мириам предложила ему спасти Христа, пообещав за это свою руку и сердце. Лодброг мог бы это сделать. Но друг Пилата понял бессмысленность подобного предприятия. Под таким углом зрения, пожалуй, никто до Джека Лондона не рассматривал события 14 нисана 33 года на Голгофе.

Достаточно интересен здесь и эпизод из XVIII века, напоминающий обычаи и нравы, а также некоторые эпизоды из «Трех мушкетеров», где рассказчик выступает под именем графа Гильома де Сен-Мора, человека, близкого ко двору короля (гл. XI).

Эта главка написана в иронической тональности: главному герою Сен-Мору удается отправить на тот свет с помощью шпаги троих предков будущих французских литераторов. Четвертый, наиболее мужиковатый, прикончил его самого, тоже как предка сочинителя. Это в некотором роде и пародия на роман «Три мушкетера».

Видения Даррела прерываются истязаниями тюремщиков. Но разве их безобразия могут повлиять на философский настрой героя-рассказчика? Его философия озарена надеждой на лучшее будущее. Срок человеческого бытия здесь исчисляется миллионами лет! Читатель не может не почувствовать огромной духовной энергии повествования, в котором смешиваются и материализм, и чистый идеализм, и интуитивизм. Духовная атмосфера книги включает в себя едва ли не все основные достижения философии начала XX века.

Финал романа — гибель главного героя-рассказчика на виселице. Но парадокс-то в том, что на эшафот взошел как бы физически слабый человек и в то же время невероятно сильный духовно, что дает ему право вести свои записи до последней возможности и иронизировать над своими палачами. Так грубо, императивно, по

приговору кончается жизнь во многом достойного человека, с очевидным раздвоением психики — общественного преступника в глазах власти и странника по звездам в глазах читателя одновременно. Обе линии повествования обрываются как бы насильно, вынужденно, оставляя в душе читателя горький осадок.

Хотя у этого романа по законам жанра уже остановилось «колесо сансары», но в передаче и усвоении художественных традиций у писателя нашлись последователи и продолжатели.

Думается, что лучшее произведение Т. Драйзера — роман «Американская трагедия» (1925) — написан не без учета этого текста Джека Лондона.

Наши исследователи, говоря о мастерстве М. Булгакова, практически не упоминают ершалаимских сцен Джека Лондона. А ведь проникновение Мастера с помощью писательской интуиции сквозь время и в глубь веков («как верно я это угадал»), способы невероятной типизации и невероятного масштаба параллелизм свидетельствуют о близком родстве этих двух произведений, и связь между ними хорошо ощутима.